

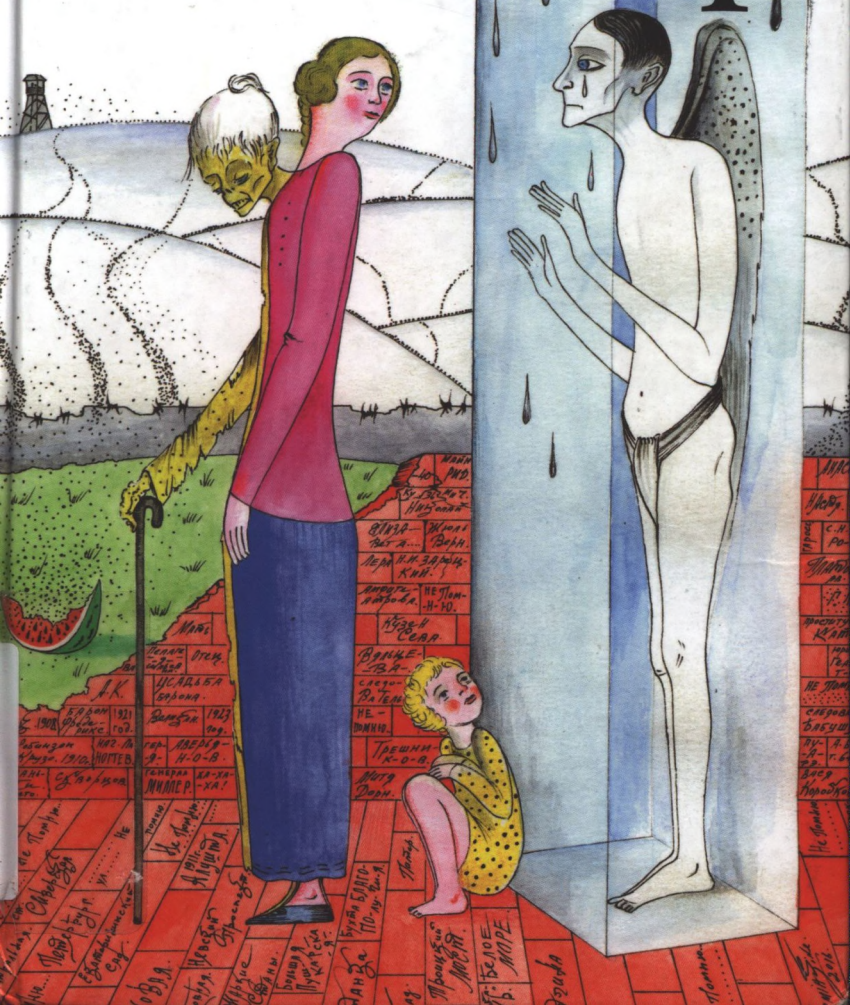
KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



2098218015

НОВИЙ
РОМАН

Водоплавачин Авиатор



Евгений
Водолазкин
Авиатор
Роман



Издательство
АСТ
Москва

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
В62

Оформление переплета — *Андрей Рыбаков*

Автор и издательство выражают сердечную благодарность
Михаилу Шемякину за использованную на переплете иллюстрацию,
созданную специально для этой книги

Водолазкин, Евгений Германович.

В62 Авиатор : роман / Евгений Водолазкин. — Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. — 410, [6] с. — (Новая русская классика).

ISBN 978-5-17-096655-4

Евгений Водолазкин — прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке — после выхода “Лавра” на английском — “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки.

Герой нового романа “Авиатор” — человек в состоянии *tabula rasa*: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего — ни своего имени, ни кто он такой, ни где находится. В надежде восстановить историю своей жизни, он начинает записывать посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные: Петербург начала XX века, дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки... Но откуда он так точно помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, если на календаре — 1999 год?..

Роман «Авиатор» удостоен премии «Большая книга».

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Водолазкин Е.Г.

© М.Шемякин, иллюстрации

© ООО “Издательство АСТ”

ISBN 978-5-17-096655-4

Моей дочери

— Что вы всё пишете?

— Описываю предметы, ощущения. Людей. Я теперь каждый день пишу, надеясь спасти их от забвения.

— Мир Божий слишком велик, чтобы рассчитывать здесь на успех.

— Знаете, если каждый опишет свою, пусть небольшую, частицу этого мира.. Хотя почему, собственно, небольшую? Всегда ведь найдется тот, чей обзор достаточно широк.

— Например?

— Например, авиатор.

Разговор в самолете

Часть первая

Товорил ей: в холода носи шапку, иначе отморозишь уши. Посмотри, говорил, сколько сейчас прохожих без ушей. Она соглашалась, мол, да-да, надо бы, но не носила. Смеялась над шуткой и продолжала ходить без шапки. Такая вот картинка всплыла в памяти, хотя о ком здесь идет речь — ума не приложу.

Или, допустим, вспомнился скандал — безобразный, изнурительный. Непонятно где разыгравшийся. Обидно то, что начиналось общение хорошо, можно сказать, доброжелательно, а потом слово за слово все переругались. Главное, самим же потом стало удивительно — почему, зачем?

Кто-то заметил, что часто так бывает на поминках: часа полтора говорят о том, каким покойник был хорошим человеком. А потом кто-то из пришедших вспоминает, что был покойник, оказывается, не только хорошим. И тут, как по команде, многие начинают высказываться, дополнять — и мало-помалу приходят к выводу, что был он, вообще-то, первостатейным мерзавцем.

Или совсем уж фантазмагория: кому-то дают по голове куском колбасы, и вот этот человек катится по наклонной плоскости, катится и не может остановиться, и от этого качения кружится голова...

Моя голова. Кружится. Лежу на кровати.

Где я?

Шаги.

Вошел неизвестный в белом халате. Стоял, положив руку на губы, смотрел на меня (в дверной щели еще чья-то голова). Я же, в свою очередь, смотрел на него — не открываясь как бы. Из-под неплотно сомкнутых ресниц. Он заметил их дрожание.

— Проснулись?

Я открыл глаза. Приблизившись к моей кровати, неизвестный протянул руку:

— Гейгер. Ваш врач.

Я вытащил из-под одеяла правую руку и почувствовал бережное рукопожатие Гейгера. Так касаются, когда боятся сломать. На мгновение он оглянулся, и дверь захлопнулась. Не отпуская моей руки, Гейгер наклонился ко мне:

— А вы — Иннокентий Петрович Платонов, не так ли?

Я не мог этого подтвердить. Если он так говорит, значит, имеет на то основания. Иннокентий Петрович... Я молча спрятал руку под одеяло.

— Вы ничего не помните? — спросил Гейгер.

Я покачал головой. Иннокентий Петрович Платонов. Респектабельно. Немного, может быть, литературно.

— Помните, как я сейчас подошел к кровати? Как назвал себя?

Зачем он так со мной? Или я действительно совсем плох? Выдержав паузу, говорю скрипуче:

— Помню.

— А до этого?

Я почувствовал, как меня душат слезы. Они вырвались наружу, и я зарыдал. Взяв с прикроватного столика салфетку, Гейгер вытер мне лицо.

— Ну что вы, Иннокентий Петрович. На свете так мало событий, о которых стоит помнить, а вы расстраиваетесь.

— Моя память восстановится?

— Очень на это надеюсь. У вас такой случай, что ничего нельзя утверждать наверняка. — Он поставил мне градусник. — Знаете, вы вспоминайте побольше, здесь важно ваше усилие. Нужно, чтобы вы сами всё вспомнили.

Вижу волосы в носу Гейгера. На подбородке царапины после бритья.

Спокойно смотрит на меня. Высокий лоб, прямой нос, пенсне — будто кто-то его нарисовал. Есть лица настолько типичные, что кажутся выдуманными.

— Я попал в аварию?

— Можно сказать и так.

В открытой форточке воздух палаты смешивается с зимним воздухом за окном. Становится мутным, дрожит, плавится, и вертикальная планка рамы сливается со стволом дерева, и ранние сумерки — где-то я уже это видел. И влетающие снежинки видел. Тающие, не долетев до подоконника... Где?

— Я ничего не помню. Только мелочи какие-то — снежинки в больничной форточке, прохлада стекла, если к нему прикоснуться лбом. Событий — не помню.

— Я бы мог вам, конечно, напомнить что-то из происходившего, но жизнь во всей полноте не перекажешь. Из вашей жизни я знаю только самое внешнее: где вы жили, с кем имели дело. При этом мне неизвестна история ваших мыслей, ощущений — понимаете? — Он вытащил у меня из подмышки градусник. — 38,5. Многовато.

Понедельник

Вчера еще не было времени. А сегодня — понедельник. Дело было так. Гейгер принес карандаш и толстую тетрадь. Ушел. Вернулся с подставкой для письма.

— Всё, что произошло за день, записывайте. И всё, что из прошлого вспомните, тоже записывайте. Этот ежедневник — для меня. Я буду видеть, как быстро мы в нашем деле продвигаемся.

— Все мои события пока что связаны с вами. Значит, писать про вас?

— Abgemacht*. Описывайте и оценивайте меня всесторонне — моя скромная персона потянет за собой другие нити вашего сознания. А круг вашего общения мы будем расширять постепенно.

Гейгер приладил подставку над моим животом. Она печально приподнималась с каждым моим вздохом, словно сама вздыхала. Гейгер поправил. Открыл тетрадь, вставил мне в пальцы карандаш — что, вообще говоря, лишнее. Я хоть и болею (спрашивается — чем?), но руками-ногами двигаю. Что, собственно, записывать — ничего ведь не происходит и ничего не вспоминается.

Тетрадь огромная — хватило бы для романа. Я кручу в руке карандаш. Чем же я все-таки болею? Доктор, я буду жить?

— Доктор, какое сегодня число?

Молчит. Я тоже молчу. Разве я спросил что-то неприличное?

— Давайте так, — произносит наконец Гейгер. — Давайте вы будете указывать только дни недели. Так мы легче поладим со временем.

* Договорились (нем.).

Гейгер — сама загадочность. Отвечаю:

— Abgemacht.

Смеется.

А я взял и записал всё — за вчера и за сегодня.

Вторник

Сегодня познакомился с сестрой Валентиной. Стройна. Немногословна.

Когда она вошла, прикинулся спящим — это уже входит в привычку. Потом открыл один глаз и спросил:

— Как вас зовут?

— Валентина. Врач сказал, вам нужен покой.

На все дальнейшие вопросы не отвечала. Стоя спиной ко мне, драила шваброй пол. Торжество ритма. Когда наклонялась, чтобы прополоскать в ведре тряпку, под халатом проступало ее белье. Какой уж тут покой...

Шучу. Сил — никаких. Утром мерил температуру — 38,7, Гейгера это беспокоит.

Меня беспокоит, что не получается отличать воспоминания от снов.

Неоднозначные впечатления сегодняшней ночи. Лежу дома с температурой — инфлюэнца. Бабушкина рука прохладна, градусник прохладен. Снежные вихри за окном — заметают дорогу в гимназию, куда я сегодня не пошел. Там, значит, дойдут на перекличке до “П” (скользит по журналу, весь в мелу, палец) и вызовут Платонова.

А Платонова нет, докладывает староста класса, он остался дома в связи с инфлюэнцей, ему, поди, “Робинзона Крузо” читают. В доме, возможно,

слышны ходики. Бабушка, продолжает староста, прижимает к носу пенсне, и глаза ее от стекол велики и выпуклы. Выразительная картинка, соглашается учитель, назовем это апофеозом чтения (оживление в классе).

Суть происходящего, говорит староста, если вкратце, сводится к следующему. Легкомысленный молодой человек отправляется в морское путешествие и терпит кораблекрушение. Его выбрасывает на необитаемый остров, где он остается без средств к существованию, а главное — без людей. Людей нет вообще. Если бы он с самого начала вел себя благо-разумно... Я не знаю, как это выразить, чтобы не впасть в менторский тон. Такая как бы притча о блудном сыне.

На классной доске (вчерашняя арифметика) уравнение, доски пола хранят влагу утренней уборки. Учитель живо представляет себе беспомощное барахтанье Робинзона в его стремлении достичь берега. Увидеть катастрофу в ее истинном размахе ему помогает картина Айвазовского “Девятый вал”. Молчание потрясенного учителя не прерывается ни единым возгласом. За двойными рамами едва слышны колёса экипажей.

Я и сам нередко почитывал “Робинзона Крузо”, но во время болезни не очень-то почитаешь. Резь в глазах, строки плывут. Я слежу за бабушкиными губами. Перед тем как перевернуть страницу, она подносит к губам палец. Иногда прихлебывает остывший чай, и тогда на “Робинзона Крузо” летят едва заметные брызги. Иногда — крошки от съеденного между главами сухаря. Выздоровев, я внимательно перелистываю прочитанное и вытряхиваю хлебные частицы, высохшие и сплюснутые.

— Помню много разных мест и людей, — сообщил я, волнуясь, Гейгеру, — помню какие-то высказывания. Но хоть убей — не помню, кто именно какие слова произносил. И — где.

Гейгер спокоен. Он надеется, что это пройдет. Он не считает это существенным.

А может, это и вправду несущественно? Может, имеет значение только то, что слова были произнесены и сохранились, а уж кем и где — дело десятое? Надо будет спросить об этом у Гейгера — он, кажется, всё знает.

Среда

А бывает и так: слова не сохранились, но картинка — в совершенной целости. Сидит, например, человек в сумерках. В комнате уже полумрак, а он всё не включает света — экономит, что ли? Скорбная неподвижность. Локоть упирается в стол, лоб покоится на ладони, мизинец на отлете. Даже в темноте видно, что одежда его в складках, вся бурая такая до бесцветности, и одним белым пятном лицо и рука. Человек как бы в задумчивости, хотя на самом деле ни о чем и не думает, просто отдыхает. Может, даже говорит что-то, только слов не слышно. Мне, собственно, его слова неважны, да и с кем ему говорить — с самим собою? Он ведь не знает, что я за ним наблюдаю, а если что и говорит, то не мне. Шевелит губами, смотрит в окно. Капли на стекле отражают свечение улицы, переливаются огнями экипажей. Форточка скрипит.

До сих пор я видел в палате лишь двух человек — Гейгера и Валентину. Врач и медсестра — а кто еще,

собственно, нужен? Собрался с силами, встал, подошел к окну — во дворе пусто, снег по колено. Один раз, держась за стенку, вышел из палаты в коридор — тут же появилась Валентина: у вас постельный режим, вернитесь в палату. Режим...

Кстати: оба выглядят старорежимно. Гейгер если не в халате, так обязательно в тройке. Напоминает Чехова... Я-то всё думал — кого он мне напоминает? Чехова! Еще и пенсне носит. Из ныне живущих пенсне я видел, по-моему, только у Станиславского, но тот — человек театра... Впрочем, я бы сказал, что в лечашей меня паре есть какая-то театральность. Валентина — вылитая сестра милосердия военного времени. 1914-й. Уж не знаю, как они отнесутся к моему впечатлению — Гейгер ведь это прочтет, так мы условились. В конце концов, он сам просил меня писать без утайки всё, что замечаю, вспоминаю, думаю, — пожалуйста, я так и пишу.

Сегодня у меня сломался грифель, сказал об этом Валентине. Она из кармана достает что-то вроде карандаша, протягивает мне.

— Забавно, — говорю, — металлический грифель, никогда не видел такого.

Валентина покраснела и быстро забрала у меня эту штуку обратно. Принесла потом другой карандаш. Отчего она покраснела? В туалет меня водит, для уколов кальсоны с меня стягивает — не краснеет, а тут карандаш, видите ли. В моей жизни сейчас масса мелких загадок, которые я не в силах разгадывать... Но краснеет она очаровательно, до кончиков ушей. Уши — тонкие, изящные. Вчера, когда слетела ее белая косынка, я ими любовался. Точнее, одним. Валентина наклонилась над лампой, спиной ко мне,

и ухо ее розово просвечивало, хотелось прикоснуться. Не посмел. Да и сил не было.

Странное какое-то ощущение, будто лежу на этой койке целую вечность. Пошевелю рукой или ногой — боль в мышцах, а уж если встану без посторонней помощи — ноги как ватные. Зато температура чуть снизилась — 38,3.

Спрашиваю у Гейгера:

— Так что же со мной все-таки случилось?

— Это, — отвечает, — вы сами должны вспомнить, иначе ваше сознание заменится моим. Разве вы этого хотите?

А я и сам не знаю, хочу ли я этого. Может, у меня окажется такое сознание, что лучше бы его заменить.

Пятница

К вопросу о сознании: я его вчера терял. Гейгер с Валентиной сильно перепугались. Очнувшись, видел их опрокинутые лица — похоже, им было бы жаль меня потерять. Приятно, когда по какой-то причине в тебе нуждаются, — даже если эта причина не личная, а чистое, так сказать, человеколюбие. Весь вчерашний день Гейгер не возвращал мне мои листы. Боялся, видимо, что накануне я в своих писаниях перенапрягся. Я лежал, следил за тем, как падали хлопья снега за окном. Следя, заснул. Проснулся — хлопья всё еще падали.

У моей постели сидела на стуле Валентина. Влажной губкой вытерла мне лоб. Поцелуй, хотел сказать я, поцелуй меня в лоб. Не сказал. Потому что получилось бы, что она вытирала мой лоб, прежде чем поцеловать. Да и вообще — понятно, кого в лоб це-

луют... А вот взял ее за руку — не отняла. Только положила наши соединенные руки мне на живот, чтобы не держать на весу. Ее ладонь покрывала мою кисть домиком — так учат держать руку при игре на фортепиано. Вероятно, меня тоже учили когда-то, если я знаю такие вещи. Перевернув руку, указательным пальцем я провел по потолку этого домика и ощутил, как он вздрогнул, распался, растекся по моей ладони. И я ощутил его тепло.

— Лягте рядом со мной, Валентина, — попросил я. — У меня нет дурных мыслей, и я совершенно безопасен — вам это известно. Мне только нужно, чтобы рядом со мною кто-то был. Совсем рядом, иначе я никогда не согреюсь. Я не могу этого объяснить, но это так.

Я с усилием подвинулся на широкой кровати, и Валентина легла рядом со мной — поверх одеяла. Я был уверен, что она выполнит мою просьбу, — сам не знаю почему. Наклонила голову к моей голове. Я вдыхал ее запах — настой глаженого, крахмального, белоснежного в соединении с ароматом духов и юного тела. Она делилась этим со мной, а я не мог надышаться. В открывшейся двери показался Гейгер, но Валентина осталась лежать. Что-то в ней напряглось (я это чувствовал), но не встала. Она, наверное, покраснела — не могла не покраснеть.

— Очень хорошо, — сказал, не входя, Гейгер, — отдыхайте.

Замечательная по-своему реакция.

Вообще-то, я не собирался этого описывать, это не меня одного касается, но раз уж он всё видел... Пусть Гейгер правильно поймет суть происходящего (да он, конечно, и так понимает). Я хочу, чтобы это повторялось — хоть по несколько минут в день.

Воскресенье

Проснувшись, прочел мысленно “Отче наш”. Оказалось, молитву воспроизвожу без запинки. Я, бывало, по воскресеньям, если не мог пойти в церковь, хотя бы “Отче наш” про себя читал. Шевелил губами на влажном ветру. Я жил на острове, где посещение служб не было делом само собой разумеющимся. И остров не то чтобы необитаемый, и храмы стояли, но так как-то всё сложилось, что посещать их было непросто. Подробностей сейчас уже и не вспомнишь.

Церковь — большая радость, особенно в детстве. Маленький, значит, держусь за юбку матери. Юбка под полушубком длинная, по полу шуршит. Мать ставит свечу к иконе, и юбка чуть приподнимается, а с ней — моя в варежке рука. Берет меня осторожно, подносит к иконе. Поясницей чувствую ее ладони, а мои валенки и варежки свободно перемещаются в воздухе, и я как бы парю в направлении иконы. Подо мною десятки свечей — праздничные, колеблются, — я смотрю на них и не могу отвести от этой яркости взгляда. Потрескивают, воск с них стекает, застывая тут же причудливыми сталактитами. Навстречу мне, распахнув руки, Мать Божья, и я целую Ее в руку неловко, потому что полет мой не мной управляем, и, поцеловав, прикасаюсь, как положено, лбом. На мгновение чувствую прохладу Ее руки. И вот так я парю себе в церкви, проплываю над священником, машущим кадиллом, — сквозь ароматный дым. Над хором — сквозь его песнопения (замедленные взмахи регента и его же гримасы на высоких нотах). Над старухой свечницею и заполнившим храм (обтекая столпы) народом, вдоль окон, за которыми заснеженная страна. Россия? У неплотно прикрытой двери зримо

клубится стужа, на ручке — иней. Щель резко расширяется, в возникшем прямоугольнике — Гейгер.

— Доктор, мы ведь в России? — спрашиваю.

— Да, некоторым образом.

Обрабатывает мне руку для капельницы.

— Тогда почему вы — Гейгер?

Он смотрит на меня удивленно:

— Потому что я русский немец. Deutschrusse.

А вы волновались, что мы в Германии?

Нет, не волновался. Просто теперь я могу считать, что точно знаю наше местоположение. До сегодняшнего дня оно было, в сущности, не очень понятно.

— А где сестра Валентина?

— У нее сегодня выходной.

Поставив капельницу, Гейгер измеряет мне температуру. 38,1.

— И что, — интересуюсь, — нет других сестер?

— Вы ненасытны.

А мне другая сестра не нужна. Я только не понимаю, что это за учреждение такое, где один врач, одна сестра и один пациент. Что ж, в России всё возможно. В России... Распространенная, должно быть, фраза, если сохранилась даже в моей разрушенной памяти. Есть в ней свой ритм. Не знаю, что за этим стоит, а *фразу* вот помню.

Таких неизвестно откуда всплывших фраз у меня уже несколько. У них есть, наверное, своя история, а я произношу их как в первый раз. Чувствую себя Адамом. Или ребенком: дети часто произносят фразы, еще не зная их смысла. В России всё возможно, м-да. Есть в этом осуждение, что ли, даже приговор. Чувствуется, что это какая-то нехорошая безграничность, что всё направится известно в какую сторону. В какой мере эта фраза касается меня?

Подумав, сообщаю фразу Гейгеру как немцу и прошу ее оценить. Слежу за движением губ его и бровей — так пробуют вино. Он шумно вдыхает, словно для ответа, но после паузы — так же шумно выдыхает. Как немец, он решил промолчать — чтобы, допустим, не травмировать меня. Вместо этого просит меня показать язык, что, на мой взгляд, по-своему оправданно. Мой язык действует еще в значительной степени самостоятельно: произносит то, что привык произносить, как это бывает у говорящих птиц. Видимо, Гейгер всё понял про мой язык и просит его показать. Когда я показываю, качает головою. Не радуется моему языку.

Подойдя к двери, Гейгер оборачивается:

— Да, вот еще... Если вам хочется, чтобы сестра Валентина лежала рядом — даже, допустим, под одним с вами одеялом, — говорите, не стесняйтесь. Это нормально.

— Сами знаете, что она в полной безопасности.

— Знаю. Хотя, — он щелкнул пальцами, — в России ведь всё возможно, а?

В данный момент — не всё... Чувствую это как никто другой.

Пятница

Все эти дни не было сил. Их и сегодня нет. В голове крутится странное: “Авиатор Платонов”. Тоже — фраза?

Спрашиваю у Гейгера:

— Доктор, я был авиатором?

— Насколько мне известно — нет...

Где же меня называли авиатором? Не в Куоккале? Точно, в Куоккале! Я кричу Гейгеру:

— Наименование связано с Куоккалой, где я... Где мы... Вы бывали в Куоккале, доктор?

— Она сейчас называется как-то иначе.

— Как?

— Ну, например, Репино... Главное — запишите ваше воспоминание.

Запишу — завтра. Устал.

Суббота

Мы с кузенком Севой на Финском заливе. Сева — сын брата моей матери: в детстве это объяснение родства для меня звучало ужас как сложно. Я и сейчас произношу это не без сбоев. Кузен — уже, конечно, полегче, но лучше всего — Сева. У Севиних родителей в Куоккале дом.

Мы с ним запускаем воздушного змея. Бежим по вечернему пляжу у самой кромки воды. Иногда задеваем воду босыми ступнями, и брызги сверкают в заходящем солнце. Воображаем себя авиаторами. Летим вдвоем: на переднем сиденье я, на заднем Сева. Там, в холодном небе, пустынно и одиноко, но нас согревает наша дружба. Если погибнем, то вместе: это сближает. Пытаемся переговариваться — там, наверху, — но наши слова уносит ветром.

— Авиатор Платонов, — кричит мне сзади Сева. — Авиатор Платонов, по курсу населенный пункт Куоккала!

Я не понимаю, зачем Сева обращается к своему коллеге так церемонно. Может быть, для того, чтобы Платонов не забывал, что он авиатор. Севин тонкий

голос (таким он у него и остался) разносится по всему пролетаемому нами населенному пункту. Иногда он смешивается с криками чаек и становится почти от них неотличим. Этот крик меня, по правде говоря, очень раздражает. Глядя на счастливое лицо Севы, я не нахожу в себе сил попросить его умолкнуть. В сущности, благодаря странному птичьему тембру я его и запомнил.

Перед сном нам дают горячее молоко с медом. Вообще-то, я не люблю горячего молока, но после полета над заливом, после морского ветра в лицо это не вызывает протеста. Мы с Севой — несмотря на то, что молоко едва лишь начало остывать, — пьем его большими громкими глотками. Молоко приносит финская молочница, и оно, особенно если не горячее, действительно очень вкусное. Путаясь в русских словах, финка хвалит свою корову. Эту корову я представляю похожую на самую молочницу — огромной, неторопливой, с широко посаженными глазами и тугим выменем.

Мы с Севой делим комнату на башенке. У нее круговой обзор (сзади лес, впереди море), что для опытных авиаторов немаловажно. В любое время можно оценить погоду: туман над морем — вероятность дождя; барашки на волнах и раскачивание верхушек сосен — штормовой ветер. И сосны, и волны меняют свой облик в сумраке белой ночи. В них появляется не то чтобы угроза, нет, просто они теряют свою дневную ласку. Так, видя улыбчивого человека задумавшимся, испытываешь беспокойство.

— Ты уже спишь? — шепотом спрашивает Сева.

— Нет, — отвечаю, — но собираюсь.

— Я видел за окном великана, — Сева показывает на окно, противоположное морю.

— Это сосна. Спи.

Через несколько минут раздастся Севино сопенье. Я смотрю в указанное Севой окно. И вижу великана.

Понедельник

Понедельник — день тяжелый... Еще одна *фраза* из моей бедной головы. Интересно, много ли их еще там? Нет уже ни людей, ни событий, а слова остались — вот они. Наверное, слова исчезают последними, особенно — записанные. Гейгер, возможно, и сам до конца не понимает, какая это глубокая идея — писать. Может быть, именно слова окажутся той ниточкой, за которую когда-нибудь удастся вытащить всё, что было? Не только со мной — всё, что было вообще. День тяжелый... Я-то как раз чувствую легкость, даже радость какую-то. Оттого, думаю, что жду встречи с Валентиной. Попытался встать — закружилась голова, и легкость исчезла. А радость не исчезла.

Войдя, Валентина потрепала меня по щеке — как приятно. Все-таки удивительные от нее исходят ароматы — совершенно мне незнакомые. Духи, мыло? Естественные свойства Валентины? Спрашивать неудобно, да и не нужно. Во всём должна быть своя тайна, особенно в женщине... Тоже ведь — *фраза*. Чувствуется же, что *фраза*!

Вот еще одна: “Тепло быстро передается по металлу” — очень она мне нравилась. Не самая, может быть, распространенная, но для меня — одна из первых, мною слышанных. Сидим незнамо где, незнамо с кем, помешиваем чай ложечками. Лет мне пять, думаю, не больше, подо мной на стуле вышитая поду-

шка (не достаю до стола), помешиваю чай, как взрослый. Стакан — в подстаканнике. Ложка — горяча. Бросаю ее со звоном в стакан, дую на пальцы. “Тепло быстро передается по металлу”, — звучит приятным голосом. Красиво, научно. Я это в подобных случаях лет до двенадцати повторял.

Нет, это — не самое раннее. “Иди бестрепетно” — вот самое. Мы входим на Рождество в чей-то дом. У лестницы — чучело медведя на задних лапах, в передних лапах — поднос.

— Зачем поднос? — спрашиваю.

— Для визитных карточек, — отвечает отец.

Мои пальцы на мгновение ныряют в густой медвежий мех. Для чего медведю визитные карточки (поднимаемся по мраморным ступеням), и что такое визитные карточки? Я несколько раз повторяю два этих слова, оскальзываюсь, но повисаю на отцовской руке. Качаясь, созерцаю ковровую дорожку на мраморе — схвачена золочеными креплениями, чуть загнута по бокам, тоже качается. Смеющееся лицо отца. Входим в ярко освещенную залу. Елка, хоровад. Мои руки липки от чьего-то пота, мне противно, но рук не разжать и из хоровада не вырваться. Кто-то говорит, что из присутствующих я самый маленький (это мы уже сидим на стульях вокруг елки). Он откуда-то знает, что я умею читать стихи, просит прочесть. И все тоже шумно просят. Рядом со мной оказывается старец в старинном мундире, с орденами под двухвостой бородой.

— Это, — говорят, — Терентий Осипович Добросклонов.

Вокруг нас образуется свободное пространство. Я молча смотрю на Терентия Осиповича. Он стоит, опираясь на трость и слегка наклонившись вбок, так

что мелькает даже мысль, что он может упасть. Не падает.

— Иди бестрепетно, — советует мне Терентий Осипович.

Я бегу от приглашения — сквозь анфиладу комнат, — наклонив голову и широко расставив руки, замечая, как мое отражение мелькает в зеркалах, а в шкафах звенит посуда. В последней комнате меня ловит толстая кухарка. Прижимая к своему переднику (тошнотворный запах кухни), торжественно вносит меня в залу. Ставит на пол.

— Иди бестрепетно, — звучит повторное указание Терентия Осиповича.

Я даже не иду — взлетаю, возношусь чьим-то усилием на венский стул и читаю собравшимся стихотворение. Помнится, очень небольшое... Гром аплодисментов плюс тедди-бэр в подарок. Что же я читал им тогда? Счастливый, пробираюсь сквозь толпу поклонников, взглядом благодарю виновников моего успеха — кухарку и Терентия Осиповича, который укрепил меня словом.

— Я же говорил, — рука его скользит по двум концам бороды, — иди бестрепетно.

У меня в жизни так не всегда получалось.

Вторник

Гейгеру нравятся мои описания. Сказал, что моей рукой водит всемогущий бог деталей. Хороший образ: Гейгер умеет быть поэтичным.

— А может, до потери памяти я был писателем? — спрашиваю. — Или газетным репортером?

Пожимает плечами.

— Или кем-нибудь еще — художником, например. Ваши описания очень, я бы сказал, зримы.

— Так художником или писателем?

— Жизнеописателем. Мы ведь договорились, что в главном подсказок не будет.

— И для этого вы сократили персонал до двух человек?

— Да, чтобы никто не проболтался. Осталась пара самых надежных.

Смеется.

После обеда Гейгер ушел. Я видел его в коридоре, когда входила Валентина, — в пальто, с шапкою в руках. Слышал его затухающие шаги, сначала на этаже, затем по лестнице. Два дня я не просил Валентину лечь рядом со мной, хотя и мечтал об этом. Несмотря на разрешение Гейгера (или вопреки ему?). А сейчас — попросил.

И вот она уже рядом, ее ладонь в моей ладони. Прядь ее волос щекочет мое ухо. Мне было бы тяжело от мысли, что нас могут застать за *этим*. За чем-то другим, предосудительным, быть может, даже неприличным, — не страшно, поскольку неприличное — первое, чего можно было бы ожидать, а вот за *этим*... Тут ведь так тонко всё, так трепетно и необъяснимо, и не покидает чувство, что это уже когда-то было. Спрашиваю у Валентины, было ли с ней уже такое, есть ли у нее на сей счет какие-то размытые воспоминания, не воспоминания даже — догадки. Нет, отвечает, не было, вообще ничего такого даже не было, откуда взяться воспоминаниям?

Так ведь было — у меня, ну не придумал же я это, в самом деле. Мы вот так же неподвижно лежали на кровати, рука в руке, висок к виску. Я тогда не мог

сглотнуть слюну — боялся, что она услышит звук глотания, нарочно кашлял, чтобы оправдать этот звук — такими нематериальными были наши отношения. Или чтобы там хрустнуло в суставе — тоже боялся, потому что сразу разрушилась бы вся воздушность, вся хрупкость наших отношений. В них не было ничего телесного. Мне хватало ее запястья, ее мизинца, ногтя на мизинце — маленького, как чешуйка перламутра, гладкого и розового. Я пишу, и у меня дрожит рука. Да, от слабости, от температуры, но и от великого напряжения чувств. И оттого еще, что всё остальное память от меня скрывает. Что это было?

— Что это было? — кричу, обливаясь слезами, сестре Валентине. — Почему счастье жизни моей вспоминается мне не полностью?

Прохладными губами Валентина прижимается к моему лбу.

— Может, тогда оно перестало бы быть счастьем. Может. Но чтобы понять это, нужно всё вспомнить.

Среда

Вспоминаю. Трамвайные рельсы на замерзшей реке. Электрический трамвайчик, пробивающийся от одного берега к другому, лавки вдоль окон. Взгляд вагоновожатого буравит метель и сумерки, но другого берега всё еще не видно. Путь едва освещают фонари, в их мерцающем свете каждая неровность на льду кажется едущим трещиной и зиянием. Вагоновожатый сосредоточен, он последний, кто потеряет надежду. Кондуктор тоже крепок духом, но не забывает взбадривать себя глотками из фляжки, ибо мороз и лунный этот пейзаж обескуражат любого, кон-

дуктор же должен оставаться бодрым. Продает билеты по пять копеек, отрывает их заледеневшими пальцами. Под ним десять саженой воды, по бокам метель, но хрупкий его ковчег, желтый огонек на льду, стремится к своей цели — огромному, теряющемуся во мраке шпилю. Я узнаю этот шпиль и эту реку. Теперь я знаю, в каком городе жил.

Четверг

Я ведь любил Петербург бесконечно. Возвращаясь из других мест, испытывал острое счастье. Его гармония противостояла в моих глазах хаосу, который пугал и расстраивал меня с детства. Я сейчас не могу как следует восстановить событий моей жизни, помню лишь, что, когда меня захлестывали волны этого хаоса, спасала мысль о Петербурге — острове, о который они разбиваются..

Валентина сделала мне сейчас укол в мягкое место. Какой-то витамин. Витамины болезненны, эти шприцы почему-то гораздо более неприятны, чем шприцы с лекарством. Я потерял мысль..

Ах, да — гармония. Строгость. Вот мы с отцом и матерью — я в центре, они по бокам, держат меня за руки, идем по Театральной улице от Фонтанки к Александринскому театру, прямо посередине улицы. Сами — воплощение симметрии, если угодно — гармонии. И вот идем мы, а отец говорит мне, что расстояние между домами равно высоте домов и длина улицы десятикратно превышает высоту домов. Театр нарастает, близится, страшит. Ускорение туч в небе. Да, вот что: улицу-то потом переименовали, как-то убого обозначили. Зачем?

А еще вспомнился пожар. Не сам пожар, а как ехали его тушить — по Невскому, ранней осенью, на исходе дня. Впереди на вороном коне — скачок. С трубой у рта, как ангел Апокалипсиса. Скачок трубит, готовя путь пожарному обозу, и все бросаются врассыпную. Извозчики хлещут лошадей, прижимают их к обочинам и замирают, стоя к пожарным вполоборота. И вот по бурлящему Невскому в образовавшейся пустоте мчится колесница, несущая огнеборцев. Спиной друг к другу они сидят на длинной лавке, в медных касках, и над ними развевается знамя пожарной части. У знамени — брандмейстер, он звонит в колокол. В своем бесстрастии пожарные трагичны, на их лицах играют отблески пламени, которое где-то их ждет, которое где-то уж разгорелось, до поры невидимое.

На едущих слетают огненно-желтые листья из Екатерининского сада, где свой пожар. Мы с мамой стоим, прижавшись к чугунной решетке, и наблюдаем, как невесомость листьев передается обозу: он медленно отрывается от брусчатки и на небольшой высоте летит над Невским. За линейкой с пожарными проплывает пароконная повозка с ломami, катушками для шлангов и штурмовыми лестницами, за ней — другая повозка с паровым насосом (из котла — пар, из трубы — дым), за ней — медицинский фургон, чтобы спасти обожженных. Я плачу, и мама говорит, чтобы я не боялся, только ведь плачу я не от страха — от избытка чувств. От восхищения мужеством и великой славой этих людей, от того, что так величественно они проплывают мимо замершей толпы под колокольный звон.

Я очень хотел стать брандмейстером и всякий раз, видя пожарных, обращал к ним беззвучную просьбу

принять меня в их ряды. Проезжая по Невскому на империале, неизменно представлял, что направляюсь на пожар. Держался торжественно и немного грустно, и не знал, как там всё еще сложится среди бушующего пламени, и ловил восторженные взгляды, и на приветствия толпы, слегка откинув голову набок, отвечал одними глазами. Судя по всему, пожарным я все-таки не стал, но сейчас, спустя время, я об этом не жалею.

Суббота

Весь день вчера проходил обследование. Странное какое-то впечатление... Нет, ни больно, ни даже неприятно мне не было. Удивили приборы — я таких никогда не видел. Я-то, конечно, не специалист по приборам, и всё, что я о них могу сказать, не более чем мое ощущение, но ощущение это необычное.

— Я долгое время был без сознания? — спросил я потом у сестры Валентины. — Настолько долгое, что успели появиться новые приборы?

Вместо ответа Валентина легла рядом со мной. Гладила меня по волосам.

Так гладила меня когда-то *Анастасия*. Надо же, всплыло вдруг имя. Не помню, кто она, почему меня гладила, но помню, что Анастасия. Пальцы ее путешествовали в моих волосах, иногда замирали в задумчивости. Скользили по щеке к уху, мягко ощупывали рельеф ушной раковины, и я слышал их неправдоподобно громкое шуршание. Случалось, Анастасия прижимала лоб к моему лбу и сплетала в одном завитке мою и свою пряди. Светлое с темным. Нас это ужасно заводило, мы были такими разными.

— О чем вы думаете? — спрашивает меня Валентина.

— Говори мне “ты”, ладно?

— О чем ты думаешь?

Да ни о чем. Мне просто не о чем думать — я ничего не помню. Вот и от Анастасии осталось только имя. Имя и запах ее пшеничных волос — его я тоже не забыл. А может, за впечатление, уцелевшее в памяти, я принимаю запах волос Валентины. Или так: запах волос Валентины (тоже — пшеничных) напоминает мне то, что когда-то делало меня счастливым.

Воскресенье

Гейгер принес мне “Робинзона Крузо”. Не в новом издании с упрощенною орфографией, а в дореволюционном: год 1906-й. Именно эту книгу я в детстве и читал — знал он об этом, что ли? Я бы узнал ее с закрытыми глазами — на ощупь, по весу. По запаху — как волосы Анастасии. В моих ноздрях навеки остался аромат типографской краски, исходивший от гляцевых листов этой книги. Он был ароматом странствий. Шелест этих листов был шелестом островных листьев, защищавших Робинзона от солнца, — огромных, ярко-зеленых, едва колышущихся. С хрустальными каплями по утрам. Я листал книгу и узнавал страницу за страницей. С каждой строкой воскресало всё, что сопровождало ее в моем ушедшем времени, — кашель бабушки, звон упавшего на кухне ножа и (оттуда же) запах жареного, дым отцовской папиросы. Судя по выходным данным книги, все отмеченные события состоялись не ранее 1906 года.

Понедельник

Человек сидит за столом. Виден в дверную щель: ссутулившись, режет колбасу ровными кружками, один за другим отправляет их в рот. Скорбная трапеза. Вдохнув, наливает в кружку водки, опрокидывает одним махом, чмокает. Время от времени смотрит в окно. Там листья, словно свинцовые, пикируют по диагонали вниз. Им бы плавно спускаться, но — ветер, он их влечет. А я наблюдаю за всем из коридора, где темно. Наблюдают причем не у самой двери, а отступив, потому меня не видно. Мне интересно, что делает человек, не знающий, что за ним следят. А он ничего не делает, только отрезает колбасу кружок за кружком и грустно запивает водкой. Прежде чем взять кружку, вытирает пальцы о газету. Вот, надо же, ничего особенного, а врезалось в память. Где и когда это было?

Уже несколько дней моя температура не превышает 37,5. И чувствую себя лучше, слабость мало-помалу уходит. Иногда сижу на кровати — пока не устану, а устаю всё еще быстро. Была такая пытка: сажали человека на жердь или на узкую скамейку так, чтобы его ноги до полу не доставали. И нельзя спать, сутулиться даже нельзя. Руки на коленях. Заставляли сидеть день и ночь — пока ноги не опухали. Так это и называлось — отправить на жердочку. Какой у меня все-таки сумбур в голове...

Лучше так: вот мы в Лигове, в Полежаевском парке. Июнь месяц. Там речка Лиговка, небольшая совсем, но в парке широка, как озеро. У входа — экипажи, ландо в огромном количестве, и я спрашиваю у отца, съехался ли сюда весь город. Несколько мгновений отец взвешивает, *что* стоит за моим вопросом — простодушие или ирония. Отвечает осто-

рожно: нет, не весь. Вопрос мой на самом деле светится радостью — я люблю большое скопление народа. Тогда еще люблю.

На траве — скатерти, самовары, патефоны. У нас нет патефона, и я смотрю, как крутят ручку сидящие рядом. Кто сидит — не помню, но до сих пор вижу, как вращается ручка. Через мгновение раздается музыка — хрипая, заикающаяся, и всё же музыка. Пение. Ящик, полный маленьких, простуженных, поющих, — как же я тогда хотел им обладать! Заботиться о нем, лелеять, ставить зимой у печи, но главное — заводить его с царственной небрежностью, как делают вещь давно привычную. Вращение ручки казалось мне простой и в то же время неочевидной причиной льющихся звуков, универсальной отмычкой к прекрасному. Было в круговом движении руки что-то моцартовское, что-то от взмаха дирижерской палочки, оживляющего немые инструменты и земными законами также не вполне объяснимого. Я, бывало, дирижировал наедине с собой, напевая услышанные мелодии, и неплохо у меня получалось. Если бы не мечта стать брандмейстером, то хотел бы я стать, конечно же, дирижером.

В тот июньский день мы видели и дирижера. С послушным его палочке оркестром он медленно удалялся от берега. Не парковый был оркестр, не духовой — симфонический. Стоял на плоту, непонятно как поместившись, и по воде растекалась его музыка. Вокруг плота плавали лодки, утки, слышны были то скрип уключин, то криканье, но всё это легко вращалось в музыку и принималось дирижером в целом благосклонно. Окруженный музыкантами, дирижер был в то же время одинок: есть в этой профессии непостижимый трагизм. Он, может быть,

выражен не так ярко, как у брандмейстера, поскольку не связан ни с огнем, ни с внешними обстоятельствами вообще, но внутренняя эта его природа жжет сердца тем сильнее.

Вторник

Четыре категории получавших продуктовые карточки: Первая — рабочие. Это фунт хлеба в день. Вполне достаточно.

Вторая — совслужащие, четверть фунта хлеба на день.

Третья — неслужащие интеллигенты, всего восьмушка.

Четвертая — буржуи. Тоже восьмушка, только на два дня. И ни в чем себе не отказывай...

Спросил у Гейгера, в ходу ли сейчас продуктовые карточки. Он ответил, что уже отменили. Ну, слава Богу. Небольшое это удовольствие — отоваривать карточки, особенно на мыло и керосин.

Узнал, что открылся новый пункт выдачи на Васильевском острове, угол 8-й линии и Среднего. Поплелся я с Петроградской туда — о новых местах не все знают, там обычно очередь меньше. Ветер с залива и мелкий снег, уши жалит. Дали мне с собой бабушкин платок (а бабушки уж не было в живых), чтобы я надел его поверх фуражки, но я, дурак, постеснялся. И уже на Тучковом мосту меня чуть не сдуло. Достал я из портфеля платок и намотал на голову. И чего, спрашивается, стеснялся — такая метель, что ничего на расстоянии вытянутой руки не видно. А если даже и видно — кто бы меня в этом платке узнал? Но, подходя к 8-й линии, снял его все-таки.

Встал в очередь. Пелагея Васильевна мне говорит:
— Я Пелагея Васильевна, я в очереди перед вами, но хочу постоять в нише, где ветер меньше.

— Конечно, — отвечаю, — Пелагея Васильевна, стойте себе в нише, что же я могу вам еще сказать?

— А вы не уйдете из очереди? Если уйдете, зайдите ко мне сюда в нишу (показывает) и предупредите.

Я киваю, но она остается на месте.

— Я бы, — говорит, — постояла, но у меня повышенная температура. Не знаю, что от меня после этого стояния останется. А без керосина готовить не на чем.

Подходит Николай Кузьмич:

— Иди, Пелагея, я вместо тебя постою, да не волнуйся ты, ради Бога.

Она уступает ему свое место в очереди.

— За Николая Кузьмича я спокойна.

Все стоящие засыпаны снегом — шапки, плечи, ресницы. Некоторые бьют ногой о ногу. Из ниши выглядывает Пелагея, недоверчиво глядя на Николая Кузьмича. Тот замечает Пелагею и укоризненно качает головой.

— Спасибо тебе, Николай, — говорит она и скрывается в нише.

Первый час все шутят и говорят о том, как трудно жить без керосина. Керосина и дров. На исходе третьего часа подходит Скворцов, каким-то образом мне знакомый. Поддерживая общую беседу, Скворцов говорит, что 1919-й год — худший в его жизни.

— А сколько твоей жизни, — спрашивает кто-то из очереди, — лет девятнадцать всего и будет? Или двадцать? Что ты, вообще говоря, в этой жизни видел?

— Ну, во-первых...

Отвечая, Скворцов делает вид, что он полноправный член очереди и что стоит вместе со мной. Голос его ровен, но очередь ему не верит.

— Вот он, — говорит Николай Кузьмич, показывая на меня, — стоял здесь с самого начала, мы его помним. Пелагею Васильевну помним, вместо которой стою здесь я. (На мгновение из ниши показывается Пелагея.) Тебя же, прости, не помним.

Скворцов пожимает плечами, и с них слетает напавший снег. Через мгновение Скворцов сливается с метелью. Уходит легко, без спора. Уходит из моей жизни навсегда, потому что больше я его, кажется, не видел.

Среда

На шкафу статуэтка Фемиды, ее подарили отцу в день окончания юридического факультета. Мне на нее еще грудному показывали, говоря: Фемида. Спрашивали потом, при гостях особенно: где Фемида? Я показывал. Не знал еще, кто такая Фемида, думал, что любая дребедень, стоящая на шкафу. Мне всё в Фемиде нравилось, кроме весов — они не качались. Лет до семи я это терпел, а потом попытался сделать весы подвижными, гнул их, стучал по ним молотком. Был уверен, что они должны качаться, думал, заело что-то. Весы, конечно, отломались.

Четверг

Сегодня после утреннего осмотра Гейгер остался в палате. Скользнул рукой по спинке венского стула.

— Вы как-то спрашивали у Валентины, долго ли были без сознания...

Уперся в спинку обеими руками и смотрел на меня. Я подтянул одеяло к подбородку.

— Это тоже тайна?

— Нет, почему же. Реабилитация ваша проходит успешно, и, я думаю, уже можно кое-что вам объяснить. Но только кое-что — так, чтобы не всё сразу.

Словно дождавшись этой фразы, в палату вошла Валентина с тремя чашечками на подносе. Я понял, что это кофе, едва она занесла ногу над порогом. Он благоухал. Хорошо сваренный кофе — когда же я пил его в последний раз? Мне помогли подняться, и через минуту все мы сидели — я на кровати, Гейгер с Валентиной — на стульях.

— Дело в том, — сказал Гейгер, — что вы действительно очень долго были без сознания, и в мире произошли изменения. Я вам буду понемногу о них рассказывать, а вы продолжите вспоминать всё, что было с вами. Наша с вами задача — чтобы эти два потока слились безболезненно.

Кофе оказался таким же, как его запах, может быть, даже чуточку лучше. Гейгер стал рассказывать о завоевании космоса. Мы с американцами, оказывается, уже давно летаем в космос. Что ж, имея в виду идеи Циолковского, этого следовало ожидать. (Чего мне не хватает в кофе, так это сахара. Спрашиваю, можно ли получить сахар. Гейгер колеблется, говорит, что не знает, как в моем организме поведет себя глюкоза.) Первым в космосе был русский, зато американцы побывали на Луне. Мало что знаю о космосе и о Луне, но, по-моему, делать там совершенно нечего.

— Люди побывали на дне самых глубоких морей, — продолжает Гейгер.

Киваю.

— В ваше время можно было подумать о чем-то подобном? — спрашивает Валентина.

— Да, — отвечаю, — кое-какие идеи на этот счет имелись уже тогда.

Рассказываю, что была на ярмарках такая игрушка — *австралийский житель*. В стеклянном баллончике с водой плавал маленький (стеклянный же) господин с выпученными глазами. Сверху на баллончик крепилась резиновая мембрана. Нажмешь на мембрану — австралийский житель, крутясь вокруг своей оси, идет ко дну. “Австралийский житель спускается на дно морское, ищет счастье людское!” — кричал продавец. Припадая на одну ногу и шаркая, продавец на удивление быстро перемещался по ярмарке, и голос его то стихал, то возникал вдруг где-то рядом. “Австралийский житель спускается..” Всех забавляло, что борцы за людское счастье выглядят столь необычно. Что они так подвижны. Русские жители, в отличие от австралийских, с такой скоростью крутиться, безусловно, не умели.

Рука Гейгера на плече Валентины. Пальцы как бы машинально теребят прядь ее волос. Показывают на меня. Театральным шепотом Гейгер произносит ей в самое ухо:

— Это ведь не только о покорении стихий, здесь бери выше — проблема счастья..

— Борьба за счастье вас, кажется, не особенно вдохновляет? — спрашивает меня Валентина.

— От нее, — говорю, — вообще-то, одни трагедии.

Валентина не делает попыток уйти от Гейгеровой руки. Смеется. Интересно, существуют между ними какие-то отношения? Очень уж по-хозяйски он с ней обращается.

Гейгер мне еще что-то из области техники рассказывал, но я не всё запомнил. Да, теперь пишут “шариковыми ручками” (внутри пера шарик) — так вот, это то, что Валентина несколько дней назад от меня прятала. Они хотели уберечь меня от потрясения. Скажу честно: меня это не потрясло.

Вечером у меня поднялась температура, и Валентина читала мне вслух “Робинзона Крузо”. Спросила, что именно прочесть, и я попросил читать то, что само откроется. Мне ведь всё равно, с какого места, я эту книгу, почитай, наизусть помню. Открылся рассказ о том, как Робинзон перевозит вещи с бывшего своего корабля. Из запасных мачт сооружает плот и, делая ходку за ходкой, доставляет на берег запасы провизии, плотницкие инструменты, парусину, канаты, ружья, порох и много чего другого. Плот качается под тяжестью спускаемых на него сундуков, и сердце читателя бьется, потому что всё у Робинзона — последнее, ничему нет замены. Родившее его время осталось где-то далеко, может быть, даже ушло навсегда. Он теперь в другом времени — с прежним опытом, прежними привычками, ему нужно либо их забыть, либо воссоздать весь утраченный мир, что очень непросто.

Думаю, что Гейгера с Валентиной ничто не связывает. Они общаются между собой непринужденно, но из этого еще ничего не следует. Врачебная такая манера.

Пятница

Снимали дачу в Сиверской. Приезжали по Варшавской железной дороге во втором классе, в клубах

дыма и пара. Поезд шел около двух часов, останавливался четыре раза — в Александровской, в Гатчине, в Суйде и, конечно же, в нашей Сиверской. Это первые мои на свете названия, первые признаки обитаемого мира вне Петербурга. Я еще не подозревал о существовании Москвы, о Париже ничего не знал, а о Сиверской — знал. И станции по Варшавке объявлял с двух лет — так мне говорили родители.

Остановившись в Сиверской, паровоз тяжело выдыхал, и это был его окончательный выдох. В нем еще что-то клокотало, шипело что-то, но готовности следовать дальше уже не было: в этих звуках проявляла себя лишь невозможность мгновенно затихнуть. Так после бега храпит, восстанавливая дыхание, скаковая лошадь.

Из багажного вагона на телегу выгружались наши многочисленные пожитки — перины, гамаки, посуда, мячи, удочки. Мы ехали в легком экипаже, а телега медленно тащилась за нами. Переехав через Оредежь по мельничной плотине, останавливались. Наблюдали, как возница собирал сиверских мужиков, чтобы они подтолкнули телегу при подъеме на крутой берег. Точнее, не собирал, а выбирал — там, у плотины, в ожидании стояла целая толпа их, знавших, что с поезда поедут на телегах, которые нужно ведь будет подталкивать. Брели по двадцати копеек, дешевле не соглашались: этого им хватало на две бутылки пива, а меньше они не пили.

Оказавшись на перроне, я вдыхал несравненный сиверский воздух. Я, маленький, еще не умел выразить, в чем состояла его особенность (я и сейчас, наверное, этого не сумею), но уже тогда ясно понимал, что с воздухом Петербурга у него нет ничего

общего. Что, может быть, это и не воздух даже, а нечто иноприродное — густое, ароматное, не столько вдыхаемое, сколько испиваемое.

И виды были другими, и краски, и звуки. Зелеными, шумящими. Коричневыми, бездонными, плещущимися. Переходящими солнечным днем в голубое. Был рев водопада на плотине, и дрожание металлических перил от падения воды, и радуга в брызгах. По одну сторону плотины — полнота и задумчивость, по другую — бурление и надрыв. И над всем этим — огненная охра обрыва, девонская, выражающаяся научно, глина, на которую укладывались кирпичи тамошних печей.

Никто там эту глину девонской не называл. Красная глина, говорили, и клали кирпич за кирпичом. Мастерок был в красном, рабочая одежда в красном, в красном же и носы, которые очищали, прижав к ним красные пальцы. А я стоял у строящейся бани, в матросском костюмчике, четырехлетний, смотрел, как на глину опускались кирпичи, как печник мелодично постукивал по ним ручкой мастерка и шутил со мной, и я смеялся. Это постукивание было для меня самую сутью непростого печного дела, его бесспорной вершиной. Я просил у печника мастерок и стучал сам — не так умело, не так мелодично, но кое-какой звук всё же получался. И рукава мои были в девонской глине.

Дом над Оредежью. Река вьется вниз, а мы — наверху. Качаемся в гамаке, привязанном к двум соснам. Точнее, гамак раскачивает соседская девочка, она сидит на самом краю сетки, а я лежу рядом, глядя на нее. Мне лет семь, думаю, не более семи, но эти ритмичные движения уже тревожат меня. Мы — лодка на волнах, а река под нами то взмывает вверх, то исчезает, оборачиваясь верхушками сосен. При

всяком подъеме меня касаются ее распущенные волосы, они скользят по моим глазам, щекам, губам, я же не отворачиваюсь, слежу за тем, как расширяется влажное пятно на ее платье между лопатками. Кладу на пятно ладонь, и она не сбрасывает ее, потому что ей, как и мне, это приятно, а когда ладонь моя сдвигается влево, я ощущаю, как бьется ее сердце. Часто и сильно. Это наша с ней маленькая влажная тайна и самая первая моя любовь.

Суббота

Дали мне сегодня новую микстуру — ужасно горькая. Пил ее и вспомнил, как впервые в жизни пил водку. Это было на Дне ангела Елизаветы, отмечавшемся в огромной квартире на Моховой. Помню залитую электрическим светом залу, экзотические растения в кадках. Не помню, кто такая Елизавета.

Ко мне подходит Скворцов. Глаза его блестят.

— Сегодня ночью бегу на германский фронт. Предлагаю по этому случаю дерябнуть. — Приподняв полу сюртука, показывает торчащее из кармана брюк горлышко бутылки. — Имеется “мерзавчик”.

Со Скворцовым я познакомился здесь же, у Елизаветы, полчаса назад. Отказать Скворцову трудно, потому что, если человек бежит на фронт, это, возможно, его последняя просьба. Я соглашаюсь. И в то же время колеблюсь: мне стыдно признаться, что я еще никогда не пил водки. Скворцов ведет меня на лестничную площадку и достает свою бутылку. Аккуратно прикрывает входную дверь. Прислонившись к двери спиной, надолго припадает к бутылке губами. Я не знаю, как именно пьется водка.

Вижу лишь, что количество жидкости в бутылке не уменьшается, не идут даже пузырьки. Зато я явно различаю плавающую в бутылке муть, и мне начинает казаться, что источник ее — рот пьющего. Со стоном бывалого Скворцов отлипает от бутылки, которая мне представляется подозрительно полной.

— Мы — ровесники века, Иннокентий, а стало быть, за него в ответе. — Скворцов стоит, как бы уже покачиваясь. — Потому я и бегу на войну, понимаешь? Пей, твой черед.

Ровесники века — тоже *фраза*. Из тех, что в жизни звучат много раз. Слушать Скворцова мне смешно и немного противно. И пить после его губ противно, но отказаться не могу — подумает, что я боюсь пить водку. Я нерешительно беру бутылку.

— Недаром говорят: как водки выпить, — подбадривает меня Скворцов. — Хлоп — полбутылки одним глотком!

Я делаю один глоток (гораздо меньше рекомендованного), и мне обжигает горло. Отодвигаю бутылку, чтобы перевести дух.

— Не вдыхай, пей дальше! — истерично кричит Скворцов.

Делаю еще один глоток, и в голове проносится мысль о слюнях Скворцова. Тех слюнях, которые он, возможно, напустил в бутылку. Меня выворачивает наизнанку.

— Твоей ошибкой было то, что ты вдохнул, — говорит мне Скворцов. — Не надо было вдыхать.

В его голосе чувствуется удовлетворение. Он протягивает мне свой носовой платок, чтобы я вытер рот, но я отвожу его руку. Я боюсь, что при взгляде на его платок меня вырвет еще раз.

Скворцова я увидел через несколько дней на Невском. Он издали помахал мне рукой. Никуда он тогда не уехал.

Осенило сейчас: если мы *ровесники века*, то я — 1900 года рождения. Мысль естественная, но почему-то не сразу пришла мне в голову.

— Доктор, я родился в 1900 году? — спрашиваю у Гейгера.

— Да, — отвечает. — Вы — ровесник века.

М-да...

Понедельник

Куоккала. Каждый день после завтрака мы с Севой носимся по пляжу. Утренние вылеты вошли у нас в обыкновение. Я держу веревку и управляю змеем-аэропланом. Сева тоже держит веревку, но ниже, он там уже ничем не управляет, так что правильнее сказать, что за веревку он держится. Это потому, что всякий раз, когда вести машину берется Сева, она тут же пикирует вниз и бессильно ложится на водную гладь. Такие события, собственно, не выбиваются из игры, потому что катастрофы на заре воздухоплавания — тоже явление частое. Удивительно лишь то, что в нашем случае все они прочно связаны с моим кузенком.

Сева со мной одного возраста, но в наших отношениях почему-то считается младшим. Есть, конечно, люди, которых подчиненное положение не обижает, они к нему стремятся и принимают как естественное свое место в жизни. Не таков Сева — он от подчиненного положения страдает, но другого занять не может.

Вот, Сева, например, труслив. Ну, не труслив — нехорошо так говорить, — несмел. Боится незнакомых, силуэтов в окне, пчел, лягушек, ужей. Я говорю ему, что ужи не ядовиты, беру ужа пальцами чуть пониже головы и хочу передать Севе, но кузен мой сразу бледнеет, и губы его дрожат. Мне становится жаль Севу. Я выпускаю ужа, и тот уползает по дорожке.

Вечером у меня в палате сидел Гейгер. Он прочитал мои догадки насчет него и Валентины. Заверил меня, что эта запись замечательна по своей искренности. Он, Гейгер, всячески добивается полной открытости моего подсознания и просит не стесняться в выражении мыслей и чувств. Так-то. Уходя, сказал:

— Мои отношения с Валентиной не могут мешать вашим с ней отношениям.

Его отношения...

Четверг

Несколько дней пролежал не поднимаясь. Слабость невероятная. Не было сил писать. А сегодня в моем бедном мозгу всплыла такая фраза: “Вы не завершили построение формы, рано переходить к свето-теневой моделировке”.

Значит, я все-таки был художником? Но тогда об этом должна помнить не одна лишь голова (она очевидным образом не помнит), но и рука. Так ведь и рука тоже не помнит. Пытался что-то нарисовать — не получается.

Фраза зацепилась за какой-то крючок в сознании и раскачивалась на нем весь день. Вы не завершили построение формы... Видимо, не завершил. Значит,

не художник, в лучшем случае — жизнеописатель. Что имел в виду Гейгер, называя меня так?

И что он имел в виду, говоря об их с Валентиной отношениях?

Пятница

Гейгер сообщил мне, что сейчас “Оредежь” мужского рода. И без мягкого знака.

— Что, — спрашиваю, — река пол сменила?

— Сейчас не то что реки — люди пол меняют. Но вы пишете как прежде — так, по-моему, красивее.

Сегодня он показал мне *компьютер*. Дорогая, видимо, игрушка. Нажмешь на одну кнопку — загорается маленький экран. Нажмешь на другую — высвечиваются фотографии. Как в “волшебном фонаре”.

Каменноостровский проспект у Троицкого моста, 1900-е годы. Трамвай идет. На фотографии цветов не различить, но я как сейчас вижу эти трамваи — красные и желтые. Конку почему-то красили в бурые цвета, а трамваи — в яркие. Помню их звон. Вагоновожатому звонил с задней площадки кондуктор, и это значило, что можно трогать. У вагоновожатого был и свой звонок — для экипажей и пешеходов. Педаль. Чтобы позвонить, он нажимал на педаль. Как же я в детстве мечтал на нее нажать! Следил за суровым лицом вагоновожатого, за его ногой — словно чужой, отдельной, словно на время привинченной к неподвижному его телу, неутомимо тянущейся к педали. Нога была обута в обычные ботинки с галошами, порой — дырявыми. Меня удивляло, что это не мешало ей взаимодействовать с таким изысканным предметом, как электрический звонок.

Экран затуманивается, и всплывает другая фотография. Дворник (1908). В тулупе, валенках... Это, наверное, младший дворник — они лед скоблили, носили по квартирам дрова, но был еще старший дворник, которому младшие подчинялись. Тот чуть ли не в костюме ходил.

А вот Сиверская, дорога от мельницы, начало века. Господи, ведь именно по этой дороге мы всякий раз поднимались! Там, на фотографии, заметен кто-то — уж не мы ли? В пятницу вечером ходили на станцию встречать отца после рабочей недели, а воскресным вечером провожали.

Главы питерских семейств, уезжавших на дачу, были, вообще говоря, двух видов — *дачные мужья* и *шампаньолики*. Дачные мужья с мая по сентябрь отказывались от городской квартиры (снимать ее было довольно дорого) и после работы ежедневно ехали за город к семье. Что отнимало уйму времени и сил. Шампаньолики же, напротив, позволяли себе оставаться в городских квартирах, навещая семьи по выходным. Почему-то считалось, что среди недели шампаньолики встречаются друг с другом, играют в карты и пьют — естественно, шампанское. По своему достатку мой отец был, скорее, дачным мужем, но вел себя, как отъявленный шампаньолик. Всё дело было в том, что в мае он не любил заниматься перевозкой мебели на склад, а в сентябре — поисками квартиры и опять-таки — перевозкой мебели со склада. Мне могут возразить, что такие вещи не любили все. Пожалуй, что все и не любили. Но он — особенно.

Мы с матерью стояли на вечерней станции и ждали отца. Не мы одни, конечно. Множество сиверских дачников ждало своих отцов из города и приходило вечером к железной дороге. Некоторые —

приезжали, оставляя экипажи на станционной площади. Поездов было мало, поэтому собирались все в одно и то же время — если ничего не путаю, в половине восьмого. Разговаривали друг с другом на перроне, прихлопывали друг на друге комаров. Стучали каблуками по деревянному настилу. Предвкушая встречу — смеялись. Мать говорила, что наступают вечерняя прохлада, доставала из сумки плотный китель и (моя попытка увернуться) надевала его на меня. Говорила, что просто я прохлады не замечаю. Я ее действительно не замечал.

Поезд был виден издалека и подходил медленно. Как только он появлялся над точкой слияния рельсов, встречавшие поворачивались к нему лицом. Заметив, уже не выпускали из виду. Они еще говорили друг с другом, еще интересовались сиверскими новостями, но по-настоящему внимание их было приковано к ползущей по рельсам личинке, к ее необъяснимому превращению в паровоз.

Я еще не знал, в каком из вагонов едет отец, он садился в разные вагоны, и мгновенно увидеть его среди прибывших было для меня делом чести. Отец выходил на перрон и целовал нас — сначала меня (подняв на руки), затем маму, — и появление его было несказанным моим счастьем. Счастье, счастье, говорил я про себя, увидев отца. Мы переходили через реку, поднимались по той самой дороге у мельницы, а тени наши неправдоподобно вытягивались под бесконечным летним солнцем. Счастье. Входили в дом, ужинали, рассматривали подарки (отец всегда приезжал с подарками), читали что-нибудь вслух на ночь, засыпали и видели сны.

Уже взрослым я часто видел отца во сне, прежде всего — отца летнего. Нос с горбинкой, пенсне, на-

мечающаяся надо лбом залысина. В белой рубашке и светлых брюках с широким поясом. Карман для часов, серебряная цепочка. Может быть, напряженное высматривание отца на перроне и сделало его облик самым четким портретом моей памяти.

Движения его помню. Преувеличенное, несколько даже залихватское вытаскивание брегета за цепочку. Щелканье крышки, легкая гримаса — вроде как неудовлетворенность временем, вроде как бежит слишком быстро — смотрел на часы, когда скучал или сомневался. Когда стеснялся — тоже смотрел, спасительный был такой жест. А может, и не жест, может, что-то большее, связанное с отпущенным ему сроком, — предчувствие, что ли? Июльским вечером 1917 года (наш последний дачный год) мы так и не дождались его на станции. В тот день у Варшавского вокзала его убили пьяные матросы.

Позднее я мучил себя картиной того, как наш любимый белоснежный папа лежит на грязной панели, как вокруг него собираются зеваки, а он, стеснявшийся, презиравший, ненавидевший внимание улицы, даже не может от них уйти. Мама спрашивала в полиции, долго ли он так лежал (выяснилось — долго), спрашивала, за что его убили (ни за что), как будто, если бы за что-то, стало бы легче, потом кричала, что всю эту солдатню расстреляла бы своими руками, а полицейские молча на нее смотрели. За своим горем она не понимала, какая вершится катастрофа, что расстреливать матросов — всё равно что расстреливать морские волны или, допустим, молнию. Да и то, что мы переживали, было, как оказалось, не молнией — зарницей, молния была впереди. Только мы этого еще не знали.

Суббота

В связи с отцом думал о природе исторических бедствий — революций там, войн и прочего. Главный их ужас не в стрельбе. И даже не в голоде. Он в том, что освобождаются самые низменные человеческие страсти. То, что в человеке прежде подавлялось законами, выходит наружу. Потому что для многих существуют только внешние законы. А внутренних у них нет.

Воскресенье

У места своего спасения Робинзон Крузо поставил столб, на котором отмечал воскресенье. Робинзон боялся, что спутает их с будними днями и Воскресение Господне не будет им праздноваться в должный день. Каждую седьмую зарубку он делал длиннее, еще длиннее делал зарубки, обозначавшие первое число каждого месяца. На столбе вырезал ножом крупную надпись: “Здесь я ступил на берег 30 сентября 1659 года”. Интересно, какой же все-таки сейчас год?

Забавная штука — *компьютер*. Оказывается, на нем можно печатать, как на пишущей машинке. И — исправлять. Главное, исправлять, как будто и не было ошибки — без нервотрепки, без утомительных подчисток на пяти экземплярах. Машинистки бы обзавидовались. В компьютере можно хранить тексты, с компьютера можно читать. Буду учиться печатать.

По совету Гейгера читал статью “Клонирование” — что-то в духе Герберта Уэллса. Я не очень понял там про “ядра” и “яйцеклетку” — что и куда пересаживали. Понравилось про овцу, выращенную яко-

бы из овечьего вымени. Ее назвали в честь певицы Долли Партон, которая любила подчеркивать достоинства своего бюста. Гейгер считает, что описанное в статье (имею в виду выращивание овцы) — правда. Говорит, что знакомит меня с теми изменениями, которые произошли в мире, пока я был без сознания. Чтобы, стало быть, мое сознание подготовить.

Дал он мне еще почитать о *крионике* — статья не менее экзотическая. О том, как замораживают тела для последующего воскрешения. Есть что-то жутковатое в самой идее — независимо от того, существует ли такая заморозка в действительности. Если верить статье, замороженных людей довольно много, хотя живым никого пока не разморозили. В то же время какие-то опыты можно признать удачными. Куриный эмбрион несколько месяцев находился в жидком азоте, затем его разморозили, и сердце эмбриона забилося. До -196 градусов по Цельсию заморозили сердце крысы, когда же его разморозили — оно тоже забилося. Производили заморозку головного мозга кролика. После разморозки мозг кролика (а есть ли у кролика мозг?) сохранял биологическую активность. Наконец, до -2 градусов по Цельсию охладили африканского бабуина. В замороженном состоянии бабуин пребывал 55 минут, после чего был успешно реанимирован.

Понедельник

Анастасия. Удивительное имя — полногласное и нежное одновременно, три “а”, два “с”. Она сказала: “Меня зовут Анастасия”. Стояла надо мною, как Снежная королева, на новеньких коньках *Галифакс*,

руки в муфте, посреди Юсуповского сада. Что она сначала произнесла? Всё помню: “Простите меня, пожалуйста”. Произнесла: “Вы не ушиблись?” А я — на четвереньках. Смотрю на ее коньки, на полы пальто и меховую оторочку, из-под которой едва-едва, на какой-нибудь вершок, ноги в рейтузах. В глазах моих круги от падения. Кровь из носа капает на лед, и это самое ужасное, самое стыдное.

Она наклоняется, нет, садится на корточки, достает из муфты платочек, прикладывает к моему носу: “Я вас сбила с ног, простите меня”. Пятно на льду расплзается, я от стыда вожу по нему рукой, как бы стереть хочу, и ничего не получается. Оркестр продолжает играть, нас все объезжают, некоторые останавливаются. Платочек пахнет духами, весь в моей крови, а я всё не могу подняться, я первый раз на катке, и в моих глазах слёзы стыда. Она мне подает руку — теплую, из муфты, и я ощущаю ее всей ладонью. И вот одна ладонь моя на льду, другая в ее руке, и такая в этом противоположность, такое схождение теплого и ледяного, живого и неживого, человеческого и... Почему я сравнил ее со Снежной королевой? Ее красота тепла.

Она ведь меня и не толкала, это я от нее отшатнулся. Она быстро ездил, красиво — иногда одна, иногда в паре с другими гимназистками. Кажется, она была гимназисткой, кажется, да, кем же еще... Порою ездили по три, по четыре, скрестив друг с другом руки. До чего же красиво двигались их ноги — одновременно, широко, с режущим звуком. Я как надел коньки, целый час у кромки льда стоял, любовался катающимися, ею любовался. После сырой прохлады раздевалки, запаха деревянных лавок и пота — морозный ветер на катке, возгласы, смех,

а главное — музыка. Когда оркестр заиграл “Хризантемы”, как же она танцевала, ах, как! С каким-то студентом, который, конечно, ей в подметки не годился, я на него старался не смотреть и видел только ее, и душа моя замирала.

С женщинами были связаны и другие (невольный каламбур) падения моей жизни. Вот я недавно описывал качание в гамаке. А запомнил-то я его потому, что сильно тогда разбился. Девочка так раскачала гамак, что я вылетел из него и ударился затылком о корень сосны. Тогда тоже кровь носом шла, и на затылке зашивали рану. Меня потом долго мучили головные боли...

Что после всего сказанного приходит в голову: в Юсуповском саду была не Анастасия. С нею, если ничего не путаю, мы познакомились в двадцать первом году. Уж какие в двадцать первом коньки! Почему я решил, что это была Анастасия?

Вторник

Сегодня я сделал хронологическое открытие — датировал мое настоящее. Датировал и — сам себе не верю.

Обычно Валентина приносит мне таблетки на подносе, а сегодня доставала их из коробки. Коробку забыла на моей тумбочке. Рассматривая необычную упаковку, прочитал: “Дата изготовления: 14.12.1997”. Подумал было, что опечатка, но увидел ниже: “Годен до 14.12.1999”. Неплохо.

Получалось, что сейчас либо девяносто восьмой, либо девяносто девятый годы — если, конечно, не используются просроченные лекарства. В какую такую аварию мог я попасть, чтобы оказаться в противопо-

ложном конце века? Что это — игра моего поврежденного сознания? Я был уверен, что у этих цифр есть какое-нибудь простое и разумное объяснение.

С трудом встал с койки и подошел к зеркалу у двери. Глубоко посаженные глаза, под ними круги. Глаза серы, круги сини. Складки от носа к уголкам губ — складки, не морщины. Считается, что это следы улыбок — в прежней жизни я, нужно думать, много улыбался. Темно-рус, ни одного седого волоса. Бледен. Бледен, но ведь не стар! В 1999 году у *ровесника века* должен быть совсем другой вид.

Вошел Гейгер.

— Доктор, сейчас девяносто девятый год? Или девяносто восьмой?

— Девяносто девятый, — отвечает. — 9 февраля.

Он совершенно спокоен. Короткий взгляд на лекарство:

— На упаковке прочитали? Я предложил Валентине оставить упаковку, такие подсказки приемлемы.

— Может быть, вы мне подскажите и всё остальное? Как я вообще сюда попал и что со мною было?

Улыбается:

— Подскажу обязательно, но говорить — не буду. Я ведь вам всё объяснял. Ваше сознание напоминает желудок после голодания, перегрузить его — значит убить. Как видите, я с вами откровенен в той степени, в какой это только возможно.

— Тогда скажите мне, что сейчас в России. Хотя бы в общих чертах.

Гейгер на минуту задумался.

— Диктатура сменилась хаосом. Воруют, как никогда прежде. У власти человек, злоупотребляющий алкоголем. Это — в общих чертах.

Да.. Вот оно как, авиатор Платонов.

Пятница

Два дня мне не писалось, думал о сказанном Гейгером. И о девяносто девятом годе своем. Ничего не придумал, потому что в голове не укладывается. Вот, кажется, понял, принял, успокоился, а потом как бы очнулся, и снова — голова кругом. Прав Гейгер: если я еще что-нибудь новое сейчас узнаю, то, видимо, сойду с ума. Лучше думать о прошлом.

Была в Сиверской длинная такая Церковная улица, шла от мельницы, мимо церкви Петра и Павла, до дальнего мостика через реку. Поднималась от Оредежи и спускалась к ней же, сделавшей крюк. По этой дороге маршировал наш отряд. Небольшой был отряд, но вполне боевой и отлично экипированный. Впереди — знамя с двуглавым орлом, за ним — горнист с барабанщиком, а уж следом сам отряд. Большая часть дороги была ровной, на ней хорошо получалось чеканить шаг. Знамя развевалось, горнист трубил, а барабанщик, соответственно, барабанил. Так вот: этим барабанщиком был я. Для сиверских маршей папа купил мне барабан — настоящий, обтянутый кожей. В отличие от игрушечного, он издавал протяжный, звенящий и в то же время глубокий звук. И так хорошо, так сладко мне тогда барабанилось: трам-тарарам, трам-тарарам, трам-тарарам-пам, трам-пам-пам.

Заслышав нас, к заборам своих дач подходили отставные генералы. Они отдавали нам честь. На этот случай у генералов имелись выцветшие фуражки с кокардами, к которым они прикладывали руку. Всё, что ниже — стеганные халаты, вязанные жилеты и прочее невоенное имущество, — скрывалось за забором. Генера-

лы долго смотрели нам вслед, потому что перед ними проходила их молодость. В их глазах стояли слёзы.

Куда мы шли и зачем? Сейчас я не могу на это ответить сколько-нибудь внятно, как не смог бы, видимо, ответить и тогда. Скорее всего, это было счастье совместного движения, своего рода торжество ритма. Не труба, не знамя, но барабан сделал нашу маленькую стаю отрядом, он придал нашему шествию нечто такое, что отрывало идущих от земли. Барабан отзывался в груди, в самом, казалось, сердце, и мощь его завораживала. Он входил в наши уши, ноздри, поры с теплым июльским ветром и шумом сосен. Оказавшись в Сиверской годы спустя (поздней осенью, совершенно случайно), я различил в дожде его дальнюю дробь.

Суббота

Да, с Анастасией мы познакомились в двадцать первом году. Конечно же, не на катке. В доме на углу Большого проспекта и Зверинской, куда нас с мамой поселил Петросовет. Нам дали комнату в квартире, подвергшейся *уплотнению*. Уплотняли профессора Духовной академии Сергея Никифоровича Воронина и его дочь Анастасию. Анастасию, стало быть, Сергеевну. Просто Анастасию, но никогда — Настю. Не знаю, отчего я называл ее именно так, она ведь была младше меня на шесть лет. Может быть, мне очень нравилось ее полное имя, и я всякий раз произносил с наслаждением: Анастасия.

Гейгер признался мне, что понятия не имеет, как в моем случае возвращается память. Повторяя течение событий в самой жизни? Или, что скорее всего, без всякого порядка, вперемешку? А быть может — осно-

вываясь на том, радостны были пережитые события или печальны? Сознанию свойственно отодвигать самое плохое в дальние углы памяти, и, когда память обрушивается, плохое, наверное, гибнет первым. А радостное остается. Вот про Анастасию я помнил с той минуты, как очнулся. Не мог еще сказать, кто она и кем была в моей жизни, но — помнил ведь. И оттого лишь, что произносил ее имя, становилось легко.

В квартире Ворониным оставили только залу. Двери в две смежные комнаты — слева и справа — были при нас заколочены досками. Бурыми нестрогаными досками поверх изящных дверей “модерн”. Заколачивал дворник, а отец и дочь Воронины молча на него смотрели. Мы с мамой тоже стояли и смотрели. Звук дворницкого молотка был то густ и ладен, то на удивление тонок. Дворник был пьян. Он не попадал по шляпкам гвоздей и, когда гвозди загибались, ожесточенно впечатывал их, лежащих, в древесину. Моя кровать впоследствии стояла у заколоченной двери, и по вечерам я рассматривал утопленные гвозди. Они меня сильно раздражали. Мне хотелось заменить эти доски какими-то другими, но я так и не решился их отодрать. Страшно было увидеть под ними изувеченную дверь.

В комнату справа от залы поселили Николая Ивановича Зарецкого, сотрудника колбасной фабрики. Он был человеком тихим, но малоприятным. Мылся редко, и от него исходил стойкий несвежий дух. Носки, чтобы не изнашивались, лишней раз тоже не стирал, зато штопал их довольно часто, выходя для этого на кухню. На кухне Николай Иванович в основном, стало быть, штопал носки и беседовал, а питался исключительно в своей комнате — колбасой, принесенной с фабрики.

В комнату слева поселили нас с мамой. Из наших окон была видна часть Большого проспекта и часть Зверинской — улицы, ведущей к петровскому еще зверинцу. В первый вечер мы с мамой стояли у больших окон, глядя на соединение двух улиц. Это было как соединение двух рек — с проплывающими по панелям прохожими, с неторопливым скольжением экипажей и авто. Зрелище завораживало, не оторваться было. Дул сильный октябрьский ветер, и под его давлением стекла пружинили: их напряженность была зримой. Мне всё казалось, что нажми чуть сильнее ветер — стёкла не выдержат, брызнут неосвежающим дождем на подоконник, на пол, на головы прохожих.

Постепенно темнело, а мы всё стояли и смотрели, как на проезжей части включались фары, превращая ехавших в поток светляков. Я думал о том, что в наших окнах теперь новый вид, что у нас теперь соседи. Соседка... То, чего я прежде боялся (никогда ведь не жил с соседями), обернулось неожиданной радостью, хотя я еще не признавался себе в том, что это радость. Просто мысль о том, что увиденная мной Анастасия будет теперь всегда где-то рядом, разливалась по телу ощутимым физическим теплом. На первом этаже дома напротив светилась витрина книжного магазина “Жизнь”.

Воскресенье

Стоит храм, а службы нет. И колокола оплавленные лежат — упали с перегоревших балок. Посередине большой колокол с глубокой трещиной. К нему припаялся язык малого колокола, а самого малого —

нет. Удивляешься: не убежал же он. Но, видя рядом бесформенный слиток, понимаешь — вот он, малый колокол. И думаешь: сегодня, значит, воскресный день, жалко, что нет службы, и про себя читаешь “Отче наш”. На стенах храма следы от пожара. Горело-то не только что, а запах гари всё стоит. У лестницы, ведущей в храм, гора сгоревших книг — скорее всего, от них и запах.

Украдкой подойдешь к куче — некоторые книги почти не тронуты огнем, всё читается: “Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание...” А с живыми что делать, которым порою хуже, чем усопшим? У которых болезнь и печаль? И воздыхание? Смотришь — на престольное Евангелие. Полусгоревшее. Проведешь пальцами по пеплу, а потом незаметно коснешься губ, будто приложился.

— Платонов, отчего губы черные?

Кто спрашивает? И что ему до моих губ?

— Так, почернели отчего-то. От жизни, возможно.

Оглядываюсь вокруг — такая Божья красота. Море, солнце садится. А если подняться на гору, то видно, что это остров. Часть суши, окруженная небом. Волн нет, поверхность как полированная, не шелохнется, водная именно что гладь. И дорожка на воде, ангелы летают. Страшно оттого, что, как только дорожка уйдет, всё погрузится во мрак, и *что* на месте этой красоты начнется, никому не известно. И кто там будет вместо ангелов летать, тоже неизвестно. Вот потому, должно быть, Робинзону днем было еще куда ни шло, а на закате — по-настоящему страшно. Страшна сама мысль о погружении во мрак, она сжимает сердце, как тиски, и ты изо всех сил сдерживаешься, чтобы не закричать.

Услышав мой крик, в палату вбежала сестра Валентина. Обняла меня и поцеловала в лоб. Достав из кармана платок, вытерла мои слезы. Прижала другой платок к моему носу.

— Сморкайтесь!

— Мы же на “ты”...

— Тогда сморкайся!

Я сморкнулся. Невозможно ведь сморкаться в чью-то руку, будучи с человеком на “вы”.

— Приснилось что-то страшное? — Валентина смотрит на меня, не мигая. — Приснилось, скажи?

— Приснилось. А может быть — вспомнилось.

— Что вспомнилось? Это же важно.

— Остров. Тяжелое ощущение.

— Какой остров? Название помнишь?

— Необитаемый. Не мучай меня. Ляг рядом.

Валентина ложится рядом и гладит меня по волосам.

— Может, тебе приснилось, что ты — Робизон Крузо? Такие случаи нередки. Когда у человека мало собственных жизненных впечатлений...

— Может, и приснилось. Молчи... Молись за меня и молчи.

Понедельник

Зарецкий по вечерам тихо пил водку и закусывал колбасой. Звук набрасываемого на петлю крючка, шорох расстилаемой газеты, бульканье огненной воды. Однажды пьяный Зарецкий рассказал мне, что проносит колбасу через проходную в кальсонах. Под рубашкой опоясывается веревкой. К этой веревке спереди привязывает на нитке колбасу и засовывает в кальсоны.

— Если нащупают, — хихикнул Зарецкий, — скажу: писька. Я ведь не помногу выношу, только чтобы вечером покушать.

Так в точности и сказал — писька... Была ли она у самого Зарецкого? Есть люди, с которыми такие подробности не соединяются.

С тех пор как я узнал о способе проноса колбасы, боялся, что он пригласит меня на ужин. Нальет водки, предложит закусить колбасой — тут-то меня и вырвет... Напрасно я боялся: эти пиры Валтасара проходили в одиночку. Зарецкий вообще никогда никого не приглашал. И хотя в разговорах с женщинами (я слышал это не раз) голос его неизменно теплел, к себе в комнату он не приглашал даже их. Орган, который Зарецкий так удачно имитировал на проходной, был ему по большому счету без надобности.

Помню скорбную фигуру Зарецкого на кухне, у примуса, с одному ему присущим запахом — смесью водки, керосина, колбасы и немытого тела. В едва мерцающем свете электрической лампочки. Мне казалось, что в присутствии этого человека она просто не может гореть ярче, но — так она горела и без него. Иногда после многократного мигания совершенно гасла, и в кухне оставалось лишь ничего не освещающее пламя горелки. Когда через какое-то время лампочка загоралась, у примуса вновь обнаруживался Зарецкий. Рука на вентиле.

Открывал вентиль чуть-чуть, отчего всё, что стояло на огне, закипало очень медленно. Так он пытался сэкономить керосин. А может быть, просто искал повода подольше задержаться на кухне. Да, он ни с кем не сходил, но какое-то общение требовалось, по-видимому, даже ему. Можно было бы сказать, что Зарецкий одинок, если бы это слово передавало

происходящее с нашим соседом. Одинок ли в стволе древесный червь? А ведь было в нем что-то от червя. Гибкость, мягкость. Способность принимать температуру окружающей среды.

Понедельник

Сегодня Гейгер мне говорит:

— В 1941–1945 годах была Великая Отечественная война, иначе — Вторая мировая.

— В мое время, — отвечаю, — Великой называлась та война, что началась в 1914-м.

— Вот-вот, — кивает Гейгер, — сейчас она называется Первой мировой.

Долго рассказывал мне о Великой Отечественной войне. Не верится... Не верится. Хотя — почему, собственно?

Вторник

Запах цветов в Сиверской. Их выращивали на многих дачах. Снимая дачу, городские особо оговаривали наличие клумбы, и цветы благодарно благоухали. По вечерам, когда стихало малейшее дуновение ветра, воздух превращался в нектар. Его можно было пить — что мы и делали, сидя на открытой веранде, любуясь пронзительным закатом (ближе к концу лета — в полумраке, со свечой).

Дачники любили хризантемы — особенно после того, как Анастасия Вяльцева спела о них романс. Пела здесь же, в Сиверской, в усадьбе барона Фредерикса, а я стоял на другом берегу Оредежи и слушал

ее голос. Этот голос свободно летел по воде, сопровождаемый огнями усадьбы, я же на своем берегу ловил каждую ноту. Приходил в отчаяние, когда налетевший ветер шумел листвою, дрожал от ночного холода и переполнявших меня новых чувств.

В этот год мы купили патефон и слушали Вяльцеву с утра до вечера, и почти все дачники слушали. Вяльцева же, сиверская дачница, прогуливалась мимо чужих дач и слушала сама себя. Иногда подпевала. И хризантемы были увядшими, и в фамилии певицы слышалось увядание — как-то так в ее пении всё вместе сходилось, что редко кто не плакал. Пронзительное было пение.

Об увядании. Привез папа из города астраханский арбуз. Помыли его — полосатый, блестящий, с хвостиком. Щелкали пальцами по поверхности — донг! донг! — густой звук, упругий. Настоящий. Не имелось среди нас специалистов по арбузам, но было очевидно: не может так плохой арбуз звучать. Папа разрезал его на две части — и точно: красный, исходит соком, и пахнет от него концом лета. Потом от каждой из половин отрезал сверкающие на солнце полукружия.

Когда мы арбуз съели, остались ровные зеленые корки, очень красивые. Я не дал их выбросить и положил под крыльцо, чтобы ими впоследствии любоваться. На следующий день они потеряли свой глянец, а еще через пару дней сморщились. Я все-таки не давал их бросить в ведро, потому что помнил их красоту, они еще лежали под крыльцом какое-то время. Облепленные мухами. Я понял тогда: красота вянет очень быстро.

Помню, как на Большом проспекте мы ели арбуз с Анастасией, ее отцом и моей мамой. Это было

в том странном овальном зале, который остался за Ворониными после “уплотнения” их квартиры. Тот, городской, арбуз так и остался загадкой — в Петрограде тогда хлеба не было, а тут вдруг арбуз... Его Воронину сунул в руки какой-то человек в шинели (тогда многие в шинелях ходили) прямо на улице. Подмигнул — вкушай, мол, и смешался с толпой. Воронин застенчиво улыбался, но ничего не мог нам объяснить.

Арбуз уже не так блестел, как тогда, в Сиверской, но ведь и время было другое. Мама следила за тем, как Воронин разрезал арбуз — он делал это не так ловко, как наш папа, нож то и дело уходил вбок. Я же следил за мамой, и она это знала, потому что мы вспоминали одно и то же. А еще я смотрел на Анастасию и думал, что вот, когда-нибудь она тоже увянет, что свежее, светящееся ее лицо сморщится, как арбузная корка. Может ли такое быть? И отвечал: не может.

Среда

Измерили мне сегодня температуру — 36,6. Впервые за всё время измерений. Гейгер сказал, что положительная динамика налицо. Это, правда, была утренняя температура, к вечеру дело немного ухудшилось — 37,1. Все-таки переползла ртуть за красную черту — на одно деление, но переползла. У меня на острове часто была высокая температура — особенно в лазарете.

Лазарет на горе. Лежим на плотно сдвинутых нарах. Постельного белья нет, голые доски. И мы голые — нательного белья тоже ведь ни у кого нет. Да и бесполезно: у многих тифозных понос, все нары им испачканы. Хочешь повернуться — обязательно

рукой в дерьмо влезешь, засохшее или свежее. Чужое или свое. Рука скользит по доске. По нужде не у всех есть силы встать, так под себя и делают. А что скажешь — даже на ругань нет сил.

С горы если посмотреть, весь остров видно, а дальше — море, сколько хватает глаз, замерзшее, потому что месяц февраль. Нас, голых, с горы гоняли вниз в баню, там версты две. И после бани распаренных — обратно. А мороз минус двадцать, метель. Вётра, правда, нет, оттого что в лесу идем. Босые ноги на утоптанном снегу скользят, то один, то другой падает — не столько от скользкого снега, сколько от потери сил. При высокой температуре или жаре первые секунды даже приятно, а потом сразу замерзаешь до того, что не можешь двигаться. Некоторые, падая, уже не вставали, и их волочили за руку или за ногу. А они кричали. Только так и можно было понять, что живы. Когда они замолкали, был слышен скрип снега под ногами.

Конечно, многие из нас после этого умерли, человек имеет свои пределы. Играет роль еще и то, что никто уже не цеплялся за жизнь, а без этого трудно выжить: человек, считай, умирает тогда, когда его охватывает безразличие. Лежит рядом с тобой, бредит или говорит что-то разумное — и вдруг замолкает. Обернешься, увидишь его отвалившуюся челюсть и понимаешь: умер. И долго может так лежать, потому что никто сюда не войдет, а если и войдет, то вытаскивать его не бросится. Он лежит, а тебе даже спокойно — не вскрикивает, руками не размахивает.

Я позвал сестру Валентину — спокойным вроде бы голосом, жестом предложил сесть у моей кровати, спросил, как дела. А потом не выдержал и разрыдался. Превращаюсь в форменного истерика.

Четверг

В Сиверской было место, которое называлось *Жаркие страны*. Пляж на Оредежи под красным глиняным обрывом. В этих местах всё было красным, и, кстати, красный конь Петрова-Водкина родом именно отсюда. Другой конь был бы здесь просто невозможен. Это был цвет жарких стран — у Робинзона, я думаю, всё было таким. Ну, может быть, еще голубым и зеленым, но эти цвета, если разобраться, были и в Сиверской. Загорая в *Жарких странах*, думал о необитаемом острове. Ощущал щекой горячий песок. Чтобы уберечься от солнечных лучей, Робинзон ходил в одежде из козьих шкур. Он мог бы ходить в этой одежде и по Сиверской, и никто бы не удивился — тамошние дачники и не так одевались.

Лежа однажды в *Жарких странах*, я поднял голову и не увидел никого. Вообще никого — ни на берегах Оредежи, ни в самой реке. Обязательно ведь кто-то раньше бывал. Я встал, взял сумку и двинулся вдоль берега. Перешел по мостику через реку — и там пусто. Вначале думал, что мне показалось, что люди просто прячутся или на время отошли по делам, но — их действительно не было. Я шел и с каждой минутой утверждался в том, что произошло нечто, освободившее землю от людей. По крайней мере, сиверскую землю.

Это было не просто ощущение — уверенность. Слишком многое указывало на полную безлюдность. Ветер в соснах шумел так, как никогда не позволял себе шуметь прежде. Оредежь сверкала ранее невиданными искрами. Во всём чувствовалось освобождение, в присутствии людей совершенно невозможное. Всё, что подавлялось ранее самим челове-

ским существованием, стремилось теперь к пределам своих возможностей: деревья — в зелени, небеса — в голубизне. В том, как петляла река, сквозила какая-то первозданность, да и само название *Оредежь* было первозданным. Такие имена не даются людьми, они создаются самой природой — как изогнутые коряги у воды, как источенные ветром скалы. Текла здесь *Оредежь* до людей, а теперь течет после них.

Река выбрасывала мне навстречу изгиб за изгибом, и всё не кончалась, и всё выше поднимались над ней красные утесы. Я шел, и чувство обладания этой прекрасной землей переполняло меня. Непредсказуемость *Оредежи*, свежесть ее ветра, колыханье трав у воды — всё это принадлежало мне одному. Я обходил свои владения, которые (стук дятла по сосне) прекрасно знали, что никто ими больше не владеет, что власть моя весьма условна. На всю реку и на все леса я был один, и ничто им с моей стороны не могло угрожать. Я же устраивал им смотр и проходил мимо них, как проходит командующий на параде — неестественно вывернув голову, временами останавливаясь и приветствуя. Что-то откликалось мне — махало ветками, свистело, каркало, а что-то и не откликалось, оставалось даже не замеченным мной. Но каждое мое наблюдение имело первостепенное значение, потому что теперь я был единственным, кто обладал полнотой этого знания.

Дорога поднималась вместе с берегом. Как-то незаметно река оказалась вне пределов видимости, на дне оврага. О том, что там, внизу, не одна лишь вода, но и земля, говорили верхушки деревьев, едва поднимавшиеся над обрывом. Я мог бы коснуться этих верхушек, если бы подошел к краю обрыва. Но я не подходил.

Над рекой всё еще стояли дома, только теперь они были безнадежно пусты. Эти дома уже обвивались вьюном, прорастали травами и деревьями, становясь частью природы. Крыши их ветшали на глазах, прогибались и вот-вот готовы были провалиться. Незакрытые их двери то и дело скрипели на ветру. Сквозняки шевелили на окнах полуистлевшие занавески.

Я чувствовал, как внутри меня стал расти ужас, и это был ужас одиночества. Берег вновь стал опускаться. Внизу я заметил мостик через реку и бросился к нему. Под моими ногами гулко застучали доски. Они колебались и бились друг о друга, отдавая эхом. Их шум продолжался и тогда, когда я был уже на берегу, словно невидимая армия природы преследовала меня как последнее не принадлежащее ей создание. Я перешел на бег (не от страха — от тоски) и помчался через лес к дому. Невыносимо было представить, что и дома меня никто не ждет. Большой мир мог прийти к концу, но это был бы еще не полный конец. Я все-таки не терял надежду, что мой малый, семейный мир устоял. Я бежал и плакал, и чувствовал, как мои слезы скатывались по щекам, как от плача сбивалось дыхание.

Когда я приблизился к дому, начинало темнеть. В светящемся электрическим светом окне я увидел папу. Он сидел в своей любимой позе, положив ногу на ногу, замкнув руки на затылке. Большими пальцами массировал шею. Мама наливала из самовара кипяток. Под огромным желтым абажуром всё это казалось ненастоящим. Казалось старой фотографией — оттого, может быть, что происходило беззвучно. Но отцовские пальцы на шее вполне явственно двигались, а кипяток из самовара тек, и от него поднимался пар. Не хватало лишь сказанного слова.

Мама подняла голову. Произнесла:

— Ну, вот ты и пришел, дружок.

Папа поймал мою руку и легко ее пожал.

Какое это было счастье. Такого счастья больше не помню.

Пятница

Когда мы въехали в воронинскую квартиру, Анастасии было пятнадцать лет. Всей квартирою подавали сведения для продуктовых карточек, и я узнал ее возраст. Едва ли не в первый день нашего вселения. Шесть лет разницы, подумал я, и сам удивился своей мысли. Эта мысль сопоставляла меня и Анастасию, а значит — связывала. Случайно ли я подумал о ней именно так? Не сопоставлял же я свой возраст с возрастом Зарецкого.

Почти сразу я стал узнавать Анастасию по шагам. Она шла мягко, ступала с пятки на носок. Воронин ходил шаркая. Зарецкий — словно на ходулях. О движении Анастасии я узнавал из своей комнаты по еле слышному скрипу половиц. По длине пути и щелканью электрического выключателя угадывал, куда она идет — в ванную, туалет или на кухню. Ванная и туалет были ближе, и выключатели там поворачивались с легким щелчком. Путь на кухню был самый длинный, а кухонный выключатель — громче других. При начале поворота раздавался жалобный звук пружины, при окончании — приглушенный выстрел. При звуке этого выстрела мне всякий раз хотелось выйти на кухню.

Иногда я все-таки выходил. Чаще всего — ночью, когда вся квартира уже спала. Анастасию, вставшую

выпить воды, я заставлял в ночной рубашке. В коммунальных квартирах каждый ест и пьет в своей комнате, но Воронины по старой привычке продолжали делать это на кухне. По привычке и ночная рубашка: в коммунальной жизни на нее обычно набрасывают халат.

Когда мы столкнулись в первый раз, Анастасия попросила прощения за свой вид: думала, все спят. Я ответил, что ничего страшного, — как-то излишне горячо ответил, и она бросила на меня удивленный взгляд. Когда мы сталкивались в дальнейшем, Анастасия была тоже в рубашке, но прощения больше не просила. Вероятно, тогда уже понимала, что сталкиваемся мы неслучайно. А еще понимала, что рубашка ей очень идет — шелковая, струящаяся с ее острых плеч.

Стояла спиной к кухонному шкафчику, упираясь ладонями в столешницу. Пальцами гладила бурое дерево (длинные пальцы). Так начинались наши ночные беседы, тише которых не было в моей жизни. Чтобы никого не разбудить, мы говорили шепотом. Шепот — особенный вид общения, я уж не говорю о ночном шепоте. Даже если говорить так о вещах обычных, они начинают выглядеть совершенно по-другому. А ведь мы говорили о необычных.

Глядя на нежную кожу Анастасии, я опять вспомнил об арбузных корках. Неожиданно для себя спросил ее:

— Вы не боитесь постареть?

Она не удивилась. Повела плечами.

— Я боюсь не старости... Смерти. Не быть страшно.

— А вы были бы готовы не умирать и только всё стареть, стареть?

— Не знаю. — Анастасия улыбнулась. — А почему, чтобы не умирать, нужно обязательно стареть?

— Ну, за всё ведь надо платить.

— Не за всё — за подарки не надо. Если бы был мне дан такой дар — не умирать без всяких условий...

— То — что?

— То жила бы! — она сказала это со смехом, почти прокричала. Испугалась. Прижала палец ко рту. — Сейчас все сбегутся...

Никто не сбежался.

Суббота

Три последних дня у меня держалась нормальная температура, и Гейгер решил устроить мне прогулку в больничном дворе. Одевали меня долго и тщательно. Но главное — необычно. В куртку из непонятного материала, которую Гейгер назвал *пуховиком*. Немного похожа на то, что надевают идущие к полюсу. Сапоги на застежке-молнии. Застежка появилась еще на моей памяти, но на сапоги ее не пришивали. Несколько раз пробовал застегнуть и расстегнуть — славно. Гейгер очень боится меня застудить или заразить. Это, по его словам, одна из причин того, что мои контакты с внешним миром предельно ограничены. Зато, если всё пойдет гладко, предполагается, что прогулка будет ежедневной.

Выйдя во двор, задохнулся от резкости воздуха. Слезы выступили. В больничных окнах увидел несколько пар глаз — смотрели на меня. Когда я поднял голову, спрятались. Значит, есть здесь все-таки люди.

Снег — хрустит. Изо рта — пар. Снял перчатки и потер снегом лицо (Гейгер попросил перчатки надеть). Раскачал ветку клена, вызвал снегопад. Стоим — Гейгер, Валентина и я — все в снегу. Смеемся.

А я ведь не люблю снега. На острове снег, бывало, до полугода лежал. Ходишь по нему в тряпичных туфлях, подвязанных бечевкой (уж какие там сапоги на молнии!), и никто особенно не интересуется, застудишься ты или нет. А если первым в отряде идешь, по непротоптанному пути, то снегу по пояс. Пусть даже вчера здесь ходили, так ведь за ночь опять сугробы намело. Шагаешь как можно шире, чтобы в один шаг побольше расстояние преодолеть. Тьма крошечная, продвигаешься на ощупь, то и дело натыкаешься ногой на утонувшие в снегу пни. А в руках двуручная пила. Зацепишься ногой за пень, падаешь вместе с пилой и думаешь: присыпало бы меня, что ли, сверху — так, чтобы нашли только весной. А весной взятки гладки, что весной от меня останется?

Я видел тех, кого находили весной, — их называли подснежниками — с выклеванными глазами, отгрызенными ушами. Чтобы, думалось, даже мертвым им больше не видеть конвоя, не слышать его матерной ругани. Как-то раз мне пришлось тащить одного замерзшего до траншеи с трупами. Я держал его под руки (тогда я уже не был брезглив), а ноги его подпрыгивали на кочках. Тащил и немного ему завидовал — эта жизнь его уже не касается, а меня всё еще.

Тогда, случалось, замерзали в лесу. Не по созревшему решению — от усталости. Отходили чуть вбок, садились на землю без сил, и замерзнуть им было, может быть, проще, чем встать и продолжать работу. Садились, невыспавшиеся, передохнуть — и засыпали. И замерзали, поскольку сон смерти не помеха. Их быстро заносило снегом — попробуй потом найди. Таких, в общем, не очень-то

и искали: понимали, что они замерзли, а не сбежали, некуда было с острова бежать. Знали, что весной найдут.

Гейгер сказал, что, если эта прогулка пройдет хорошо, буду выходить каждый день. Глядя на него, думал о том, что он, должно быть, так же, как я, лежит с Валентиной. То есть не так же, ох не так же, догадываюсь как... Чем больница хороша для романов — в ней много коек.

Воскресенье

Сегодня в моей палате установили *телевизор*. Гейгер долго мне объяснял, как он устроен и как с ним обращаться. Я научился довольно быстро. Глядя, как я уверенно нажимаю на *пульт*, Гейгер, по-моему, был слегка разочарован. Он рассчитывал, что удивление мое будет велико. Да оно, собственно, и велико. Но синематограф удивлял меня в свое время сильнее — не говоря уже о том, что экран там неизмеримо больше. Хотя и без звука.

— Слово громоздкое, — сказал я Гейгеру о телевизоре.

— Говорите *телик*, — ответил он.

Есть в этом что-то телячье, я еще подумаю, сто́ит ли мне так говорить. Мы с Гейгером смотрели рассказ о новостях. Я почти ничего не понял — во многом потому, что думал об издаваемых телевизором звуках — словах, музыке, вое сирены. Да, со звуком — это совсем другое дело...

— Что такое дефолт? — спрашиваю.

— Прошлым летом деньги обесценились.

— И что же теперь делать?

— Меньше воровать, наверное. Только в России это невозможно.

Уже второй раз слышу от него про воровство. Но ведь всегда воровали — в тысяча девятьсот девяносто девятом, в тысяча восемьсот девяносто девятом, и во все прочие годы тоже. Почему же это его так задевает — потому что немец? Немцы, я думаю, в таких размерах этим не занимаются, им удивительно, что можно так беззаветно воровать. Нам тоже удивительно, но — ворует.

На экране телевизора дома. Нет в них прежней монументальности, легкие они какие-то, даже удивительно, как стоят. Стекла много, металла. Иногда архитектурной мысли не понять — нечто застекленное. Чувствую взгляд Гейгера.

— Нравится? — это он про дома.

— Я привык, что дома из кирпичей, — отвечаю. — К покатой крыше привык.

— Так ведь это Москву показывают, а в Питере — всё как вы любите. Когда начнете выходить на улицу — сами увидите.

Когда я начну выходить? — захотелось спросить.

Не спросил. Сделал вид, что увлечен телевизором.

Машины ездят забавные. Совсем не похожи на те, что были в мое время... Только теперь ведь и это время — мое, и Гейгер хочет, чтобы я в нем обживался. Следит за моей реакцией.

— Что вы чувствуете, — спрашивает, — оказавшись в новой, по сути, стране?

— Чувствую, что у нее новые сложности.

Улыбаюсь. Гейгер тоже улыбается — с долей удивления: ожидал чего-то другого.

— У всякого времени свои сложности. Их надо преодолевать.

— Или избегать.

Смотрит на меня внимательно. Произносит вполголоса:

— Вам-то не удалось..

Не удалось. Гейгер, по-моему, общественный человек. А я нет. Страна — не моя мера, и даже народ — не моя. Хотел сказать: человек — вот мера, но это звучит как *фраза*. Хотя... Разве фразы не бывают истинными — особенно если они результат жизненного опыта? Бывают, конечно. Запишу, пусть Гейгер читает.

Ему, между прочим, кажется, что пишу я не совсем обычно. Что он имеет в виду, толком не поясняет. Так, легкий, говорит, несовременный акцент, но если не знать моей истории, то вроде как и незаметно. Ну и славно. А я, напротив, слышу, что они с Валентиной говорят не так, как говорили прежде мы. Появилась большая раскованность, а еще, может быть, хромота в интонации. Вполне, кстати, прелестная. Пытаюсь всё это перенять — у меня хорошее ухо.

Понедельник

Сегодня весь день смотрел телевизор. Переключал каналы. На одном поют, на другом танцуют, на третьем говорят. Говорят бойко, раньше так не умели — главное, скорости такой не развивали. Особенно *ведущий*: произносит нараспев, делит речь не на фразы, а на вдохи. Всё может, только не вдыхать не может, иначе бы говорил без пауз. Виртуоз. Человек-язык.

Вошла с обедом Валентина.

— Так сейчас танцуют? — показываю на экран.

— Ну да, — улыбается, — приблизительно так. Не нравится?

— Да нет, почему. Энергично...

Самое смешное, что так в любительском театре Сиверской изображали бесноватых. Их исцеляли, а они танцевали. Точнее, их танец указывал на необходимость исцеления. С одним из актеров мы были знакомы, иногда он заходил к нам пить кофе. На сцене, в багровой подсветке он был внушительен, даже пугающ, а за столом на нашей веранде казался тщедушным. Промакивал салфеткою выступавший на лбу пот. Время от времени убивал на себе комара и аккуратно укладывал его на ту же салфетку. Уходя, вручал трофеи маме. В нетеатральной своей жизни он служил счетоводом, и фамилия его была Печёнкин.

— Вам... прости — тебе, — Валентина наливает мне чай, — и песни современные, наверное, не понравятся.

Уже не понравились. Молчу, не хочу быть врагом всего нового.

— Прежние песни были мелодичными, — продолжает она, — а в нынешних главное — ритм. Но в этом ведь тоже что-то есть, а?

На днях обратил внимание, что она уже не выглядит как сестра милосердия. Ходит теперь с распущенными волосами, что ей очень идет. Впрочем, Валентине и первоначальный облик шел. Когда сообщил ей об этом, она ответила, что это Гейгер попросил ее *закосить* под сестру милосердия. Первые дни все очень боялись, что меня новая реальность сломает. Гейгер, оказывается, пенсне разыскивал, старый градусник и всё такое. А потом рассла-

бились: я, по словам Валентины, держался молодцом и ни в какой оперетте не нуждался. На самом деле Валентина — аспирантка факультета психологии, пишет диссертацию.

Догадываюсь, на каком материале.

Вторник

В одну из родительских суббот мы столкнулись с Анастасией на Смоленском кладбище. Я навещал бабушку и отца, она — мать. Она уходила, а я только пришел. Как так сложилось, что мы оказались там без родных (обычно ведь в такие дни кладбище посещают всей семьей)? Не помню. Помню только, как обрадовался, увидев Анастасию. Сначала мы немного постояли, а потом пошли по аллее.

— Отчего умерла ваша мама? — спросил я.

— От чахотки. Она умирала долго. А мы с папой всё надеялись, что будет жить.

Я взял ее руку и крепко сжал — пальцы холодные. Почувствовал ответное пожатие. Вместе мы пошли на могилу отца и бабушки. Очистили ее от напáдавших сухих веток и вытерли тряпкой чугун ограды. Они умерли еще тогда, когда можно было заказать ограду. А сейчас я не смог купить даже рассады — всегда ведь продавалась у входа на кладбище. Решил было не выпалывать траву (пусть хоть что-нибудь растет), но Анастасия настояла на том, чтобы выполоть. Сказала, что трава — это зарастание памяти о человеке, что, пока есть кому с этой травой справиться, человек каким-то образом на земле еще присутствует. Не знаю. Я так не думал. Траву мы, конечно, выпололи.

Потом гуляли по кладбищу. На дальних аллеях опавшая листва уже не убиралась, мы вдыхали ее прелый запах. Зачерпнешь ярко-желтое ногой, а изнанка у него бурая. Воздух свежий до рези в носу. Да, у меня тогда на носу капелька висела — так Анастасия ее смахнула! Вытащила руку из муфты и запросто так смахнула. Засмеялась. Ужасно неловко, но в то же время... приятно. Это ведь почти... Ладно.

Да, чуть не забыл: тогда же мы встретили Зарецкого. Увидев нас, он сказал:

— А я вот мать поминаю.

Держал в руке розовый бумажный цветок. Из кармана заношенного пальто торчало горлышко бутылки. Бутылка входила туда полностью, но карман оттопыривался, и ее было видно. В другом, я уверен, лежала колбаса. Помню, меня искренне удивило, что у Зарецкого была когда-то мать. За руку, должно быть, его, маленького, водила. Еще раньше — носила в утробе, надо же. Мне проще было представить, что он возник путем почкования.

Я вот думаю — если это действительно осень была, то почему я хотел купить рассаду? Родительская суббота когда бывает? Трижды в Великий пост, на Радоницу, на Троицу. Есть Дмитриевская суббота в ноябре. Значит, мы были на ноябрьскую? Или всё происходило весной — засомневался сейчас. Воздух резкий — был, муфта — была, но почему мне подумалось, что осень?

Я уже не уверен, что мы ступали по листьям — скорее, по снегу. Бурому весеннему снегу, облезлому и клочковатому. Издающему мокрый чавкающий звук. Проходя мимо Смоленской церкви, слышали журчанье — вода с крыши стекала в подстав-

ленные бочки. А со словами нашими изо рта выходил пар.

— Представляете, наши дети и внуки будут так же навещать нас здесь, — сказала Анастасия. — Будут ходить себе поверху, разговаривать. О всякой, между прочим, чепухе. А мы себе внизу будем лежать. Молчать.

Прозвучало так, будто это будут наши общие дети и внуки. И что вместе будем лежать и молчать. Я шел, думая над ее словами, и представлял себя лежащим под землей. И вот кто-то меня навещает, и уже заскучал, затосковал, находясь здесь. Мечтает, как из города мертвых вернется в город живых, и предвкушает свои живые радости на вечер. Я ведь тоже тогда представлял, как мы с Анастасией отправимся домой (пешком, вдоль речки Смоленки), будем на кухне пить горячий чай, и меня охватывало счастье. И бабушкино с отцом молчаливое лежание меня не останавливало, потому что они всегда радовались моим радостям. Хоть правдой было и то, что для них, любивших чай, за нашим столом не было места.

Сейчас еще раз всё взвесил: ну конечно же, стояла осень. И рассаду я покупать не собирался — потому ее и не продавали, что дело было осенью. Месяц нашего знакомства — октябрь. А встреча на кладбище произошла в ноябре — я помню, что мы почти еще не знали друг друга. На обратном пути в воротах кладбища нам встретился то ли нищий, то ли блаженный. Вручил мне и ей по желтому листу и назвал женихом и невестой. Анастасия покраснела. Я дал ему тысяч десять. Или сто — не помню, деньги тогда ничего не стоили. Я свой лист долго хранил.

Среда

— Почему, как вы думаете, произошел октябрьский переворот? — спросил меня Гейгер. — Вы ведь всё это видели.

Неожиданно. Выяснится потом, чего доброго, что Гейгер пишет исторические романы.

— В людях накопилось много зла... — подбираю слова для ответа. — Должен же был найтись этому выход.

— Любопытно как. Любопытно... Вы не связываете, значит, переворот с общественной ситуацией, с историческими предпосылками и прочими делами?

— А разве всеобщее помутнение — не историческая предпосылка?

Гейгер поставил перед моей кроватью стул и сел на него верхом.

— Но считается, что у помутнения семнадцатого года имелись свои причины — война там, обнищание народа, не знаю, что еще...

— Бывали времена гораздо хуже — и ничего, никаких помутнений.

Гейгер положил руки на спинку стула, подбородок на руки. Подбородок покрылся морщинами, уменьшился в размерах.

— Интересно вы мыслите. Как-то даже неисторически...

Гейгер смотрел на меня, не стесняясь, как смотрит задумавшийся. Пощипал себя за мочку уха. Большие у него уши, но пока не щиплет — не заметно: много на свете лишних жестов.

Когда он ушел, я смотрел телевизор — то, что здесь по-английски называют talk-show. Все друг

друга перебивают. Интонации склочные и малокультурные, пошлость невыносимая. Неужели это мои новые современники?

Четверг

Наши ночные беседы с Анастасией продолжались. Мы сидели на табуретках — иногда друг против друга, но чаще рядом, прислонясь к стене или шкафчику. Когда сидели рядом, руки наши соприкасались, и я ощущал ее тепло. Что-то большее, чем тепло, — электричество. Мы оба его чувствовали. Я боялся, что между нами начнут проскакивать искры.

Внизу, за окном, были слышны поздние экипажи, их тихое движение успокаивало. Я научился различать прямое их следование по проспекту и проезд с поворотом на Зверинскую. Время от времени спокойствие ночи разрывал треск автомобилей, и мы боялись, что он разбудит спящих в квартире. Он и будил. Спящие, шаркая, добирались до туалета. Спустив с грохотом воду, останавливались в дверях кухни и подслеповато рассматривали нас. Ничего не говорили.

Как-то раз, когда у Анастасии была инфлюэнца, она осталась дома одна. Все ушли по делам — все, кроме меня, потому что не было у меня дел важнее Анастасии. Я стоял под ее дверью и слышал, как бьется мое сердце. Постучав, вошел. Анастасия лежала в постели. Когда подошел, увидел, что нос и веки припухли и покраснели. Как после слез.

— Не приближайтесь, — сказала простуженно, — заразитесь.

Приблизился. Осторожно сел на край кровати.

— И замечательно. Вдвоем ведь приятней болеть.

— Ничего приятного, — она кивнула на лежащую поверх одеяла книгу. — Я даже читать не могу.

Она хотела сесть, но я удержал — положил на ее плечо ладонь. Четыре пальца легли на ночную рубашку, а пятый, самый ловкий, оказался за границей ворота. Мизинец. Касался ее кожи. В него переместились все мои органы чувств, и я стал одним сплошным мизинцем.

— Лежите... — я нашел в себе силы отдернуть руку. — Хотите, я вам почитаю? В детстве, когда я болел, мне всегда читали.

Анастасия смотрела на меня с любопытством. Дышала ртом. Отложила свою книгу.

— Тогда почитайте мне то, что читали вам.

Я сходил в свою комнату и принес то, что читали мне. Читая, нащупал на одеяле пальцы Анастасии. Не отрывал глаз от книги. Спросил:

— Можно, я буду держать вашу руку? Через нее я буду вытягивать вашу болезнь.

В ответ почувствовал легкое пожатие. Снова взялся за чтение. Прочитывая фразу за фразой, думал о том, что, оказывается, еще никогда никому не читал вслух. На описании страха Робинзона заболеть я взглянул на Анастасию. Она лежала с закрытыми глазами, и было неясно, всё еще слушает она меня или спит.

Слушала. Погладила мою руку и сказала:

— Сидеть неудобно — устает спина. Ложитесь рядом поверх одеяла.

И помолчал:

— Пожалуйста...

Это *пожалуйста* меня едва не расплющило. В горле возник комок, и голос исчез. Заскрипела кровать,

когда я сбрасывал тапки и ложился, — так могли бы скрипеть мои застывшие суставы. А потом голос вернулся, и я снова стал читать. Придвинувшись поближе, Анастасия положила мне руку на грудь. Шеей я чувствовал ее горячее дыхание. Когда дыхание стало ритмичным, я посмотрел на нее — она спала. Мне стало радостно и спокойно. Я долго лежал рядом, а встал лишь тогда, когда услышал повороты ключа в двери. Поцеловал Анастасию в горячий лоб и вышел.

Через пару дней я тоже заболел. Чувствуя, как с каждым часом воспаление расползается по горлу, испытывал счастье. У нас с Анастасией была одна болезнь на двоих. Теперь уже Анастасия приходила ко мне и, лежа рядом, читала мне вслух. Мы понимали, что происходящее между нами несколько вышло за рамки ухода за больным, но не говорили об этом и не пытались это назвать. Назовешь — спугнешь. Определишь — разрушишь. А нам хотелось сохранить.

Пятница

Однажды осенью ко мне на Петербургскую (тогда уже Петроградскую) сторону года за два до окончания гимназии пришел Сева. Лицо его было таинственным. Ему, вообще говоря, досталось очень выразительное лицо. В разное время оно бывало сосредоточенным, лукавым, понимающим, грустным, а в этот раз было не лицом даже — тайной. Не говоря ни слова, Сева сразу же прошел в мою комнату. Спросив, есть ли кто-то еще в квартире (никого не было), он все-таки закрыл за собою дверь на ключ. Этот ключ торчал в дверях много лет, и никто никогда им не пользовался. Я бы не уди-

вился, если бы ключ не повернулся ввиду окончательной своей непригодности (прирос к дверям, рассыпался) или просто потому, что его поворачивал неудачник Сева. Но ключ повернулся.

Откинув голову набок, Сева картинно облокотился о стену. К животу он прижимал небольшой саквояж, двигавший боками в такт учащенному дыханию Севы. Восстановив дыхание, Сева открыл саквояж и достал из него пачку листов.

— Вот...

Он дал мне всю пачку, хотя содержание всех листов было одинаковым. Листы оказались листовками. Листовки призывали к немедленной смене власти.

— Где ты это взял?

— По дороге в гимназию ко мне подошел человек. Незнакомый. Попросил раздать гимназистам.

— А ты что же?

— Сказал, что раздам. Дело, понимаешь ли, идет о спасении Отечества. И в таких обстоятельствах я, конечно...

Помимо листовок в саквояже обнаружилась также бутылка вина. Сева с уверенным стуком поставил ее на стол.

— Бутылку тоже он тебе дал?

— Нет, бутылку я слямзил дома. Отметить начало революционной борьбы. Неси стаканы.

Давно он так не командовал. Я принес стаканы. Сева просто светился от осознания своей причастности к тайне. Когда мы выпили по стакану, я спросил у него, читал ли он роман "Бесы". Сева заговорил со мной снисходительно и почему-то гнусаво:

— Знаешь, ну только вот не надо романов — ладно? Всё это в прошлом, сто лет назад. Сейчас объективная необходимость взять власть в свои...

— Хорошо, без романов. Попытка государственного переворота. Лет пять каторги, а то и десять. Прощай гимназия, прощай Петербург. Ты к этому готов?

Тут же выяснилось, что к этому мой кузен готов не был. В голос я не смеялся только потому, что мне стало его жалко. Розовощекий после вина Сева заметно побледнел, а губы его, как водится, задрожали:

— Просто мне казалось..

Я мог бы сказать, что на Севиной голове шевелились волосы — потому что их шевелил ветер из окна. Пожалуй, я так и скажу: то, что обычно вкладывается в это выражение, соответствовало его состоянию. Сева всё еще что-то сбивчиво говорил, а я смотрел на него и не слушал. Для чего, думалось мне, я его так напугал? Зачем перебил его полет — ведь кто бы, если говорить серьезно, его, гимназиста, тронул? Ну, выпороли бы в худшем случае, и то — вряд ли.

Сева так расстроился, что даже не допил вина. Оставил у меня и бутылку, и листовки с просьбой уничтожить. Я, конечно же, уничтожил, потому что ни алкоголь, ни перевороты меня не привлекали. Бутылку с недопитым вином вынес на помойку — получается, напрасно Сева ее *слямзил*. Листовки бросил в печь, и сокровища революционной мысли сгорели без следа. Содержание их совершенно ушло из памяти.

Что осталось — теплый сентябрьский день, шагнувший в мою комнату сквозь открытое окно. Открытое окно осенью — такая редкость. Трепет пальмы на резной (розы да лилии) подставке. Приземлившийся на письменном столе косою луч солнца. В фокусе — стопка книг. Легкий, без солнца незаметный налет пыли. На учебнике по истории — божья коровка.

Суббота

Лера Амфитеатрова спросила:

— Так ты хочешь меня?

Леру я видел впервые, но ответил утвердительно, ибо как же я мог еще ответить в пятнадцать лет? Больше всего меня поразило это *так* — оно претендовало быть итогом какого-то общения, но вот общения-то как раз и не было. Было несколько моих взглядов на молодую женщину, стоявшую в другом конце зала. Она их перехватила. В том, как она это сделала, было гораздо больше вызова, чем в самих взглядах. Хотел ли я ее? Не знаю. Может быть, и хотел. Но смотрел на нее потому, что она была необычна. По отважному разрезу ее платья я понял, что это — *эмансипантка*.

Об эмансипантках в нашем классе чего только не рассказывали, подробно описывая их внешний вид и легкость нравов (всё было Лерой предъявлено немедленно), так что определил я ее без труда. Она вела себя в полном соответствии с расхожим описанием — за исключением, пожалуй, коротко остриженных волос — и исполняла свою партию, что называется, на верхнем фа. Удивительно было то, что объектом ее внимания стал ничем не примечательный я. А может, и не удивительно. Зачем являть свою прогрессивность тому, кто уже и так достаточно прогрессивен?

Она решительно взяла меня за руку и под звучащую в зале музыку повела к выходу. Мне казалось, что мы движемся в такт этой музыке, и это наше ритмичное движение парализовало остатки моей воли. Я пытаюсь сейчас вспомнить, что это был за зал, что за музыка — безуспешно. Да это и неважно, это сразу же исчезло. Помню потную, несмотря на

свежий ветер улицы, Лерину ладонь. Блуждание по дворам-колодцам в поисках квартиры, предоставленной ей (она сказала — *нам*) подругой. Ключ от квартиры Лера держала наготове в свободной руке, причем рука была вытянута в направлении нашего движения. И преждевременно вынутый ключ, и вытянутая рука придавали нашему движению стремительность, но еще в большей степени — театральность.

По щербатым ступеням мы взлетели на последний этаж. Тут Лера воспользовалась, наконец, своим ключом, и мы вошли в маленькую комнату. Из мебели там были лишь кровать, стол и стул. За стулом белела еще одна небольшая дверь, которая вела, видимо, на кухню. Лера подошла ко мне вплотную. Она была чуть выше меня, и ее влажное дыхание я втягивал носом. Наклонила голову. Коснулась моих губ губами. Провела по моим губам языком. Медленно повернулась ко мне спиной.

— А теперь расшнурую платье...

На ее шее дрожали русые колечки. Я начал расшнуровывать.

— Ты что, в первый раз расшнуровываешь платье? И вообще *всё* — в первый раз?

— *Всё* в первый раз...

Лера глубоко вздохнула. Платье было расшнуровано и снято. За платьем последовали легкая блузка и нижняя юбка с воланами. Панталоны и сорочка. Корсет мне снова пришлось расшнуровывать (под Лерины опять-таки вздохи). Долго возился с застежками для чулок — в конце концов их, снимая корсет, отстегнула Лера. Села на стул. Я опустил на корточки и снял с ее ног чулки. С черными чулками съезжали мои руки по Лери-

ной белой коже. Удивительно белой. Тогда женщины не загорали.

Стоит ли говорить, что, когда мы легли в постель, количество Лериных претензий и вздохов увеличилось. Лера не стеснялась направлять мои движения, обещая кому-то неведомому, что обучает мальчиков в последний раз. Мне показалось, что через какое-то время Лерины вздохи потеряли оттенок возмущения, но я в этом до конца не уверен. Сколько ей было лет? Думаю, восемнадцать, не более. Тогда же она казалась мне бесконечно взрослой.

Потом она курила, сидя на стуле. Нога на ногу, всё еще не одетая. Большим и указательным пальцами держала серебряный мундштук с папиросой, осторожно выпускала изо рта дым. Я, устроившись на кровати по-турецки, молча ее рассматривал. Я впервые видел голое женское тело. Показав на мой натальный крестик, Лера спросила:

— Ты веришь в Бога?

— Да.

— В эпоху аэропланов стыдно быть верующим. Вот я — дочь священника, а не верю. — Она затянулась дымом. — Чего молчишь?

— Разве аэропланы отменили смерть?

Лера засмеялась:

— Конечно!

Понедельник

Вспомнил. Всё вспомнил об авиаторе. Лет мне было 11–12, когда отец взял меня с собой на Комендантский аэродром — смотреть на полеты аэропланов. Еще за пару лет до того никакого Комендантского

аэродрома не существовало — был один лишь Командантский ипподром, где и проходили авиационные митинги. С тех пор как рядом построили аэродром, митинги проходили уже на нем... Я знаю от Гейгера, что теперь это называется авиационным шоу, но мне больше нравятся митинги. По-моему, в нынешней жизни слишком много шоу. Говорю как человек, целую неделю смотревший *телик*.

Июль, солнце. Теплый ветер треплет кружево зонтов. Многие в соломенных шляпах, некоторые — в треугольных шапочках, сделанных из газеты. Мы приехали с самого утра, потому стоим в первом зрительском ряду. Можем рассмотреть не только аэропланы, но и авиаторов. В тот самый миг, когда я этих людей увидел, я твердо решил, что стану авиатором. Не брандмейстером, не дирижером — авиатором.

Мне хотелось вот так же стоять в окружении помощников и, глядя вдаль, медленно подносить к губам папиросу. Так же подкручивать торчащие кончики усов. Перед тем как двинуться к аэроплану, одной рукой застегивать на подбородке лямку шлема. Не спеша надевать очки-консервы. Но главная прелесть для меня заключалась даже не в этом. Меня завораживало само слово — авиатор. Его звучание соединяло в себе красоту полета и рев мотора, свободу и мощь. Это было прекрасное слово. Позднее появился “летчик”, которого будто бы придумал Хлебников. Слово неплохое, но какое-то куцее: есть в нем что-то от воробья. А авиатор — это большая красивая птица. Такой птицей хотел быть и я.

Авиатор Платонов. Это стало не то чтобы домашним именем, но время от времени меня так называли. И мне это нравилось.

Вторник

А ведь я и вправду мыслю неисторически — тут Гейгер, наверное, прав. Исторический взгляд делает всех заложниками великих общественных событий. Я же вижу дело иначе: ровно наоборот. Великие события растут в каждой отдельной личности. В особенности — великие потрясения.

Всё очень просто. В каждом человеке есть дерьмо. Когда твое дерьмо входит в резонанс с дерьмом других, начинаются революции, войны, фашизм, коммунизм... И этот резонанс не связан с уровнем жизни или формой правления. То есть связан, может быть, но как-то не напрямую. Что примечательно: добро в других душах отзывается совсем не с такой скоростью.

Среда

Целую неделю не писал. Приболел. Валентина считает, что я переохладился во время прогулки, советует теплее одеваться. Гейгер с ней не согласен. По его мнению, я так старательно описывал нашу с Анастасией болезнь, что и сам заболел. Гейгер недалек от истины.

А писать я не то чтобы не мог — не хотел, настроения не было. Настроения вообще. Гейгер сказал, что это естественно. Что первые недели я держался напряжением, шоковой собранностью, а чуть вошла жизнь в колею — расклеился. Да, соглашаюсь, расклеился. А мне как раз моя колея и не нравится. Какая-то кривая, прерывистая — где она столько лет петляла? И главное, куда ведет? В ту странную жизнь, которую вижу по телевизору? Эта жизнь меня пока не увлекает. Гейгера, как выяснилось, тоже.

А по поводу дневника он сказал, чтобы я не волновался — никто ведь не заставляет писать в него ежедневно. Не заставляет — и на том спасибо. И не буду. Вообще говоря, Гейгер мне всё больше нравится. Он скуп на эмоции, несколько даже суховат, но сквозь эту сухость чувствуется настоящее расположение.

Хуже, когда, наоборот, за внешней веселостью кроется крысиное. Был у меня знакомый, Алексей Константинович Аверьянов. Маленький, лысый, с большой головой, совершенный гриб. И размножался, видимо, спорами, потому что как же его такого можно представить с женщиной? Хотя — нет, были и у него какие-то женщины, такие же, видимо, маленькие, как он сам. Час-другой с ним пообщаешься — душа-человек: мягкий, предупредительный, доброжелательный без пережестов. Смеется самозабвенно, с громким раздельным ха-ха-ха, наклонив голову набок. А в один прекрасный день выясняется, что не мягкий он и не доброжелательный, а патологический завистник, и за спиной у тебя говорит такое...

Кем он был, этот Аверьянов? Чем занимался, откуда я его знал — ничего не помню. А вот грибное его свойство, червивость эта, в памяти осталось. Да, еще запомнились выпуклые линзы в его очках, отчего и глаза казались выпуклыми. Как это вдруг речь о нем зашла? Ах да, Гейгер — вот он не такой.

— Вспомнился тут мне некто Аверьянов, — говорю ему, — характер его, рост, даже очки. А что он значил в моей жизни — хоть убей, не помню. Отчего так устроены воспоминания? И что такое воспоминание с точки зрения науки?

— Воспоминание — это определенная комбинация нейронов, клеток головного мозга. Вступают

в связь другие нейроны — вам предъявляется другое воспоминание.

— Иными словами, для того чтобы представлять Аверьянова в целом, мне не хватило нейронов? Как-то очень это механистично.

— Да вы не волнуйтесь, может быть, еще явится вам Аверьянов во всей красе. Может, и сами рады не будете. А кроме того, — Гейгер застегнул верхнюю пуговицу на моем халате, — было бы скучно, если бы воспоминания отражали жизнь зеркально. Они делают это выборочно, и это сближает их с искусством.

Мне, собственно, Аверьянов и не нужен. Того, что о нем запомнилось, вполне достаточно.

Четверг

Что меня в телевидении удивляет: они там всё время во что-то играют. Угадывают слова, мелодии, а еще, я читал, собираются отправить кого-то выживать на необитаемый остров. Все веселые, находчивые и довольно, я бы сказал, убогие. Получается, что у них в жизни не было острова, на котором нужно выжить. Им этого, что ли, не хватает?

Суббота

Всё думаю о природе воспоминаний. Неужели то, что хранит моя память, — это всего лишь комбинация нейронов в голове? Запах рождественской елки, стеклянный перезвон гирлянд на сквозняке — это нейроны? Треск бумажных полосок на оконной раме,

когда ее открывают в апреле и квартира заполняется весенним воздухом. Заполняется негромкой беседой с улицы. Вечерним стуком каблуков по тротуару, гудением ночных насекомых в плафоне лампы. А наше с Анастасией трепетное чувство, о котором благодарно помню и помнить буду до конца жизни, — тоже нейроны? Шепот ее, сбивающийся от смеха на голос, аромат ее волос, когда она лежит рядом.

После дней болезни мы часто лежали рядом. Обычно днем, когда в квартире никого не было. Лежали обнявшись. Иногда — не касаясь друг друга. Разговаривали. Молчали. В одну из таких минут я шепнул ей в самое ухо:

— Хочу, чтобы вы стали моей женой.

Анастасия была смешлива, и я боялся, что она засмеется. Но она не засмеялась. Коротко ответила:

— И я хочу.

Тоже в ухо. Я почувствовал ее теплые губы.

Мы так и не перешли с ней на “ты”. Мне казалось, что целомудрие наших отношений не должно подвергаться никаким испытаниям, даже таким пустяковым, как “ты”. Анастасии оставалось менее года до совершеннолетия, и я дал себе слово совершеннолетия дожидаться.

— Вам ведь тяжело так.. — сказала однажды Анастасия. — Без женщины.

— У меня есть женщина. Это вы.

Она покраснела.

— Пусть тогда я буду женщиной... во всём.

Я поцеловал ее в лоб.

— Я не хочу делать этого до венчания.

Самое острое чувство — неудовлетворенное, и я испытал его в полной мере. Никогда еще мое “вы” не было так чувственно. До сих пор ощущаю

его жар на губах. Самый настоящий жар. Трудно поверить, что это достигается комбинацией нейронов.

Понедельник

Человек — не кошка, он не может приземлиться на четыре лапы всюду, куда бы его ни бросили. Для чего-то же он поставлен в определенное историческое время. Что происходит, когда он его теряет?

Вторник

Сегодня был необычный день — я впервые оказался в городе. После утренних процедур Гейгер спросил: — Хотите прокатиться на машине?

Хотел ли я? После стольких недель сидения в палате? Я расплылся в дурацкой улыбке. Последний раз при таком же предложении я улыбался в детстве, когда каждая поездка казалась праздником. Но ведь и сейчас она была делом не рядовым. Мне предстояло ехать не в привычном с юности автомобиле, а в одном из обтекаемых аппаратов, которые до этого я видел только по телевизору. Главное же — заканчивалось мое вынужденное затворничество, и я окунался в новую жизнь.

Окунался — точное слово. Только окунешься, говорили мне на пляже родители, боясь простуды. А плавать не будешь. Не буду так не буду, окунуться тоже счастье. Опасаясь, что мой ослабленный организм сдастся первой же инфекции, Гейгер меня из автомобиля не выпускал. Изредка останавливался

и разрешал опустить окно. Я нажимал на дверную кнопку, окно же с едва слышным гудением скользило вниз. Залюбуешься...

Так мы постояли перед Эрмитажем, Медным всадником и Исаакиевским собором. Никаких существенных перемен в сравнении с моим временем я не обнаружил. Ну, может быть, асфальт вместо брусчатки. Электрические столбы какие-то другие, не деревянные. Были на Васильевском острове — там тоже в целом порядок. Поехали на Петроградскую сторону.

На углу Большого и Зверинской остановились (припарковались, прокаркал Гейгер). Вышли из автомобиля. Там, где раньше был книжный магазин “Жизнь”, сейчас что-то некнижное. Что-то скорее гастрономическое. И дом по противоположной стороне Большого был этажа на два поменьше. Я это хорошо помню, потому что часто смотрел на него из окна, и вся его жизнь была передо мной как на ладони. Надстроили, значит.

К этому дому мы и направились. Тремя пальцами Гейгер нажал на кнопки возле ручки, и дверь открылась. Стали не торопясь подниматься. Лестница в плевках и окурках: плевки обычные, а окурков я таких не видел. Совершенно они необычного вида. У одной из дверей Гейгер звякнул ключами.

— Это квартира моих друзей, — сказал он почему-то шепотом. — Из нее отличный вид на ваш дом.

Мы вошли. Всё необычно — полы, мебель, лампы. То есть всё узнаваемо, и понятно, для чего что предназначено, а вместе с тем — удивительно. Окна смотрят на две стороны — на Большой проспект и во двор. Гейгер подвел меня к тому окну, что выходит на Большой. Я про себя удивился: зима в городе,

а рамы не двойные, особенные какие-то, тонкие. При этом в квартире тепло.

Глядя на окна в бывшем моем доме, я вспоминал, как мы с Анастасией их утепляли. Острием ножа за-талкивали в щели рам вату, а поверху заклеивали полосками бумаги. Клейстер варили. У меня потом от запаха клейстера всегда настроение поднималось. Вспоминалось чувство осеннего уюта. На улице ветер, холод, а у нас будет тепло. Принимая от Анастасии намазанную полоску, почувствовал щекою завиток ее волос. Поцеловал ее пальцы — отдернула руку. Сумасшедший, они же в клейстере... Слизнула клейстер с моих губ.

Гейгер вытащил из портфеля бинокль и дал мне. Ага, точно, вот мы с ней стоим, теперь всё стало видно. Она намазывает и подает, я клею. Тщательно разглаживаю каждую полоску по раме. Бумага мокрая, скользкая, под ней комки. Иногда полоска беззвучно рвется, и я аккуратно соединяю оборванные концы. Прижимаю их, не разглаживая. Филигранная работа. Это то, что должно было спасти нас зимой, но не спасло. Тепло из квартиры всё равно ушло.

Четверг

Это мое *вы* и Анастасия кажутся мне сейчас чем-то избыточным, даже забавным. Но тогда они были для меня чуть ли не порукой ее, Анастасии, неприкосновенности. До некоторой степени — символом моей аскезы, чем-то вроде рясы, в которой иноку, наверное, проще сопротивляться искушениям. Или, наоборот, сложнее.

Чувственное начало в наших отношениях, безусловно, присутствовало, но это была особого рода чувственность. Она не шла дальше взгляда, интонации, случайного прикосновения, и это придавало ей невероятную остроту. Лежа ночью в постели, я вспоминал наши дневные беседы. Ее и свои слова. Жесты. Толковал их и перетолковывал.

На заколоченной двери, у которой стояла моя кровать, даже в темноте мерцали загнутые гвозди. Я водил по ним пальцем. Думал о том, что по ту сторону двери находится ее кровать. Иногда слышал приглушенный скрип. Мы спали как бы в одной кровати, разделенной перегородкой. Пока, думалось, разделенной.

То, что мы так тщательно скрывали от всех, ни для кого в квартире, конечно же, не было тайной. Есть вещи, которые, находясь под одной крышей, скрыть невозможно. Даже Воронин, по-профессорски рассеянный, о чем-то несомненно догадывался. Он стал смотреть на меня, что называется, с новым вниманием, и это внимание было доброжелательным. Профессор то подбадривающе похлопывал меня по спине, то беспричинно улыбался. Однажды он подошел к нам с Анастасией и обнял. Такое объятие было равносильно благословию.

Последовавшие месяцы были освещены для меня дружбой с Анастасией и ее отцом. Почти каждый вечер мы собирались в их комнате и пили чай. Это был, собственно, не чай (чая тогда было не достать), а сушеные травы и ягоды, сохранившие аромат лета. Собранные Анастасией. Изредка — после настойчивых уговоров — приходила моя мама. Она стеснялась. Считала, что, живя в общем пространстве, очень важно соблюдать дистанцию. Правильно, мне кажется, считала.

Случалось, сидел еще, ага, Аверьянов — такой, каким мне недавно и вспоминался: склоненная на плечо голова, толстые линзы очков. Приходя, садился в кресло, тонул в нем. Говорил мало. Улыбался, но чаще смеялся. Громко смеялся — как бы от избыточной искренности. Он был сослуживцем Воронина по Духовной академии, тоже профессор. Увидел сейчас его в кресле (сверчок из книжки-раскраски) и всё о нем вспомнил. Как сказал бы Гейгер, связь нейронов восстановилась. Когда в ту зиму арестовали Воронина, основные показания по контрреволюционной деятельности дал на него Аверьянов. Арестовали-то по доносу Зарецкого, но дело построили на показаниях Аверьянова. Зарецкий слова *контрреволюционный* не выговаривал.

Суббота

Вчера ездили в Сиверскую. Я хотел на поезде, но Гейгер воспротивился. Сказал, что в поездах вирусы, а у моего организма ослаблена сопротивляемость. По-моему, он преувеличивает. На своем веку мой организм столькому сопротивлялся, что поездка в поезде для него — сущий пустяк. Но решаю не я — Гейгер.

Поехали на машине. Гейгер, как и прежде, за рулем, я — на сидении рядом. Пристегнут ремнем. Современный автомобиль (лучше — *машина*, посоветовал Гейгер) развивает невероятную скорость. На городских улицах это не очень заметно, но, когда выезжаешь за город, дух захватывает. Когда мы начали обгонять другие машины, я почувствовал, как мои руки вцепились в подлокотники кресла. Гейгер это тоже заметил и сбавил скорость. Какой же (улыбнулся) рус-

ский не любит... Я тоже улыбнулся. Подумал, что, если бы на этой скорости мы во что-нибудь врезались, мой организм разлетелся бы на части — независимо от сопротивляемости. Да и гейгеровский тоже.

Впереди идущие машины поднимали поземку и осыпали нас комьями грязи, отчего ветровое стекло то и дело туманилось. Не пропускало не только ветра, но и света. Хитроумный Гейгер брызгал на него водой и чистил *дворниками*. Научившись опускать окна, я нажал было на кнопку, но в машину ворвался такой смерч, что я тут же окно закрыл. Да, лучше так, кивнул Гейгер. Лучше так.

Мы *припарковались* у железнодорожной станции, которую я не узнал. Точнее, узнал вроде бы одно из станционных строений, которое теперь стало магазином. Вот ты сейчас какая, Сиверская... Когда мы вышли из машины, Гейгер попросил меня надеть марлевую маску. Я пожал плечами и надел. В конце концов, главный здесь он, а я привык подчиняться. Но даже сквозь марлю чувствовался ни на что не похожий сиверский воздух. По улице с убогими пятиэтажными домами мы двинулись в сторону плотины.

В Сиверской стало понятно, что зима кончается. Есть ведь особый запах весны, который появляется тогда, когда повсюду еще лежит снег. Не запах, скорее — какая-то мягкость воздуха.

— А где дача барона Фредерикса? — Из-за маски мой голос звучит глухо, как-то даже обвиняюще.

— Не сохранилась.

Снег уже рыхлый, не скрипит.

— Почему не сохранилась?

Неопределенный жест Гейгера, не предполагающий дальнейших “почему”. Мы спускаемся к плотине. Стоящие у воды развалины под завязку забиты мусо-

ром. Любуемся тем, как откуда-то из-под нас вырываются пенные потоки. Я ведь никогда не бывал здесь зимой, и от этого мне немного легче. То, что Сиверская не похожа сама на себя, при желании можно объяснить ее зимним состоянием. А летом всё еще может вернуться. Абсолютно всё, включая дачу Фредерикса.

Да, вот она, дорога: перейдя плотину, по этой дороге мы тогда поднимались. Красные утесы. И ведь отец был жив тогда, и бабушка. И мама. Я всё про маму думаю и не хочу у Гейгера спрашивать, как там она. Там. Понятно ведь, что давно умерла, а вот услышать это боюсь.

Пошли по Церковной улице, хотя на табличках написано — *Красная*. Если иметь в виду девонскую глину, то вполне даже уместно. Вскоре я увидел наш дом. Он сменил цвет, крышу и стал приземистей, что ли, но узнавался безошибочно. Гейгер деликатно отстал. Взявшись за калитку, я внимательно рассматривал дом. Он. Я обернулся к Гейгеру, и тот кивнул. Даже свет в окне желтоватый, как прежде.

Из дома вышел пожилой человек и направился к калитке. Увидев меня, сбавил шаг. Остановился.

— Мы здесь снимали дачу, — пояснил я. — Когда-то очень давно.

Стоявший покачал головой:

— Этот дом достался мне от отца. Ни он, ни дед никому его не сдавали.

— Может, прадед?

Посмотрев на мою маску, он вежливо спросил:

— Вы здесь на излечении?

— Да, в некотором смысле.

Он кивнул. Вышел на улицу и, просунув руку между рейками калитки, закрыл внутреннюю щеколду. Не спеша пошел в сторону дамбы.

С его уходом свет в доме не погас — должно быть, там кто-то оставался. Возможно, моя семья. Стоило мне войти, и я увидел бы всех моих близких (ну, вот ты и пришел, дружок), и понял бы, что всё, кроме их вневременного сидения за столом, сон и наваждение, и расплакался бы от нахлынувшего счастья, как тогда, в день моих одиноких странствий. Но я не вошел.

Воскресенье

Птичка скачет веселó
По тропинке бедствий,
Не предвидя от сего
Никаких последствий.

Вспомнился старинный куплет, в связи с чем — непонятно.

Это не обо мне ли?

Понедельник

Зимой вставали в шесть часов, а рассветало к полудню. Утро казалось мне самой страшной частью дня. Пусть к вечеру я умирал от боли, усталости и мороза, но вечером была надежда на ночной отдых. А утром открывал глаза с мыслью, что всё сегодня начнется снова. Часто не мог проснуться. Открывал глаза, вставал (за минутное промедление били палкой), но — не просыпался. Пока нас вели к месту работы, спал в строю: на ходу тоже можно спать. Не умывались — времени не было, иногда уже на работе лицо терли снегом или влажным мхом. Успевали только

съесть свой кусочек хлеба и запить водой. В роты приносили кипяток, но, пока его разливали, он становился почти холодным. Да это было и неважно, заваривать в нем всё равно было нечего. И запивать было нечего. Я мечтал о двух только вещах на свете: наесться и выспаться.

Вторник

За профессором Ворониным пришли вечером. Хмурые, сосредоточенные, как и положено тем, кто представляет большую силу. Кто не от себя пришел. Обыскивая комнату, не торопились. Непривычными к листанию пальцами просматривали книгу за книгой. Устав листать, брали книги за переплет и энергично трясли. Выпадали закладки, открытки, один раз вылетела, кружась, дореволюционная десятка. Так же тщательно просматривали белье. Стоя в коридоре, я видел, как их пальцы ощупывали простыни, на которых спала Анастасия.

Анастасия. Когда сотрудники ГПУ предъявили свои бумажки, она опустилась в кресло. Профессор еще что-то у них уточнял, а она уже сидела — неподвижно, безмолвно. Такой бледной никогда ее не видел. Воронин тоже на нее посмотрел и испугался. Сел перед креслом на корточки, взял ее за подбородок, сказал, что всё образуется. Его отвели в другой конец комнаты. Один из гэпэушников принес Анастасии воды, и мелькнуло в этом что-то человеческое.

Того, что всё происходит по его доносу, Зарецкий не скрывал. Опасаясь пропусков в обыске, он даже повел пришедших к шкафу Ворониных на кухне. Нашли дуршлаг, терку и несколько пустых банок.

Что искали, не было известно никому — скорее всего, и самим ищущим.

— Теперь за нее отвечаете вы, — шепнул мне Воронин в коридоре.

Мы обнялись. Потом он обнялся с дочерью. Тот сотрудник, который приносил Анастасии воду, разжал ее руки, сомкнувшиеся на шее отца. И то, и другое относилось, вероятно, к числу его привычных действий. При отце Анастасия не плакала — боялась, что он этого не выдержит. Заплакала тогда, когда он ушел. Она говорила, и слова выходили из нее с рыданием, одно за другим, как толчки рвоты. Ей было ужасно оттого, что он ушел вечером — не днем, не ночью, когда порядок вещей кажется устоявшимся, а в зыбкое переходное время.

Я подошел к двери Зарецкого и дернул за ручку. Она оказалась запертой изнутри на крючок. Я дернул ее двумя руками, и крючок слетел. Зарецкий сидел, сложив руки на столе. Стол был чист, на нем не было даже колбасы.

— Я убью тебя, гнида, — сказал я негромко.

— Убьете пролетария — пойдете под суд, — так же негромко ответил Зарецкий.

В его словах не было вызова, скорее — скорбь. Сидел неподвижно, и только на скуле дергался желвак. Земноводное. Скорбная рептилия. Я подошел к нему вплотную.

— Я убью тебя так, что никто этого не узнает.

Всю эту ночь я провел в комнате Ворониных. Анастасия сидела в кресле, а я — рядом с ней на полу. Ближе к утру она заснула, и я перенес ее в кровать. Когда я клал ее на постель, она открыла глаза и сказала:

— Не убивайте его. Слышите, не убивайте.

Будто во сне сказала.

Я промолчал, потому что не знал, что, собственно, отвечать — ладно, не буду? Постараюсь не убивать? Подумал: какой будет жизнь после ареста ее отца? Посмотрел на Анастасию — она опять спала. Я сейчас тоже засыпаю. Один раз из пальцев выпала ручка и разбудила меня. Завтра продолжу.

Среда

Продолжаю. Жизнь после ареста профессора шла, как ни странно, почти по-прежнему. С Зарецким сталкивались и я, и мама, и Анастасия — в кухне, в коридоре, у туалета. Что удивительно — мы с ним здоровались. Первой поздоровалась мама (она боялась, что Зарецкий продолжит доносить, и надеялась купить этим его молчание), потом я, а потом и Анастасия. Мама здоровалась в голос, а мы лишь кивали. Мы не думали о его будущих доносах — просто, живя под одной крышей, трудно делать вид, что человека нет. Трудно жить в постоянной ненависти, даже если она оправданна.

Иногда мы с Анастасией лежали друг с другом, но никаких проявлений нежности по-прежнему себе не позволяли. Нам казалось, что, пока ее отец в заключении, ни на что в этом роде мы не имеем права, что, если с ним что-то случится, виноваты будем только мы. Это трудно объяснить, но его освобождение мы почему-то связали со своим целомудрием. И когда в конце зимы Анастасии исполнилось шестнадцать лет, ничего в наших отношениях не изменилось. Мы уже могли венчаться, но в тогдашних обстоятельствах это было для нас так же невозможно, как и прежде.

Проходя однажды пьяным по коридору, Зарецкий сказал мне:

— А я ведь и сам не знаю, почему на профессора донес. Пошел, стало быть, зачем-то же и донес. — Сделав несколько шагов к туалету, обернулся: — Но уж на вас не донесу, будьте покойны.

Впоследствии я не однажды думал, отчего же он и в самом деле донес. Обида? Но Зарецкого никто не обижал, на него просто не обращали внимания. М-да... Может, это и было для него худшей обидой?

Время от времени мы с Анастасией ходили на Гороховую в надежде получить свидание с профессором, но свидания не давали. Передач тоже не принимали. Уж как Анастасия ни пыталась говорить с тамошними опричниками — и улыбалась им, и подпускала металлические нотки, и заискивала — ничего не помогало. Их неразвитые физиономии оставались непроницаемы. Я смотрел на них и представлял, как, схватив за волосы, с размаху бью их о стену. Бью что есть силы, бью с наслаждением, а их грязно-бурая кровь брызжет на казенные стулья, на пол, на потолок. Так я поступал всякий наш приход. Я думаю, они не могли об этом не знать. Последний раз мы пришли 26 марта, и эти люди нам сказали, что профессор Воронин расстрелян.

Пятница

Сегодня вместо сестры Валентины появилась сестра Анжела. Она молода, но прелести Валентины в ней нет. Внешность довольно вульгарна, не говоря уже об имени. Гейгер сказал, что Валентина нездорова,

и его интонация не очень мне понравилась. Не знаю, почему.

Весь день пытался печатать на компьютере. Чувствовал себя первопечатником.

Суббота

Несколько дней назад Гейгер принес мне книгу одного американца о замораживании умерших для последующего воскрешения. Что-то подобное он мне уже предлагал. Увлекательное чтение — особенно для больницы. Автор перечисляет вопросы, с которыми придется столкнуться пионерам заморозки, — они непросты. Будет ли вдовам и вдовцам позволено вступать в брак после заморозки покойного? Что делать размороженному и оживленному, столкнувшемуся с супругами бывших супругов? Есть ли законное право заморозить родственника или (добавлю от себя) соседа по квартире? Могут ли у того, кто был официально объявлен трупом и заморожен, быть законные права и обязанности? Может ли он после размораживания голосовать? Последний вопрос меня тронул по-настоящему.

Впрочем, главная сложность, по мнению американца, состоит не столько в голосовании, сколько в заморозке и разморозке. При охлаждении из клеточного раствора выделяется жидкость, которая превращается в кристаллы льда. Как известно, вода при замерзании расширяется и способна повредить клетку. Более того, то, что не превратилось в лед, становится чрезвычайно едким солевым раствором, пагубным для клетки. Зато при очень быстрой заморозке — и в этом вроде бы по-

вод для оптимизма — размер кристаллов и концентрация солевого раствора получаются меньше.

Для предотвращения повреждений при заморозке используют глицерин — он нейтрализует солевой раствор. Таким образом, при разморозке задачей номер один становится удаление из организма глицерина. Без ее решения все остальные действия бессмысленны, с глицерином-то вместо крови не забалуешь. Есть, правда, и другие вопросы: зачем такого рода вещи Гейгер приносит мне, а я всё это читаю?

— Получается, — спрашиваю я его в один из дней, — дело не столько в том, чтобы заморозить, сколько в правильном размораживании?

— Получается, так.

— Если я правильно понимаю, несмотря на все успехи науки, оживить при разморозке не удалось никого?

— Удалось, — отвечает.

— Кого же, интересно? Бабуина?

Гейгер смотрит на меня сочувственно и как-то даже настороженно:

— Вас.

Четверг

Все эти дни обдумывал услышанное. Сначала вроде бы принял всё спокойно, а потом второй волной как-то это зацепило. Меня удалось разморозить: из этого логически следует, что я был заморожен. Что тут сказать...

Мысль уходила вбок, петляла. Норовила не вернуться к исходной точке. Мне вспоминались вмерз-

шие в Неву брёвна. Бутылки, лоханки, дохлые собаки и голуби — всё, что мучительно вытаивало изо льда весной. Как я выглядел в ледяном плену — как голубь? Как спящая, может быть, царевна? Проступало ли сквозь лед мое бескровное лицо и были ли у меня закрыты глаза? Или льда вовсе не было? Скорее, не было — замораживают, как я читал, азотом.

В иные дни на острове мне и самому хотелось замерзнуть. Сесть под дерево и забыться. Вспоминал тогда Лермонтова — забыться и заснуть: я очень хорошо представлял, как именно это получается. Когда уже не холодно, когда ничего не хочется — даже жить. Точнее, о жизни не думаешь и о смерти не думаешь, и оттого не страшно. Надеешься: уж как-нибудь там оно обойдется, что-нибудь там такое произойдет, что не даст окончательно погибнуть. А не происходило. Находили весной под соснами таких, что не хочется и описывать. Да я уже, помнится, и описывал — плохо они зимовку выдерживали. Там я, что ли, замерз? Не похоже: хорошая заморозка, как известно, требует глицерина. Смотрю на себя в зеркало и думаю без ложной скромности, что неплохо, в сущности, сохранился.

Заходил несколько раз Гейгер, похлопывал меня по плечу. Похлопает и выйдет, не говоря ни слова. Что тут, собственно, скажешь?

— А как, — спрашиваю, — вам удалось меня разморозить? И главное: как вы удалили из организма глицерин?

— Специалист... — Во взгляде Гейгера уважение. — А не было глицерина.

— Как не было? — удивляюсь.

— Да вот не было, и всё. В этом-то и загадка.

Пятница

Конец марта. В конце марта погиб Зарецкий. С проломленным черепом он был найден на берегу реки Ждановки, недалеко от колбасной фабрики, где работал. К нам приходил следователь Трешников из уголовного сыска — сорокалетний здоровяк с моржовыми усами. Трешников выяснял, кто был заинтересован в смерти Зарецкого. Интересовался, имелись ли у него враги или родственники, которым могла бы достаться его комната. Враги или родственники (там, в сыске, умеют формулировать) — мы не знали ни тех, ни других. Спрашивал, где все мы были накануне вечером, а все мы были дома.

Трешников рассказал, что у Зарецкого были растегнуты штаны, а на поясе была веревка. Конец ее спускался в кальсоны.

— Не знаете, для чего веревка? — спросил.

Нам было известно, что это для колбасы, но мы почему-то сказали:

— Не знаем.

Трешников подозревал, что Зарецкий был маньяком и пытался кого-то изнасиловать. За что и получил. Мы возразили, что не наблюдали за ним такого, что женщины к нему вообще не ходили. Последнее и показалось Трешникову подозрительным.

— Плохой это, — вздохнул, — признак, когда женщины не ходят.

Потом я от нашей квартиры ходил в морг на опознание. Опознал его без труда. На мраморном столе лежал действительно Зарецкий — маленький, совершенно голый, с трупными пятнами на лице. То, что он именовал *писькой*, оказалось у него на удивление маленьким. Достаточно было на нее

взглянуть, чтобы отбросить всякие мысли об изнасиловании.

Никаких видимых повреждений на голове Зарецкого я не заметил — череп его был пробит сзади. Не найдя орудия убийства, Трешников предположил, что Зарецкого толкнули, и он ударился головой о камень — там, на берегу, было много острых камней. Допускал Трешников и удар сзади. В этом случае было маловероятным, что Зарецкий на кого-то нападал, вероятным было как раз противоположное. Если бы не расстегнутые штаны покойного, к этой версии Трешников, возможно, и склонился бы.

Я мог бы, конечно, рассказать следователю, что покойный-то выносил с фабрики в кальсонах колбасу. Выйдя из проходной — он сам это пьяным описывал, — спускался по крутому берегу к реке, где безлюдно. Расстегивал штаны, отвязывал свою колбасу и дальше уже нес ее в руках. Всё это очень понятно: ходить с колбасой в штанах неудобно. Расскажи я это, Трешников пришел бы к простому выводу, что Зарецкий в том пустынном месте оказался не единственным любителем колбасы. Что в наше голодное время сотрудник колбасной фабрики пал жертвой чьей-то любви к этому изделию. Ведь то, что колбасы на поясной веревке не нашли, говорило о том, что ее забрали.

Только ничего я Трешникову рассказывать не стал, решил: пусть думает о Зарецком что хочет. Было ли это моей мезтью покойному? Не знаю. Не могу сказать, что как-то особенно о нем жалел. Прощаясь, Трешников зачем-то спросил, стучал ли Зарецкий в ГПУ. Шестым чувством я определил, что лучше не врать, и сказал, что стучал. Что значил этот

вопрос? Намек на то, что у нас тоже были мотивы для убийства и что он об этом знает? Уголовное дело вскоре было закрыто.

Похоронили Зарецкого рядом с его матерью, на Смоленском кладбище, где он нам как-то встретился с бутылкой водки в кармане. Похороны были организованы за счет колбасной фабрики, без особой роскоши, но главное, говорят, без людей. Возможно, руководство фабрики решило не прерывать процесс производства колбасы и никого не отпустило с работы, а может быть, среди сотрудников фабрики не оказалось ни одного сколько-нибудь близкого Зарецкому человека. Скорее, конечно, второе. Мы с Анастасией на похороны тоже не пошли. Это понятно.

Суббота

Вот что всплыло из глубин моего сознания: академический рисунок полагает свое основание на знании и понимании формы, ему чуждо бессмысленное срисовывание и рисование по впечатлению. И еще: форму необходимо вписать в формат, чтобы она не плавала и на периферии рисунка не возникали скучные места.

Интересно все-таки: такие вещи приходят в голову только художникам или всем? Например, Гейгеру?

Понедельник

Сегодня Гейгер появился в сопровождении мальчика лет семи. Точнее, Гейгер зашел за какими-то бумагами Валентины (они лежали на подоконнике),

а мальчик смотрел в щелку двери — я его видел. Когда я спросил у Гейгера, что с Валентиной, дверь открылась полностью.

— У нее ранний токсикоз, — сказал мальчик. — А мы с папой пришли за ее вещами.

За его спиной показался смуглый, коротко стриженный тип с сумкой в руках — надо полагать, муж Валентины. Ниже ее ростом. Он отодвинул мальчика от двери и с хлопком ее закрыл. Гейгер развел руками.

— Валентина снова беременна, и я, представьте себе, к этому не причастен.

Судя по дверному хлопку, муж Валентины в этом уверен не был.

— А я ведь тоже непричастен, — пошутил я.

— Вас это огорчает? — серьезно спросил Гейгер.

Я промолчал. Меня радовала непричастность Гейгера.

Как жизнеописатель, я склонен ему верить.

Вторник

Гейгер сказал мне, что недалек мой выход в свет. Я спросил, что это значит, хотя и сам всё отлично понимал. Я ведь смотрю телевизор и читаю газеты. Гейгер, сев, как он любит, верхом на стул, пояснил, что в ближайшее время я войду в *медийное пространство*. В качестве, с позволения сказать, *нюсмейкера* (есть на свете и такое слово). Рано или поздно это должно было случиться.

— Эксперимент, — сказал Гейгер, — требует денег, а общественный интерес — это деньги.

Я молчал, обдумывая красивую фразу. Ее автор тоже молчал. За окном светило солнце, и о подо-

конник дробно стучала капель. Таяние снега происходило под заинтересованным наблюдением Гейгера, но без его участия. Так же примерно, как и моя разморозка. На днях Гейгер признался, что до сих пор не понял, какой именно раствор вводили мне в сосуды. В них обнаружился обычный физраствор, не обеспечивающий сохранность клеток при замораживании. Несомненно, была еще какая-то химическая добавка, которая за годы моего ледяного сна попросту улетучилась. Если бы не это, я бы, нужно думать, так легко не разморозился.

Обнаружив в моих сосудах физраствор, Гейгер заменил его при разморозке кровью моей группы, что, по его словам, было не так уж сложно. Состав первоначального раствора был гениальным открытием тех, кто меня заморозил, но формула этого открытия по ряду причин не сохранилась. О причинах я не стал расспрашивать — это не так уж интересно. Зная особенности нашей страны, проще удивиться, что хоть что-нибудь сохранилось.

В этой истории нас с Гейгером утешает то, что сохранился я. Это мы считаем безусловным достижением.

Среда

Вспомнилось то, отчего нельзя не покраснеть. Но нельзя и не засмеяться. О том, как мы с Севой ходили к проститутке, — таким могло бы быть заглавие этого рассказа. Именно ходили — потому что тем дело и кончилось, и именно к проститутке — поскольку на нас двоих она была одна.

Идея была Севина. Даже не идея — мечта. Он неоднократно говорил мне, что, если бы мы накопили денег, могли бы, например, пойти в публичный дом. Словечко *например* в этих высказываниях гостило неизменно, и меня это смешило. *Например* можно пойти в цирк или иллюзион, идти же *например* к проституткам, на мой взгляд, было как-то странно. Скорее всего, Севе казалось, что это словечко несколько разряжает ситуацию. Делает предложение менее, что ли, необычным. Судя по тому, как часто он к этому возвращался, тема его волновала ощутимо.

Сева говорил, что нужно, в сущности, не так уж много, хотя на карманных деньгах даже такую сумму мы наберем не скоро. По его расчетам выходило также, что брать одну проститутку на двоих гораздо дешевле, чем двух, что нужно лишь правильно договориться. Исходя из нашего юного возраста (похохатывал Сева), девушка подумает, что мы мало чего стоим в постельном отношении, в то время как мы (Сева делал неприличное движение бедрами) ее просто замучаем.

Случай представился по окончании очередного гимназического класса. Мы отмечали это у нас на Большом, и каждый от своих родителей получил в награду деньги.

— Сегодня пойдем к проституткам, — прошептал мне на ухо Сева. — Будь готов.

Я ничего не ответил. Не уточнил даже, что он имел в виду под готовностью.

— Их снимают рядом, на Большой Пушкинской.

Поколебавшись, я кивнул. В конце концов, об этом было столько разговоров, что оставить сейчас Севу одного было бы предательством. А если уж со-

всем честно, то и я испытывал некоторое — ну, скажем так, любопытство.

И мы пошли. По дороге Сева рассказывал мне, что и как именно следует делать с дамой.

— У кого-то из нас может сегодня не получиться, — как бы между прочим сказал Сева. — Так бывает, когда волнуешься.

По его критическому взгляду на меня было понятно, у кого может не получиться. Такие взгляды по отношению ко мне он позволял себе не так уж часто.

Девушки стояли в предсказанном Севой месте, и это подняло степень моего доверия к нему. Когда Сева направился к одной из них (самой, как мне показалось, крупной), я предпочел остаться на расстоянии. Он бросил на меня рассеянный взгляд, но движения своего не изменил. Подойдя к своей избраннице, Сева завел с ней обстоятельный разговор. Время от времени он показывал на меня, а девушка пожимала плечами. На меня она толком даже не взглянула, потому что вопрос упирался, по всей видимости, не в меня, а в деньги. В конце концов Севе удалось с ней договориться, и нас обоих она пригласила следовать за ней.

— У нас с ней два часа, — шепнул мне Сева на ходу. — По часу, значит, на каждого.

Девушку, которую Сева собирался замучить, звали Катей. Девушкой она, конечно, не была — ни по роду своих занятий, ни по возрасту. Идя сбоку от Кати, я ее украдкой рассматривал: лет ей было за тридцать. Мы шли совсем недолго. Катя свернула во двор деревянного дома и поднялась на второй этаж.

Ничего из того, что я себе представлял, в Катинем жилище не было — ни алых портьер, ни огром-

ной под балдахинном кровати. Это было бедное жилище — именно жилище, в котором, освободившись от клиентов, Катя попросту жила. Да и сама Катя меньше всего напоминала жрицу любви. Облокотившись о кухонный столик, перед нами стояла усталая, не первой свежести женщина.

Первым в комнату пошел с ней, разумеется, Сева. Я остался в кухне, приготовившись заткнуть уши при первых же столах. Но стонов не последовало. Через полчаса из комнаты вышел Сева — руки в карманах брюк. Красный как рак (упарился?) и уже одетый. Вслед за ним в дверях показалась Катя — тоже без особого беспорядка в одежде. Усталость ее (замучил-таки, подлец!) явно усилилась. Жестом она пригласила меня в комнату. Пригласила русые и, по-моему, не очень чистые волосы.

— Так-с. Я говорил, что у кого-то из нас сегодня не получится... — неожиданно выпалил Сева.

Бодрость тона не оставляла сомнений, что это намек на меня.

— У кого же, интересно? — спросил я не без вызова.
— У меня...

На Севином лице появилась приклеенная улыбка. От этой улыбки — в сочетании с невыразимо грустными глазами! — из утробы моей начал подниматься хохот. Дойдя до верхнего предела, он судорожно выходил из меня, а я не мог остановиться. Неожиданно для меня захохотала и Катя. Хохотала она грубо и зло, сотрясаясь всем своим крупным телом, и не было в ней больше ни капли усталости. Смеялся, повизгивая, даже Сева — ему больше ничего не оставалось делать.

С Катей я, разумеется, уже не пошел. Мы дали ей денег за одного человека. Получая деньги, она про-

должала хохотать. Выйдя на улицу, мы долго смотрели на ее окна. Был солнечный июньский день. Легкий ветер нес запахи разогретого дерева и лошадиного навоза, то тут, то там лежавшего на булыжной мостовой. Шевелил занавески в Катином окне, за которыми (я видел) стояла Катя и смотрела на нас. Лица ее я не удержал в памяти, но запахи и колыхание занавесок в окне — они запомнились. И тусклый блеск булыжника на солнце, и деревянные дома. Позднее я узнал, что в этих домах селились подобные Кате женщины. Мы с Гейгером недавно гуляли по Пушкинской — теперь там этих домов нет, да и женщин тоже. Тела их, вобравшие в себя столько пота и спермы, давно истлели.

Четверг

Гейгер сказал, что мой биологический возраст — около тридцати лет. В жидком азоте я почти не состарился.

Суббота

Через неделю после того, как уголовное дело по поводу Зарецкого было закрыто, к нам в квартиру пришли с обыском. Только теперь это был не уголовный сыск, а ГПУ. К тому времени я повидал тех и других и мог сравнивать. Сыскари в большинстве своем были еще дореволюционного призыва. Люди мне понятные, со своеобразным чувством юмора, в чем-то даже симпатичные. Те, кто работал в ГПУ, казались их полной противоположностью: мрачная сосредоточенность гэпэушников к шуткам не располагала. Когда меня

вызывали на опознание Зарецкого, я поделился этим наблюдением со следователем Трешниковым. Он посмеялся и сказал, что главная разница между уголовным сыском и политическим в том, что первые от дела ищут человека, а вторые ищут человеку дело. О профессиональных качествах гэдэушников Трешников высказывался без большого уважения.

Но обыск в моей комнате делали именно они. Я уже видел обыск в комнате Ворониных, и тот, что проходил сейчас, не очень от него отличался. Разница была лишь в том, что многие вещи, которых касались гэдэушники, имели свою историю, были одухотворены прикосновениями отца и матери — особенно отца, потому что его больше не было с нами. Было тяжело видеть, как один из пришедших взвешивал на руке отцовские серебряные часы и прикладывал их к уху. Открывал их — не тем трогательным залихватским жестом, каким это делал отец, а как-то коряво, по-обезьяньи, будто вскрывал найденный орех.

Тяжко было наблюдать за тем, как они роются в белье. Я знал брезгливость мамы и хорошо представлял себе ее чувства, когда чужие руки ощупывали простыни и ночные рубашки. Всё постираю, думала, всё тщательно постираю, чтобы не осталось и следа этих рук. А может, и не думала. Сидела в полубомороке, боясь шевельнуться. Ей представлялось, что судьба моя сейчас лежит на страшных колеблющихся весах, и она боялась склонить их чашу в сторону моей гибели.

Я путаю, конечно: весы — это то, что занимало мои мысли. И мама не сидела — сидела Анастасия, я боялся, что она сейчас лишится чувств. А мама хватала пришедших за руки и говорила, что я ни в чем не виноват. Они отвечали, что революционное пра-

восудие разберется, а она продолжала что-то говорить — быстро, бессвязно, словно хотела заговорить несчастливую мою судьбу...

Я смотрел на шкаф, где стояла Фемида, и понимал, что никто ни в чем уже не разберется, что любой исход дела неправосуден, потому что не существует более инструмента для взвешивания. Вид бронзовой статуэтки с отломанными весами был для меня в тот вечер самым страшным — страшнее даже этих существ, копошащихся в моем белье, страшнее, может быть, того, что мне в дальнейшем угрожало. Вид этой статуэтки не оставлял ни малейшей надежды. Я вдруг понял со всей ясностью, что за каких-нибудь несколько лет исчезло понятие правого и неправого. Верха и низа, света и тьмы, человеческого и звериного. Кто и что будет взвешивать, да и кому это теперь нужно? У моей Фемиды оставался только меч.

Когда меня уводили, мама задержала одного из гэпэушников и шепотом сказала ему несколько слов. Это был тот, кого интересовали отцовские часы. Она взяла его ладонь и что-то в нее вложила. Часы — что еще можно было в нее вложить? Любитель часов ничего не ответил и ухмыльнулся. Рука с часами скользнула в карман галифе. Мама припала к его плечу, еще не понимая, что это бесполезно. Последнее объятие она потратила не на меня — на него, надеясь купить мне хоть какое-то послабление. Анастасия была рядом, и я еще успел прижаться к ней щекой, а когда мама бросилась ко мне, между нами уже стоял конвой.

На лестничной площадке я обернулся и бросил взгляд на светлый прямоугольник двери. За спинами конвоя я увидел моих дорогих — оказалось, в последний раз. Я вижу их и сейчас с фотографической точностью. Знаю, что так же они увидели и меня

обернувшегося. На всю жизнь сфотографировали — меня освещала вспышка их горя. После моей смерти две фотокарточки сольются в одну.

На улице меня втолкнули в закрытый фургон. Когда вслед за мной в него забралась гэдэушники, с лязгом захлопнулась дверь, и более безнадежного звука я не слышал. Окно, забранное решеткой, находилось под самым потолком — благодаря ему я смог различить мрачные лица моих попутчиков. А еще я видел верхние этажи домов и крыши. Некоторые из них узнавал и так понимал, где мы сейчас едем. Помню, что еще не было темно. Несмотря на вечернее время, в небе был разлит свет: приближались белые ночи. Я прощался с городом — чувствовал, что больше в него не вернусь. Так и получилось. Сейчас я вернулся в совсем другой город. А того уж нет.

Понедельник

В детстве я любил следить за работой мостовщиков. За тем, как они укладывали деревянные шестигранники в торцовую мостовую. Как проливали щели смолой и затирали песком. По такой мостовой колёса шли бесшумно и мягко — дереву свойственна ведь мягкость, оно живое. Иногда по утрам, перед выходом в гимназию, я слышал, как чинят мостовую, меняя в ней вышедшие из строя торцы. Шестигранные шашки привозили на подводе или на месте вырубали из заготовок по размеру выбоины, уколачивали массивными трамбовками, издавая глухие деревянные звуки. Я слышал эти звуки сквозь сон, и они мне не мешали, наоборот — делали

оставшиеся до подъема минуты еще слаще, потому что те, что там работали, встали уже давно, зябли, ссутулившись, на сыром ветру, а я лежал в теплой постели, всё еще лежал, и мои минуты казались мне вечностью. То же испытывал я, когда дворники еще затемно начинали чистить лопатами снег. Скребли его. Скалывали лед. Негромко переругивались. В отличие от меня, они не были рады снегу. Не ждали его, подобно мне, уже с середины осени, открывая утром глаза, поднимая их вверх и замирая, не осветился ли потолок отражением побелевшей за ночь улицы.

Теперь я тоже не люблю снега.

На прошлой неделе читали Покаянный канон Андрея Критского, а сегодня началась Страстная седмица. Попросил бы я Гейгера принести мне Покаянный канон, да только вряд ли он у него есть.

Скучаю по Валентине. Вернется ли она?

Среда

Гейгер рассказал мне, что идея заморозки пришла в головы властей после смерти Ленина. Убедившись на ленинском примере, что после смерти глава государства претерпевает те же изменения, что и рядовой гражданин, власти обеспокоились. Выходом им показалось сохранение тел в замороженном состоянии до тех времен, когда наука будет способна продлевать биологическую жизнь. Их естественная забота о посмертном существовании и послужила, по словам Гейгера, толчком к исследованиям в области заморозки. Самого же вождя мирового пролетариата заморозить даже не пытались — его и бальзами-

ровать-то начали тогда, когда он уже вовсю разлагался.

Гейгер упомянул о группе академика Муромцева, которой после смерти Ленина поручили заниматься проблемами замораживания.

— Вам знакомо это имя?

— Знакомо, — отвечаю неуверенно. — Да, вроде бы знакомо...

Многое из того, о чем я читал у американца, было, оказывается, еще в двадцатые годы проделано Муромцевым. И крысы, и кролики — всё это прекрасно замораживалось и размораживалось в его лаборатории — всё, кроме обезьян, которых в тогдaшнем Ленинграде было попросту не достать. Лаборатория работала очень успешно — с 1924 по 1926 год, когда Муромцева арестовали.

Как объяснил мне Гейгер, в 1926 году академик наотрез отказался заморозить Феликса Дзержинского, которого после двухчасового выступления на пленуме ЦК хватил удар. Свое нежелание замораживать Дзержинского ученый объяснял тем, что наука к таким сложным экспериментам еще не готова. Он всячески пытался доказать, что переход от крыс к Дзержинскому без опытов на промежуточных формах невозможен, но — его не послушали.

Муромцева обвинили в саботаже. По версии обвинителей, он не заморозил Дзержинского, не желая, чтобы железного Феликса когда-либо в будущем разморозили. После нескольких недель допросов обвиняемый с этой версией согласился. Он признал, что пожалел потомков, которые были бы вынуждены иметь дело с Дзержинским, ну и в целом саботировал вхождение руководства Страны Советов в бессмертие.

Четверг

На первом допросе меня не били. Следователь Бабушкин, который вел допрос, записал лишь протокольные данные. Еще он спросил, признаю ли я свое участие в заговоре, организованном Ворониным. Сказал, что чистосердечное признание уберезет меня от многих бед. Я отрицал все обвинения, и Бабушкин задумчиво меня выслушал. В этот день у него был усталый вид. Мне тогда даже пришло в голову, что в чем-то он соответствует своей фамилии.

После допроса меня отвели в темную, дурно пахнущую камеру. Я слегка замешкался перед открывшейся дверью (вид был ужасен), и меня с силой толкнули через порог. Я зацепился за что-то, упал на пол. Какое-то время лежал лицом вниз. Глаза мои были закрыты, но нос вдыхал зловоние помещения, а ладони ощущали мягкий, почти разложившийся деревянный пол. Бывший когда-то деревянным, но изменивший свою природу от сырости и нечистот. Я лежал не шевелясь, словно всё еще надеялся, что происходящее — сон, что нужно не выдыхать, не двигаться, а главное — не просыпаться на этом месте сна, чтобы он не стал явью.

Мои надежды не оправдались. В конце концов я все-таки встал. Сначала на четвереньки, затем во весь рост. Я увидел силуэты своих сокамерников — большего было не разглядеть. Один из них равнодушно указал мне мое место на нарах. Меня никто ни о чем не спрашивал, а я ничего не говорил. Лег и на этот раз действительно заснул, и спал крепко, без снов. Среди ночи проснулся от чьего-то стога, затем снова заснул. Утром, во время пробудки, не мог понять, где я.

На втором допросе Бабушкин меня бил. Вероятно, накануне он и в самом деле был не в лучшем состоянии и решил не начинать дело спустя рукава. А может статься, вечером у него были какие-то дела. В этот раз Бабушкин был свеж и никуда не спешил. Посадил меня на стул, связал мне руки и ноги, а потом, закатав рукава рубахи, бил наотмашь по лицу. Я чувствовал, как кровь из носа струится по губам и подбородку. Когда я со стулом упал, Бабушкин содрал с меня ботинки и с размаху бил деревянной дубинкой по пяткам. Это было невыносимо больно, но не вело к увечьям. Вероятно, даже в его ведомстве увечья не поощрялись.

Когда Бабушкин связывал меня, когда закатывал рукава, я не боялся. Думал, что так он меня пугает. Но он не пугал — бил и делал это с некоторым даже удовольствием. Молча. Я тоже молчал. Впоследствии я видел в жизни много избиений, они сопровождались криком и руганью, но это — из-за своего безмолвия — было самым необычным. Задав единожды вопрос, Бабушкин решил бить меня до тех пор, пока я не отвечу. Я же молчал не из героизма. Я словно бы впал в беспамятство и слабо понимал, что происходит.

Не получив ответа на свой вопрос, он всё же задал мне другой.

— Как вы, — избивая меня, Бабушкин странным образом сохранил это “вы”, — как вы убили вашего соседа Зарецкого? Зарецкий написал нам, что вы грозились его убить, только мы не придали этому значения. — Он помахал передо мной письмом Зарецкого. — А зря.

На третий допрос меня тащили под руки два охранника. Ноги мои после побоев так распухли, что

я не мог идти самостоятельно. Ботинки уже не надевались, и босые мои ноги волочились по каменному полу коридора. На этом допросе Бабушкин зачитал мне показания Аверьянова, подробно описавшего мою роль в контрреволюционном заговоре Воронина. На этом допросе я признал свое участие в заговоре и сознался в убийстве Зарецкого.

Пятница

Гейгер принес мне Покаянный канон, и я его весь день читал. Медленно, останавливаясь.

Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний?

Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию?

Воскресенье

Сегодня Пасха. Ночью ездили с Гейгером в Князь-Владимирский собор, куда я ходил в прежние годы. Гейгер сначала не хотел везти меня туда, боялся, что в таком скоплении народа я подхватю какой-нибудь вирус, но я настоял. Вся улица была забита машинами, и мы оставили нашу за квартал от храма. Людей было действительно много.

Снаружи милиция пыталась справиться с давкой, мы еле вошли. Внутри было тоже многолюдно. Душно. Ничего там не изменилось, только иконы совсем потемнели. Гейгер купил две свечи, и мы стали пробираться вперед. Это оказалось не так просто. Мы пристроились к узкому потоку, который двигался

рывками. Лишь простояв несколько минут, поняли, что это *поток*, — так медленно он двигался. Воск со свечи капал мне на пальцы, не обжигая. Я принюхался — не воск, парафин.

И вспомнилась другая Пасха — без свечей и даже не в храме, под открытым небом. Оно было не просто открытым — безоблачным, бездонным, с играющими на нем сполохами северного сияния. Единственный на моей памяти случай, когда нас, заключенных, ночью выпустили из рот, и мы собрались у кладбищенской церкви. Такой Пасхи я еще никогда не видел и, вероятно, не увижу. Заполняли храм по преимуществу епископы, так что для священников и мирян места почти не оставалось.

Мы стояли между могил в подтаявших сугробах и ловили слова службы, которые доносились из открытых дверей. И пахло уже весной, и ветер был теплым, а под нашими ногами лежали *сущие во гробех*. Впервые за многие месяцы жизни на острове стало легко на душе. Мы знали, что после бессонной ночи нас ждет день мучительного труда, но никто не вернулся в роту, потому что охватившее нас чувство счастья было дороже. Даже те, кто находился в начале долгого лагерного срока, поверили в грядущее освобождение. Они ясно видели его в ночном сиянии неба.

Вторник

Вчера прошла долгожданная пресс-конференция. Не я ее, правда, ждал, и не я торопил. Я лишь волновался: как меня примут? Ночь перед ней не спал и ночь — после нее. Заснуть удалось только сегодня днем. Проснулся сейчас — вечер, за окном темно,

неуютно. Чувствую, прежнее волнение подступает, ночью опять спать не буду: как теперь жить? Я был укрыт своей неизвестностью, как снегом, а теперь-то как? Мое лицо нынче всякий знает, я знаменитость, только мне этого совсем не нужно было. Если бы я был нынешним современник, меня бы моя известность радовала, я бы в ней, думаю, купался. Только ведь я им чужой, что мне среди них утверждаться? Они смотрят на меня, как на рыбу в аквариуме, в глазах одно лишь любопытство. Ощущаю себя неизвестно кем. Точно как в детстве, когда меня на середину зала вытолкнули, сказали: иди бестрепетно.

А я трепещу. Прежде чем в конференц-зал войти, в дверную щель заглядываю — уйма народу, телекамеры. Мне говорят, что многие не смогли сюда прорваться. И вдруг я узнаю эту залу. Я был в ней, когда учился в университете. Может быть, это университет? И то, что я помню залу, не значит ли, что я здесь учился? Хороший студенческий вопрос. У меня хватает ума никому его не задавать.. Оказалось — не университет. Без моих вопросов мне сообщают, что мы в здании Академии наук. Над парадной лестницей (показывают) мозаика Ломоносова “Полтава”. Не был ли я в прошлой жизни академиком?

Когда мы с Гейгером и вице-президентом Академии наук входим в залу, все аплодируют. Вице-президент говорит, что, по его разумению, это аплодисменты научной мощи Российской академии и моему человеческому мужеству. На словах о мужестве я опускаю глаза, поскольку всё относительно заморозки помню смутно. А заодно и относительно мужества.

Кое-какие из этих обстоятельств выясняются, когда слово берет Гейгер. Он сообщает собравшимся, что заморозка была произведена в Соловецком

лагере особого назначения группой академика Муромцева, оказавшейся там в полном составе. Я перевожу взгляд на Гейгера, и он, не прерывая речи, утвердительно мне кивает. В нашем разговоре о Муромцеве он не упоминал о Соловках. В сущности, я мог бы об этом догадаться.

Гейгер говорит еще долго, останавливается на особенностях хранения моего тела, на медицинских деталях разморозки, но я его уже не слушаю. Много в моей памяти начинает становиться на свои места — остров, мучения, холод. Особенно холод — космический, непреодолимый, — который всё усиливался и окончился вот, оказывается, чем.

Боясь повредить моему выздоровлению, Гейгер запрещает журналистам задавать мне вопросы о прошлом. Спрашивают о настоящем. На первые вопросы я отвечаю простуженным каким-то голосом, время от времени прочищая горло. Температура, говорю, нормальная. Давление в норме. То и дело ощущаю губами шершавую поверхность микрофона, слышу себя как бы со стороны. Паузы в моей речи заполняются щелканьем фотоаппаратов. Произношу короткие фразы и сам себя стыжусь: так мог бы отвечать размороженный бабуин, но не человек Серебряного века.

— Известно, что первые недели после разморозки вы испытывали определенные сложности со здоровьем. Теперь чувствуете себя лучше?

— Лучше... — пытаюсь раскрепоститься. — Лучше, по крайней мере, чем в жидком азоте.

Аплодисменты: вот он какой, оттаял и шутит. Я чувствую, что краснею.

— А вы с Блоком разговаривали? — кричат из задних рядов.

Гейгер встает и укоризненно качает головой.

— Я же просил..

— Видел его на поэтическом вечере, — отвечаю, — но не разговаривал. С Ремизовым разговаривал — в очереди. Он жил на 14-й линии..

— О чем говорили?

Гейгер угрожающе стучит карандашом по микрофону.

— Не помню. — Меня душит смех, но стараюсь сдерживаться. — Я на 8-ю линию за провизией ходил, и он — на 8-ю. И я не знал, что он — Ремизов, потом только понял, по фотографии.

Губы мои растягиваются в улыбку, и все в зале начинают улыбаться. Я хохочу, и все хохочут. Я начинаю рыдать, а в зале тишина. Гейгер бросается ко мне (его стул с грохотом опрокидывается), берет меня за плечи и выводит черным ходом во двор. Там нас ждет машина. Меня бьет озноб — так я промерз за все эти годы. И никогда уже не согреюсь.

Среда

А ведь я очень хотел поговорить с Блоком. Я, который мало чего знаю на память, выучил его стихотворение “Авиатор”. Вот его начало:

Летун отпущен на свободу,
Качнув две лопасти свои,
Как чудище морское — в воду,
Скользнул в воздушные струи.

Для меня даже узнали номер телефона Блока, но я так и не позвонил. Этот номер я про себя днем и ночью повторял. Я и сейчас могу его назвать: 6-12-00.

Четверг

Из Кеми нас везли на барже “Клара Цеткин”. В наглухо задраенном трюме, лишенном света и воздуха. В партии заключенных я сидел на баржу одним из последних и оказался на лестнице у самого выхода. Людей там было меньше, а сквозь щели палубного люка просачивался морской воздух. Это спасло мне жизнь. Многие из тех, кого затолкали в трюм первыми, были раздавлены или задохнулись.

Спустя примерно час после того, как мы отчалили из Кеми, разыгрался шторм. Волны Белого моря меньше океанских, но переносятся труднее — может быть, как раз из-за малой своей высоты. Самых слабых с первой же качкой начало рвать. Люди были набиты в трюм, как сельди в бочку, они блевали на себя и на окружающих. От этого плохо становилось даже тем, кто обычно не боялся качки.

Но худшее было впереди. Когда корабль стал переваливаться с борта на борт, раздались душераздирающие крики. Это гибли те, кто стоял у бортов. Тысячепудовая человеческая масса прижимала их к ржавому железу баржи и расплющивала в лепешку. Когда позже их изуродованные тела тащили по пристани, за ними тянулся след кровавого поноса.

Меня тоже рвало — просто выворачивало наружу. Страх утонуть, охвативший было меня в первые минуты качки, быстро прошел. Возникшее безразличие рисовало мне картину прозрачных холодных глубин, где меня больше не рвет и не слышно криков умирающих. Где нет конвоя. В те страшные часы я почему-то не думал о том, что даже на дне никому из нас будет не выбраться из этого мрака и смрада, что даже на конечной глубине ржавый

люк “Клары Цеткин” останется задраенным, и нам предстоит вечно плавать в собственном кале и блевотине.

В Бухте Благополучия на пристань нас выгоняли пинками. Тех, кто был не в состоянии двигаться, велено было тащить другим заключенным. И те, кто шел, и те, кто не мог ходить, чувствовали примерно одно и то же. Мы были счастливы, что остались живы, потому что ничего страшнее чрева “Клары Цеткин” никто из нас в своей жизни не видел. Тогда нам казалось, что и не увидим.

На берегу нас построили в шеренги и стали учить отвечать на приветствие начальства. Мы кричали “Здра...” командиру отделения, командиру роты и начальнику лагеря. Начальник лагеря Ногтев покачивался, пьяный, перед шеренгами и выражал недовольство приветствием, потому что мы кричали недружно. После всего пережитого в море не оставалось сил. Очень хотелось спать. Чтобы не заснуть, я глубоко вдыхал морской воздух, который был частью прежнего вольного мира. Значит, думал я, часть этого мира в нашей жизни всё же остается.

Мы повторяли свое приветствие бесчисленное количество раз. Ветер разносил его по всему острову, но от этого оно не становилось лучше. Наше *здра* Ногтев считал недостаточно бодрым, да так оно, надо думать, и было. Для бодрого *здра* нам просто не хватало сил. Кричали урки и академики, епископы и царские генералы, но их голоса не сливались в единый крик. Я стоял в первой шеренге рядом с генералом Миллером. Это был боевой генерал, прошедший Великую войну, довольно еще молодой. Вокруг нас летали чайки, я прислушался — они тоже кричали *здра*, и, видимо, лучше, чем мы, потому что

претензий к ним у Ногтева не было. Наверное, на мгновение я все-таки заснул...

Когда я открыл глаза, Ногтев уже направлялся к нам. Я был уверен, что из-за меня. Что мой невоенный вид вызвал ярость начальника лагеря, и теперь он идет со мной расправиться. Но — нет: шел он не ко мне, а к Миллеру, образцу порядка и подтянутости. Наметанным глазом Ногтев сразу заметил того, кем сам он стать никогда не смог бы. Приблизился в своей кожанке пружинящей походкой, шпана шпаной. На ходу доставал наган.

— Как стоишь перед начальником?! — заорал Ногтев. — Ешь начальника глазами, сука!

Миллер спокойно смотрел на Ногтева. Поправил вещмешок на плече, и в этом движении не было ни суеты, ни страха. С хрустом кожанки Ногтев приставил наган ко лбу генерала, несколько мгновений помедлил. В эти секунды я решил, что теперь он уже не выстрелит. Узко посаженные глаза. Пропущенный волосок на выбритых монгольских скулах. В таких случаях промедление — это отмена.

Ногтев выстрелил.

Два вертухая за ноги оттащили убитого к будке караульного. Уходя, прихватили вещмешок. Тело осталось лежать в странной позе — на боку, с неудобно подвернутой рукой. Глаза — открыты. За происходящим на берегу генерал продолжал наблюдать с прежним спокойствием.

Потом нас обучали поворотам. Мы поворачивались направо, налево и кругом, и нас обвевало теплым летним ветром, потому что даже на Соловках лето бывает теплым. В этом ветре запах сосновой смолы и таежных ягод смешивался со свежестью моря. Белое море пахло не так, как южные моря, но

свежесть его проникала в каждую клетку тела. Незаходящее северное солнце блестело на гребнях волн. Мы стояли спиной к бухте, но, когда поворачивались, этот блеск был виден и по-настоящему меня радовал. Он напоминал мне море в окрестностях Алушты, где мы с родителями отдыхали в 1911 году.

Пятница

Да, Алушта. Жили в Профессорском уголке на даче юриста Гиацинтова, который в свое время руководил магистерской диссертацией отца. Когда выяснилось, что лето 1911 (?) года семья Гиацинтовых проведет в Ницце, старик предложил пожить на его крымской даче бывшему ученику. Так мы оказались в Алуште — точно, в 1911 году.

Профессорский уголок располагался в получасе ходьбы от почтовой станции. За десять копеек туда можно было доехать на линейке, но линейкой мы почти не пользовались. На станцию ходили пешком, это была наша вечерняя прогулка. Шли мимо кипарисов, олив и кустов можжевельника, вдыхали влажный, пахучий воздух. Питерский воздух тоже влажен, но его влажность холодна и неприятна, она, я сказал бы, неласкова. То, о чем пишу сейчас, я тогда еще не мог выразить, но чувствовал очень хорошо.

Пляж. Я немисливо любил пляж. Звук прибоя — праздничный, густой, как басы в оркестровой яме. Катание мокрым по песку, чтобы потом еще раз — в воду. И затем уже окончательно на песок — с ушами, полными воды. Рядом — крики, удары по мячу. Они волнуют воду в ушах, но не пробивают ее, слышны словно издали. Переваливаешься на бок,

и водяная пробка откупоривается, невидимой струйкой стекая по уху. Резкость звуков возвращается. Посреди неба — солнце. Смотришь на него сквозь неплотно сомкнутые пальцы — вот, кажется, оно их сейчас прожжет. Края пальцев уже, между прочим, розовы.

Пляжное строительство. Мокрый песок стекает со среднего пальца, застывает в виде башенки. Со стороны моря — стены, укрепленные камешками. До них лениво — краем, пеной — докатываются волны. Стены противостоят волнам недолго, а затем их нужно наращивать, углублять перед ними ров. Быть владельцем замка — хлопотное, в общем, дело.

Владельцев двое — я и Митя Дорн, сын известного московского хирурга. Замок мы укрепляем против возможного нашествия дикарей, которое ожидается (естественно) с моря. Дикари свирепы, а речь их гортанна и непривлекательна. Людоеды. Прибывают в пирогах, съедая всех на своем пути. А нам с Митей так хорошо, так безопасно на нашем зеленом островке. Из верхушек сторожевых башен растут ветки кипариса, они красиво шевелятся на ветру.

Время от времени накатывает сильная волна. Проходясь вдоль наших укреплений, она не то чтобы разрушает, но размывает, сглаживает их контуры. Делает на несколько сотен лет старше — вроде алуштинской крепости, которая здесь недалеко скрыта в зелени. Я произношу про себя слово “Алушта” и открываю совершенно новые его качества. Какое мокрое и блестящее слово — просто арбуз на солнце. Алушта.. Митя Дорн наблюдает, как шевелятся мои губы, но ни о чем не спрашивает.

Вот мы идем с пляжа, в коротких штанах и рубашках, на головах панамы. Нам стыдно носить детские

панамы, но отец Мити объясняет, что... Я не слышу слов врача, в голове пляжный туман и усталость. Наблюдаю движения его волосатых рук с выпуклыми косточками на запястьях. Длинные, будто созданные для скальпеля, пальцы — он ими режет, режет, режет человеческую плоть. Волосы на фалангах пальцев выгорели, видны только, когда их намочишь.

Под одеждой начинает чувствоваться морская соль, она стягивает кожу. Когда опускаю голову, на шею попадает солнце. После купания его жар приятен, и я иду с опущенной головой. Под ногами гравий, веточки кипариса, изредка — жуки и гусеницы. Этых беру в ладонь, и они делают вид, что умирают. Знаю, что хитрят, но, в свою очередь, делаю вид, что верю: осторожно кладу их на траву. Сколько раз впоследствии мне хотелось притвориться мертвым — чтобы меня вот так же положили на траву и больше не трогали. Так ведь не верили, ждали смерти всерьез.

Суббота

Уже несколько недель смотрю по телевизору, как американцы бомбят сербов. Зачем, за что? Решил спросить у Гейгера, когда он придет, да забыл, потому что Гейгер пришел и сказал мне, что Валентина окончательно уволилась. Муж хочет, чтобы она сосредоточилась на их будущем ребенке. А не на Гейгере, добавлю от себя.

— Как же ее диссертация? — спрашиваю. — И почему она никогда не говорила мне о своей семье?

— Ревнуете?

Нет, не ревную. Мне больно, когда из моей жизни уходят люди. Все мои современники ушли, а тут еще и Валентина.

Да, Гейгер сообщил еще, что собирает документы для моей реабилитации. Я, видимо, как-то вяло отреагировал, потому что он пустился в подробные объяснения. Реабилитация требуется, мол, для снятия судимости, хотя он, Гейгер, понимает, что мне лично никакая реабилитация не нужна. А в самом деле — нужна ли?

Понедельник

Сегодня меня возили на телевидение. Оно находится на Петроградской стороне, недалеко от Каменноостровского проспекта — вот, оказывается, откуда идет волшебное излучение. Так странно, что загадка имеет городской адрес... Когда мы проезжали по Каменноостровскому, я узнал несколько домов начала века. В один из них я заходил незадолго до ареста, нужно было вернуть книги, которые брал читать профессор Воронин. Так странно: человека нет уже, а книга, да, продолжает жить.

На телевидении меня сначала гримировали — пудрили лицо, распыляли на волосы лак из железной банки. В мое время это называли пульверизатором, а сейчас — спреем. Спрей, конечно, короче. В английском много таких словечек — маленьких, звонких, как шарик для пинг-понга, — удобных, в общем, и экономных. Только вот раньше на речи не экономили.

В студии мне прилаживали микрофон. Сказали, что беседа пойдет в записи, а не в прямом эфире

(произношу эти слова без запинки!), чтобы я не волновался. Да я, собственно, и не волновался — в записи так в записи. Волнуешься, когда вокруг много людей, они смотрят на тебя, подбадривают или, скажем, перебивают — а тут-то чего? Тишина. Полное спокойствие. Ведущая приветлива, сидит нога на ногу. Многожды видел ее на экране — всегда так сидит. В руке ее шариковая ручка, как бы сама собой вращается вокруг своей оси. Поблескивает в свете прожекторов. Пальцы длинные, в кольцах. Понятно, что крутить в таких ручку — занятие выгрышное.

— Каждый день вы вспоминаете что-то новое?

— Каждый.

— Что вам вспомнилось сегодня?

Юбка короткая, колени видны. Отвечая, старался не смотреть ниже пояса.

— Дом на Каменноостровском. Мы проезжали мимо, и я его узнал. Там, знаете, такие перила интересные... Витые. И кованые лилии — красота неземная. Я незадолго до ареста по лестнице поднимался и касался ладонью дерева. Почему-то эта гладкость мне запомнилась, до сих пор пальцы ее чувствуют. Я шел в одну из квартир — книги отнести. Позвонил, значит. Раздался лязг замка — не скрип, не скрежет, а именно лязг — такие звуки у основательных, на полдвери, замков. Входишь — особый запах квартиры, в которой много книг. Дверь открыла хромая девушка — я почему-то сразу понял, что она хромая... А может, знал это? Лицо узкое, глубоко посаженные глаза — есть такой питерский тип. На плечах шаль. Пошла впереди меня, не стесняясь своей хромоты. И всюду, действительно, книги, а я еще четыре или пять

принес. Спасибо, говорю. Вот, говорю, просили передать. Я, наверное, много лишнего рассказываю...

— Нет, что вы, всё это страшно интересно. — Ручка в ее пальцах закрутилась еще быстрее. — Каким вам запомнился день октябрьского переворота?

— Знаете, он мне даже не запомнился. Уже потом, поняв, что это за день такой, я его в памяти восстановил. Шел, если ничего не путаю, дождь со снегом. Точнее, сначала был дождь, который перешел в мокрый снег. Я вышел куда-то, забыв дома шарф, и снежинки таяли у меня на шее, я чувствовал их таяние горячей кожей. Ветер был, ранняя темень, вы же знаете, что для Петербурга — это самое скверное время...

Я еще что-то говорил, но в какой-то момент слева от меня началось легкое движение: Гейгер сигнализировал телеведущей об окончании. Она задала еще какой-то вопрос напоследок и остановила съемку. Мне показалось, что не без разочарования — то ли тем, что Гейгер ее рано прервал, то ли моими ответами. Скорее, ответами: думаю, она услышала не то, что хотела.

После съемки меня спросили, смог ли бы я найти квартиру, в которую ходил. Мне казалось, что смог бы, — если я узнал дом, то почему, собственно... Гейгер спросил, для чего это нужно. Ему ответили, что хотели бы снять момент моей встречи с прошлым. Они бы так и назвали эту передачу — встреча с прошлым. Гейгер сказал, что не сможет отпустить меня на передачу с таким пошлым названием. Предложили дать любое другое название, но Гейгер продолжал колебаться. Он не был уверен, что такая встреча пойдет мне на пользу. Точнее, считал, что

она должна быть подготовленной. Но эти, с телевидения, его уговорили.

Когда мы подошли к парадному, я его не узнал. На месте резной дубовой двери висело нечто обитое деревянными рейками. Покачиваясь на сквозняке, издавало скрип. Один из двух телеоператоров щелкнул по рейкам пальцами. Сказал: “Вагонка”. Исчез в темноте парадного. Второй оператор предложил снять, как я подхожу к двери. Меня отвели к углу дома и попросили, приблизившись еще раз, войти. Я приблизился и хотел было открыть дверь, но вдруг заметил, что на месте ручки торчит длинный шуруп. Я замешкался: встреча с прошлым с самого начала теряла изысканность. Большим и указательным пальцами потянул за шуруп, но с первого раза дверь не открылась. Я посмотрел на свои пальцы: на них четко отпечатались следы резьбы. Взялся за шуруп еще раз и приложил усилие. Дверь открылась.

Первым, что меня встретило в парадном, был острый запах мочи. Света не было — кроме луча, исходящего из телевизионной камеры. Он бил мне прямо в глаза, и я ничего не видел. Ноги на ступени лестницы я ставил наугад. Я поднимался, и луч сбоку тоже поднимался, я споткнулся, и луч споткнулся: мы наступили на одну и ту же сбитую ступеньку. Для верности я взялся за перила. Это был по-своему эффектный жест, вполне соответствовавший встрече с прошлым, но красивого скольжения вверх не получилось. Вместо резной гладкости — ее помнила, повторяю, моя рука — я ощутил металлический остов, на котором больше не было дерева. И хотя не было видно почти ничего, ноги сами вынесли меня к нужной двери.

Гейгер позвонил, и за дверью — сначала еле слышно, потом всё громче — раздалось шарканье. На верхнем пределе звука (там, в квартире, умели шаркать) дверь отворилась. На пороге возник человек в дырявой майке. Он был лыс и, кажется, не трезв. Когда в него ударил луч камеры, зажмурился и спросил, с какой целью его снимают. Ему объяснили, что я приходил в эту квартиру в 1923 году, а теперь хотел бы войти в нее снова. Человек в майке не удивился, но сказал, что сегодня пустить меня не сможет. Сегодня у него гости. Предложил прийти завтра.

Он был по-своему прав. Для того, кто ждал без малого восемьдесят лет, один день значения не имеет. Я почему-то представил его гостей — вероятно, они тоже сидели там в майках, сидели давно. И будут сидеть впредь. Я знал, что больше сюда не приду, потому что иначе со мной останутся они, а не те, кто здесь жил раньше. Они займут место тех, прежних, в моей памяти так же, как заняли их квартиру. И я вспомнил фамилию людей, которые в этой квартире жили раньше: Мещеряковы.

Первым из парадного вышел Гейгер. Выпуская всех остальных, он держал дверь за шуруп. Стал рассказывать, что бывал в разных странах, и что повсюду там — несмотря на войны и революции — на входных дверях сохранялись старые ручки. Довольно долго держался вроде бы и Петербург. До ручек дело дошло относительно недавно, когда их стали свинчивать на металлолом. По словам Гейгера, исчезновение ручек стало зримым концом нормальной жизни. Началом постепенного, но неуклонного одичания.

Какое все-таки значение этот человек придает дверным ручкам.

Вторник

Дача профессора Гиацинтова. Даже в крымскую жару она сохраняла прохладу. Идя с пляжа, я предвкушал, как окунуться в полумрак дачи, и он остудит мое раскаленное тело. Прохлада этого дома не была связана со свежестью. Скорей — с упоительной затхлостью, соединявшей в себе аромат старых книг и многочисленных океанских трофеев, непонятно как доставшихся профессору-юристу. Распространяя солоноватый запах, на полках лежали засушенные морские звезды, перламутровые раковины, гигантский панцирь черепахи (он был прикреплен к поперечной стойке), меч рыбы-меч, игла рыбы-иглы, пробковый колониальный шлем и резные маски туземцев. Говоря о туземцах, не имею ни малейшего представления об их землях. Возможно, они были как-то связаны с Робинзоном — я тогда очень на это рассчитывал.

Осторожно отодвигая дары моря, я доставал с полок профессорские книги. Это были тома Майн Рида и Жюль Верна, рассказы о морских путешествиях, описания экзотических стран — вещи, от юриспруденции бесконечно далекие. На своей крымской даче профессор Гиацинтов собрал то, о чем мечталось с детства, но так и не состоялось. Что не предусматривалось его жизненным укладом и не помещалось в Свод законов Российской империи. В милых его сердцу странах законов, подозреваю, не было вообще.

Я сидел по-турецки в самшитовом кресле (к запахам дома прибавлялся аромат самшита!) и читал книги Гиацинтова. Листал страницы правой рукой, а левая сжимала кусок хлеба с маслом и сахаром.

Откусывал и читал. И сахар скрипел на моих зубах. Время от времени я поднимал глаза от книги и думал о том, как становятся юристами. Мечтают об этом с детства? Сомнительно. Я мечтал быть то брандмейстером, то дирижером, но юристом — никогда.

А еще я представлял себе, будто остался в этой прохладной комнате навеки, живу в ней, как в капсуле, что за окном перевороты и землетрясения, что нет там больше ни сахара, ни масла, ни даже Российской империи, а я всё сижу и читаю, читаю... Последовавшие годы показали, что с сахаром и маслом я угадал, а вот сидеть и читать, увы, не получилось. Новая жизнь к чтению не располагала.

Да, важно: на одном из шкафов стояла Фемида — в точности такая, как наша, только с весами, потому что никто в гиацинтовском доме отломать их, похоже, не решился. Сейчас мне кажется, что эту статуэтку отцу подарил именно Гиацинтов. Очевидно, что это была вещь в его вкусе.

Суббота

Я сегодня спросил у Гейгера:

— Моя мама умерла?

— Умерла, — ответил он. — В сороковом году.

Воскресенье

Сегодня мы с Гейгером были на Смоленском кладбище. Утро начали со службы в храме Смоленской Божией Матери (я начал, а Гейгер сидел снаружи),

затем пошли в часовню Ксении Блаженной. Ксению, оказывается, недавно канонизировали. Я ведь помню, как когда-то мы с мамой заходили в часовню, и Ксению уже тогда почитали: приходившие оставляли записочки. Мама сказала: “Напиши и ты”. Я написал. О чем я тогда просил?

Я и сейчас вижу маму в тот весенний день — в плотно завязанном платке, как бы даже сжавшем черты ее лица, придавшем ей строгий и несколько сокрушенный вид. Сначала было пасмурно и дул ветер, а потом где-то на самом краю небес образовалась голубизна. Мы сидели у отцовской могилы, а голубизна расширялась, пока не дошла до нашего скорбного места, где остановилась. Так мы с мамой и сидели на границе голубого и серого, и больше уж ничего на небе не менялось. Я разливал по стопкам водку, она резала тонкими ломтиками хлеб. Тыльную сторону ее ладони пронизывали нити вен, которых я раньше вроде бы не видел. Возможно, они возникли от холода. А может, это было начало ее старости.

— Отчего она умерла?

Я нарочно спросил это по дороге, чтобы ничего не выяснять у маминой могилы. Когда-то мама запрещала мне говорить о присутствующих в третьем лице, а она там как-никак присутствовала. Была бы в моих вопросах какая-то неловкость...

— От воспаления легких. — Гейгер высморкался в бумажный платок. — Говорили, что простыла она именно здесь.

Могилу мы нашли без труда, она недалеко от дорожки. С тех пор как в нее вошла мама, на поверхности ничего не изменилось. Она вошла в нее в буквальном смысле — ограда была рассчитана на два

места, и, как сказал мне Гейгер, маму похоронили над бабушкой. Стоял тот же гранитный крест, который в свое время был поставлен отцом после смерти бабушки. После его смерти на кресте высекли и его имя. Когда здесь была похоронена мама, никто уже ничего не высек, просто некому было это делать. Несмотря на отсутствие имени и могильного холмика, мама здесь, конечно же, присутствовала. Это было ощутимо.

Гейгер достал из бокового кармана фляжку и набор серебряных стопок в кожаном чехле. Во фляжке был коньяк.

— В сороковом году ей прислали извещение о вашей смерти, — сказал Гейгер, наполняя стопки. — Что интересно: диагноз — воспаление легких. Заморозив вас, чекисты проявили чувство юмора. Воспаление. Простудился в жидком азоте.

Мы выпили не чокаясь.

После этого извещения у мамы больше не осталось близких, и ей некуда было ходить, кроме как на кладбище. Она сидела здесь часами, беседовала с ушедшими. Умерла от той же болезни, что мне приписали в извещении. Случайно ли? Этого мне до встречи с ней не узнать. Думая о маме, я считал, что она могла умереть в блокаду, — потому, может быть, что последние дни читал о блокаде.

— На этом кладбище есть могилы и других известных мне людей, — сказал я Гейгеру.

Он кивнул, но ничего не ответил — видно, ожидал дальнейших моих вопросов. А я ничего не спросил. Ничего. Выходя из кладбищенских ворот, я подумал: хорошо, что мама не дожидая до блокады.

Дожила ли до нее Анастасия?

Вторник

Простуженный отец полощет в ванной горло, а я становлюсь рядом с ним на табурет. Хочу воочию наблюдать то таинственное, что рождает гортанные булькающие звуки, те странные — от урчания до стонов — переливы, которых в другое время от отца не услышишь. Так естествоиспытатель поднимается к краю кратера, стремясь застать кипение лавы перед извержением. По моему требованию мать подает мне свечу. Бурление в отцовском горле освещается пламенем лишь слегка, и в этой его сокрытости главная притягательность. Позднее, когда я подрост и уже сам мастеровито полоскал горло, я открыл, что это получается и без голоса. Получается, но — плохо, ибо голос продлевает выдох и делает его мощнее. Безголосое же журчание бессильно и жалко.

Среда

Брёвна. Большие брёвна на острове называли баланами. Тринадцать таких бревен каждому по уроку требовалось сдать чекисту в конце смены. Работали по двое — значит, всего двадцать шесть. Урок был невыполним — по крайней мере для тех, кто таким трудом прежде не занимался.

Следовало свалить дерево и очистить его от веток и сучьев, но сначала нужно было добраться до низа ствола — он терялся в глубоком снегу. Мы откапывали его голыми руками — лопат не было, даже рукавиц не выдавали. Чтобы дать согреться рукам, отгребали снег ногами — тоже голыми, по-

тому что обувью нашей были лапти, надетые на портянки из мешковины. Очистив низ ствола, мы подводили под него двуручную пилу и начинали пилить. Первоначально зубцы с промерзшего ствола соскальзывали, но, когда полотно пилы входило в плоть сосны, работать становилось легче. От одинаковых ритмичных движений время как бы исчезало, и сам ты проваливался в иную действительность. Сидя на корточках или стоя на коленях, мы пилили до тех пор, пока на рукоятях пилы не застывали руки. Тогда мы вставали и менялись местами, тем самым меняя руки. Вставать нужно было и для того, чтобы хоть немного согреть замерзшие ноги.

Ноги нередко отмораживали, и их приходилось ампутировать. Это не значит, что количество одноногих на Соловках резко увеличивалось, — такие люди обычно не выживали. Они умирали в лазарете от общего истощения или оттого, что при ампутации обрубок заматывали плохо выстиранными тряпками.

Так умер Вася Коробков, мой напарник. Он уже с полудня говорил, что не чувствует ног, но никто из чекистов его не слушал. Я видел, что Вася уже не может пилить, он не мог даже стоять, сидел в снегу у ствола. Я пытался пилить один, а он лишь висел на своем конце пилы, и рука его не двигалась. К концу смены мы предъявили только десять бревен, меньше половины. Нас оставили в лесу до утра выполнять урок, обычная мера. Вася плакал, молил чекистов позволить нам вернуться в роту. Они не позволили, стали бить его прикладами, мне тоже досталось. Их брань тонула в метели, и даже их удары в сплошном белом крошеве почти не чувствовались.

Мы провели в лесу всю ночь, но не сделали больше ни одного бревна. Вася сначала лежал на снегу, потом я его уложил на бревно, снял с него лапти и растирал его ноги снегом — они были как лед, холодные и твердые. Полночи было темно, а когда вдруг прекратилась метель, в свете луны я увидел Васино лицо. По нему еще текли слезы, но в нем уже не было ничего жалкого и плаксивого — от мороза Васины черты стали неподвижны. Его лицо утратило способность плакать или смеяться, в нем появилась значительность, даже торжественность, что ли.

Время от времени я бегал туда-сюда, чтобы согреться, только особенно ведь не разбежишься, сил нет. Утром для меня началось всё сначала — без сна и еды. Дали нового напарника и заставили работать. Васю двое заключенных оттащили в лазарет, где ему ампутировали обе ноги. Через день он умер от заражения крови.

Когда я однажды рассказывал Гейгеру о том, как мы работали в сорокаградусный мороз — без теплой одежды, без обуви, без еды, — он сказал мне, что не понимает, как в таких условиях можно было остаться в живых.

Так ведь и не оставались.

Четверг

Я покинул больницу. Рано или поздно это следовало сделать: дальнейшую жизнь в тепличном режиме больницы Гейгер считал бесполезной. Всю эту неделю занимались переездом, так что не было никакой возможности писать. Говоря о возможности,

имею в виду не столько даже время, сколько что-то другое.

Всё дело ведь в том, куда именно я въехал: в мою старую квартиру! Там, на углу Большого и Зверинской, я теперь снова живу. Оказывается, по настоянию врачей (читай — Гейгера) городские власти выкупили бывшую мою коммуналку, сделали в ней ремонт и поместили там меня. Комнату, в которой когда-то жили мы с мамой, выделили пользующему меня медперсоналу (по преимуществу сестре Анжеле), в залу поселили меня, а комнату Зарецкого оставили на случай посещения Гейгера. Всё было сделано для того, чтобы я как можно скорее вжился в новую среду.

Мой первый день в новой квартире я провел один. Как я понимаю, таким образом проявлялся такт по отношению к моим воспоминаниям — и я был за это благодарен. Ходил из комнаты в комнату. Всё было совершенно другим — полы, двери, рамы. Другой была даже старая мебель, специально купленная перед моим вселением. Я открыл кухонный кран — вода звучала совсем по-другому. В двадцатые годы она звонко барабанила по жестяной раковине, а сейчас уже не барабанила. И раковина была не жестяной. Прежним остался только объем помещений, да и в этом я не уверен. Как мне сказали, за все утекшие годы смежные квартиры столько раз обменивались площадью, претерпели столько перепланировок, что искать сходство с прошлым было просто бессмысленно.

И все-таки оно было. В свежотремонтированной квартире с новой старой мебелью это сходство проявлялось по-особому. В том, например, что

я точно знал, сколько шагов от окна до двери. В том, как с закрытыми глазами мог представить себе, *что* видно из каждого окна. Но главное: закрывая глаза, мне кажется, всякий раз я слышал голоса тех, кто здесь когда-то жил. Впервые я понял со всей отчетливостью, что потерял их, живших, навсегда.

Я лег на кровать и закрыл глаза. Мне захотелось исчезнуть, не быть, вновь замерзнуть и больше не оттаивать. Я провалился в сон, мутный и вязкий. Сон втягивал меня всё глубже и безысходнее, так что я уже не понимал, снятся ли мне тени в квартире или вовсе бродят наяву. Я знал, что в таких случаях требуется воля к пробуждению, усилие, но именно его-то я и не решался совершить, потому что уже не знал, *что* страшнее — сон или явь. Такое чувство я когда-то испытывал на острове.

Меня разбудил звонок в дверь. Это был Гейгер — как же я ему обрадовался! Если бы не он, я бы уже никогда не проснулся. Он пришел меня проведать и принес бутылку коньяка. Тихий голос Гейгера и коньяк меня успокоили. Теперь мне уже не хотелось спать — хотелось сидеть и беседовать.

Среди прочего я спросил у Гейгера, можно ли мне куда-то ходить одному. Он ответил, что даже нужно. Достал из кармана портмоне и вручил мне. Долго объяснял достоинство купюр, как за что платить и т.д. Я мало чего запомнил. Мы проговорили часов до двух ночи, а потом Гейгер позвонил домой и сказал, что останется у меня ночевать. Я подумал, что ничего о нем не знаю — ни о его семье, ни о занятиях вне работы. Наше с ним сегодняшнее сидение, оно как — вне работы или ее часть?

Гейгер лег в приготовленной для него комнате Зарецкого, а я всё еще не хочу спать — днем выпался. Сажу, пишу. Время от времени слышу, как за стеной скрипят пружины кровати. Хорошо, что это Гейгер, а не Зарецкий.

Пятница

Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний?

Суббота

Вечером стоял у окна. На подоконнике заметил оставленный Гейгером коньяк — открытый, между прочим. Сначала смотрел вниз на движущиеся машины, а потом — на небо. В небе — самолеты, так непохожие на аэропланы. Я, авиатор Платонов, пил гейгеровский коньяк и вспоминал Комендантский аэродром, которого, оказывается, больше нет. Вот как это так — нет? Как это может уйти с поверхности земли целый мир, целая жизнь с ее радостями, трагедиями, открытиями, иногда — ожиданием, иногда — скукой, стуком, там, дождя по пустым скамейкам, вихрями пыли на опустевшем летном поле?

Где, спрашивается, этот мир? Где женщины в нарядных платьях, дарящие букеты авиаторам? Где мужчины в напалзающих на носы фуражках? С тросточками, с папиросами в зубах — где эти мужчины? Где все мы, стоявшие у кромки поля, с какой такой Атлантидой пошли ко дну? Где, наконец, гигантская

надпись “Российское общество воздухоплавания”, украшавшая ангар, из которого выкатывались аэропланы?

Я ведь знал все эти машины как свои пять пальцев. Отличал их с закрытыми глазами по звуку мотора. Моноплан Блерио от биплана, скажем, Вуазена или Фармана. Знал авиаторов в лицо: Пегу, Пуарэ, Гаросса, Нестерова, Мацеевича. Не то чтобы лично их всех видел — просто дома у меня висели их портреты. Где эти портреты?

Их больше нет — почему, собственно, я и пил коньяк. Почему допиваю его и сейчас, выводя эти строки. На днях меня спросили: “Отчего вы так беззаветно хотели стать авиатором — это была мечта о небе?” Фу-ты ну-ты! Тут ведь не только небо одно, но и другие прекрасные обстоятельства — и шлем, и очки, и усы. Дорогие, опять-таки, папиросы. Кожаные, на меху, куртка и брюки. Нужно понимать, что авиаторы были настоящими кумирами, элитой.

Хотя и у кумиров были свои слабые места. Так, авиаторы пахли касторовым маслом, которое использовалось для смазки мотора. Особенно — те, кто летал в шубах. А ведь многие так летали: там, на высоте, очень холодно. Туда, впрочем, еще нужно было добраться. Я видел, как один авиатор проехал по полю, а взлететь не получилось. Еще раз проехал — тот же результат. Все смеются, разбрызгивают шампанское. После четвертой попытки ему помахали флажком и загнали в ангар.

Так вот: мечта. Ну конечно, была и мечта о небе. В сравнении с которым (небом) все мы на аэродроме такие маленькие:

А здесь, в колеблющемся зное,
В курящейся над лугом мгле,
Ангары, люди, всё земное —
Как бы придавлено к земле..

Все мы здесь как бы придавлены, вот оно что. А в небе — там всё по-другому.

Воскресенье

Сегодня впервые вышел из дому один. Двинулся по Большому проспекту в сторону Тучкова моста. Перешел Александровский проспект по подземному переходу — бывший Александровский, ныне Добролюбова. Добролюбов, между прочим, начинал как приличный человек, древнерусской литературой занимался.. На мосту — ветер, стало трепать мой (выданный Гейгером) плащ. На середине моста я остановился, подошел к парапету. Вода — черная, вокруг опоры моста бурлит — так же, как семь с лишним десятков лет назад. Тогда, после гибели Чеботаревской, жены Сологуба, я ходил на эту воду смотреть — жутко. Многие ходили.

Выйдя на Малый проспект Васильевского острова, пересекал линию за линией. Что-то, конечно, изменилось, но всё узнаваемо. На 17-й линии повернул направо, прошел квартал — Смоленское кладбище. Здесь оно, родное: не подвела память. Когда входил в кладбищенские ворота, заколотилось сердце, даже остановился на минуту. Двинулся по центральной аллее, миновал церковь — снова остановился.

Вспоминал направление. К маме — прямо. К моей. А к ее, Анастасии, маме — куда? Мы ведь вместе ходили, и не раз. Мне казалось, что налево. Я сошел с аллеи и, хрустя упавшими ветками, стал протискиваться между могилами. Читал имена. Сологуб, Чеботаревская... Надо же, только что думал о Чеботаревской — и пожалуйста, встретились, и я не удивился.

Воронина... Стало страшно, ох как страшно. Отвел глаза, а затем, словно с разбегу, опять посмотрел. Воронина Антонина. Михайловна. Это начальное "А" ее имени меня лишило дыхания, даже дочитать не смог. Вдохнул глубоко, прочитал: Антонина, не Анастасия. Анастасия, стало быть, здесь не обозначена. И что из этого следует? Боюсь, что ничего. Просто мне радостно было узнать, что в этой могиле Анастасии нет.

Когда уходил, у ворот кладбища мне встретился нищий. В этот раз желтых листьев у него не было — похоже, это был уже какой-то другой нищий. Да и на дворе, собственно, май — откуда здесь быть желтым листьям? И все же: вот поверну голову, подумалось, а сзади она... Не повернул малодушно. Подавая нищему, попросил молиться об Анастасии и Иннокентии.

— О здравии, об упокоении? — спросил он.

Начинал накрапывать дождь.

— Не знаю... В обоих случаях как-то неясно.

Жаль все-таки, что я не обернулся. Такая была минута, что всё могло произойти.

Понедельник

Майским днем 1921 года сколачивал с Остапчуком деревянные щиты. Его спросили:

— Как вас зовут?

А он:

— Остапчук. Иван Михайлович.

Так учетчица и записала — слюнявя карандаш, здесь же, на одном из щитов, на трепещущем листке. Карандаш ее был химическим, губы и язык — фиолетовыми. Волосы прихвачены косынкой, золотые под красным. С самого утра светило солнце. Случаются события совершенно незначительные, а вот запоминаются же отчего-то.

Щиты были агитационными и предназначались для плакатов. Мы делали их по трудовой повинности — на Ждановской набережной, во дворе столярной мастерской. Не знали даже, *что* на них будет висеть, какая агитация. Просто брали старые доски из огромной кучи, распиливали на части по размеру щита и аккуратно укладывали на земле. Поверх бросали две поперечных доски и приколачивали к лежащим. Затем переворачивали и по краям прибивали рамки из реек. Получался щит.

Остапчук снял китель и рубаху. Я сказал ему:

— Простудитесь. Прохладно ведь.

— Нет, — ответил Остапчук, — на солнце не простужусь. Пусть тело в кои-то веки ощутит солнце.

Тело Остапчука и в самом деле было вызывающе белым — неприятно белым, как у ночного существа.

— Да и рубашку с кителем жалко, — добавил он спустя несколько минут. — Что ж я их на работе-то портить буду.

Я не понимал опасений Остапчука: одежда его была откровенно дрянной. Но промолчал. Сам я не раздевался. Предваряя позднейшую лагерную привычку, уже тогда чувствовал, что чем на человеке больше надето, тем лучше.

В перерыве нам вынесли из мастерской по ломтю хлеба, кусочку сахара и кружке морковного чая. Свой чай Остапчук вылил и предложил сделать то же самое мне. Я заколебался было, но он настоял. Остапчук держался, как человек, твердо знающий, что делает. Содержимое кружки я тоже вылил. И тогда из лежавшего на досках вещмешка Остапчук достал бутылку с мутноватой жидкостью. По хитрому его прищурю я понял, что должен выразить одобрение. Отсутствие всякого сожаления о вылитом чае, пусть и морковном. И хотя пить самогон с Остапчуком было не ахти какой радостью, я выразил и то, и другое.

— Родственники жены из деревни прислали, — сказал мой собутыльник. — У вас есть родственники в деревне?

Нет, таких родственников у меня не было. Не было даже жены.

Остапчук с бульканьем разлил самогон по кружкам. Переносил бутылку от кружки к кружке, не поднимая горлышка, — и не пролил ни капли. В воздухе резко обозначился сивушный дух.

— За успех нашей агитации, — произнес Остапчук.

Судя по состроенной им гримасе, в этот успех он не верил. С жестяным звуком мы чокнулись. Отпивая из кружки и закусывая каждый глоток, я съел свой хлеб, а затем и сахар. Остапчук же ограничился хлебом, а сахар, несколько раз лизнув, аккуратно положил в вещмешок.

Оставшуюся часть перерыва мы с ним пролежали на досках. Остапчук рассказывал о своей жизни, а я смотрел, как по небу плыли облака. Плыли очень быстро, меняя на ходу форму и даже цвет. Появля-

лись из-за стены мастерской и вскоре скрывались за крышей соседнего дома. Каждое — воплощение текучести и переменчивости, в отличие от Остапчука, всю свою жизнь прослужившего сторожем в Пулковской обсерватории. Сейчас обсерватория не работала, и сторожить ему пока было нечего.

От запаха досок, от этого майского дня и даже от рассказов Остапчука я испытывал чувство, близкое к счастью. Всё, что я видел и чувствовал в этот день, внятно говорило о том, что жизнь только начинается. И если самые простые ее события так свежи и радостны, то чего же можно ждать от событий выдающихся, которые всё еще впереди. Так мне тогда казалось.

Вторник

Сева — мне:

— Вступай в партию большевиков!

На дворе июнь. Солнце. В Петровском парке оно пробивается сквозь листву дубов. Мы идем по тропинке, наступая на прошлогодние желуди.

— Зачем вступать?

— Готовить революцию. Революции, по Марксу, — это локомотивы истории.

Сева теперь, оказывается, марксист.

— А если, — спрашиваю, — локомотив куда-нибудь не туда пойдет? Не ты ведь им управляешь.

Сева такой возможности не допускает. Он смотрит на меня сердито — с некоторых пор появился у него такой взгляд.

— Партия, — говорит, — это сила. Нас знаешь сколько! Все не могут ошибаться.

Во-первых, могут.

Во-вторых, достаточно ошибиться машинисту.

В-третьих, речь может идти о намеренном действии. Злонамеренном.

Ничего этого я Сева не говорю, потому что не хочу его дальше сердить. В другом случае, может, и сказал бы, а сейчас не хочу. Мне дорог этот летний день, гудки пароходов на Неве, наше движение по дорожке. “Партия — это сила”. А Сева, думаю я, шагая рядом с ним, — слабый. И злится на меня от своей слабости, потому что я знаю его как облупленного. Он примыкает к тем, кто ему кажется сильным, и надеется, что они отдадут ему часть своей силы. Ничего они ему не отдадут. На мгновение мне приходит в голову, что если бы Сева стал тираном, то первым уничтожил бы меня.

Сева, где ты сейчас? В какой могиле?

Среда

Вынося утром мусор, заметил человека, рывшегося в *контейнере*. Несмотря на красивое название, помойка остается помойкой, а люди по-прежнему не стесняются в ней рыться. Этот человек тоже не стеснялся. Все приглянувшиеся ему вещи он откладывал на крышку контейнера и рассматривал их более подробно. Попросил предъявить ему мой мусор. Просмотрев всё, что я принес, неожиданно спросил:

— А вас что, правда разморозили?

Я рассказал об этом Гейгеру.

— Это — слава, — сказал он мне. — И признание.

Пятница

Сегодня Гейгер принес мне очки. Оправа массивная, а стекла простые — чтобы никто не узнавал. Можно было бы, говорит, вообще темные очки купить, но в них, во-первых, неудобно, а во-вторых, они сами по себе привлекают внимание. Меня ведь после пресс-конференции действительно на улице узнавать стали.

— Сохраните этот резервный облик, — сказал Гейгер. — Никогда не снимайтесь в очках.

Не буду. Когда во второй половине дня меня приехало снимать телевидение, я очки снял. Долго устанавливали камеру, свет, пудрили мне лицо. Само интервью шло тоже часа полтора. И всё это время я сидел без очков.

— В чем вы видите разницу между тем временем и этим?

Из-за яркого света неразлично лицо журналиста. Трудно говорить, когда не видишь лица собеседника.

— Понимаете, тогда даже звуки были другие — обычные уличные звуки. Цоканье копыт совсем ушло из жизни, а если взять моторы, то и они по-другому звучали. Тогда — одиночные выстрелы выхлопных газов, сейчас — общее урчание. Клаксоны опять же другие. Да, важную вещь забыл: никто нынче не кричит. А раньше старьевщики кричали, лудильщики, молочницы. Звуки очень изменились..

— Звуки-то — полдела, я думаю, слова изменились, вот что главное. Изменились ведь?

— Пожалуй, — отвечаю. — Пожалуй, что изменились. Только к новым словам легче привыкаешь, чем к новым звукам или, там, скажем, запахам.

— Я вас всё на исторические темы пытаюсь вывести, — смеется, — а вы мне всё про звуки да про запахи.

Кровь приливает к голове. Ох, приливает как.

— Разве вы не понимаете — это единственное, что стоит упоминания? О словах можно прочесть в учебнике истории, а о звуках — нельзя. Вы знаете, что значит лишиться этих звуков в одночасье?

Делаю глубокий вдох. Пока я наедине с собой или, скажем, с Гейгером, мне спокойно. Он понимает, что я лишился своего времени, и не говорит лишнего. Прощает мне мои истерики. Сейчас вот мягко, но настоятельно выпроваживает телевизионную группу. Из коридора слышится их недоуменное бу-бу-бу.

Когда все ушли, я надел очки и долго смотрел на себя в зеркало.

Суббота

Не знаю, как так случается, что одним и тем же именем могут обозначаться полные противоположности. Был на острове один чекист, мерзавец, каких свет не видел, — так вот, его фамилия была Воронин. Как это? Почему? Или нет никакой закономерности в имени? О каре для него я мечтал, выдумывал ее во время работы, и это придавало мне сил тогда, когда их вроде бы вообще уже не оставалось. Хотел было Бога просить, чтобы вписал его в такие списки, из которых уже никогда не вычеркивают, за попадание в которые нет прощения, но боялся, что имя его бросит тень на отца Анастасии. Вспоминал Зарецкого и то, как я желал ему зла, и то, как Зарецкий погиб, — и было мне невыносимо стыдно, по-

тому что Зарецкий, в сущности, имел человеческие черты, а Воронин их не имел. Я не буду описывать того, что делал Воронин.

Меня раз за разом спрашивают, как я выживал в лагере. Имеют в виду не только физическую сторону жизни, но и ту, что делает человека человеком. Вопрос законный, потому что лагерь — ад не столько из-за телесных мучений, сколько из-за расчеловечивания многих, туда попавших. Чтобы не позволить истребить в себе остатки человеческого, нужно этот ад хоть на время покидать — хотя бы мысленно. Думать о Рае.

Воскресенье

Проснешься, бывало, на даче рано утром — все спят еще. Чтобы никого не будить, выйдешь на цыпочках на веранду. Ступаешь осторожно, а половицы всё равно скрипят. Скрип этот спокоен, он не тревожит спящих. Стараешься бесшумно открыть окно, но рама идет туго, стекла позвякивают, уже жалеешь, что всё затеял. А распахнешь окно — радуешься. Занавески не колышутся, ни малейшего ветра. Удивляешься, каким густым и хвойным может быть воздух. По раме ползет паук. Положишь локти на подоконник (старая краска шелушится и прилипает к коже), смотришь наружу. Трава искрится каплями, тени на ней по-утреннему резки. Тихо, как в Раю. Мне почему-то кажется, что в Раю должно быть тихо.

В сущности, вот он, Рай. В доме спят мама, папа, бабушка. Мы любим друг друга, нам вместе хорошо и покойно. Нужно только, чтобы время перестало двигаться, чтобы не нарушило того доброго, что сложилось. Я не хочу новых событий, пусть суще-

ствуется то, что уже есть, разве этого мало? Потому что, если всё будет продолжаться, дорогие мне люди умрут. Безмятежно спящие в доме — умрут. Не ведающие, над какой жуткой пропастью висит наше счастье. Проснутся, проживут предназначенные им события — и конец. Понятно ведь, куда лежит курс. И меня это ожидает. Но раньше других, вероятно, бабушку, в чьих глазах я всё еще не вижу тревоги. Она-то наверняка догадывается, что наше благополучие призрачно, что оно до поры до времени.

Рай — это отсутствие времени. Если время остановится, событий больше не будет. Останутся несобытия. Сосны вот останутся, снизу — коричневые, корявые, сверху — гладкие и янтарные. Крыжовник у изгороди тоже не пропадет. Скрип калитки, приглушенный плач ребенка на соседней даче, первый стук дождя по крыше веранды — всё то, чего не отменяют смены правительств и падения империй. То, что осуществляется поверх истории — вневременно, освобожденно.

Понедельник

Был Гейгер. Перед уходом вдруг сказал, что Анастасия жива.

Анастасия — жива.

24 мая 1999 года. Анастасия — жива.

Вторник

Ночь не спал. Рано утром звоню Гейгеру, чтобы вдвоем ехать к ней. Тот с минуту прочищает горло, отвечает ржавым голосом:

— Она в больнице.

— В какой еще больнице?

— В 87-й. Это неважно. Сейчас всё равно слишком рано, туда только часа через два позвонить можно.

Я смотрю на часы — шесть утра, то-то у него голос такой.

В полдевятого звонит мне сам.

— Поездку нужно отложить. Анастасия Сергеевна пока не готова.

Я молчу. Потому что даже не знаю, что спросить. Лежит в 87-й больнице и не хочет меня видеть.

— Сказала, что не готова, — бормочет Гейгер. — Знаете, ее можно понять. Женщина...

А я не понимаю. Не осуждаю, не сержусь — просто не понимаю. Днем звоню еще раз Гейгеру.

— Может быть, она не осознала, что я — это я, в девяносто три года возможно ведь и такое?

— Память к ней действительно приходит лишь временами... — Гейгер опять переходит на бормотание. — Но про вас всё она, по-моему, осознала.

Тем более не понимаю. Что это — стеснение? Но стесняться можно через двадцать лет, ну — через тридцать, но не через шестьдесят с лишком. Такая встреча почти посмертна, тут уж всё равно, как выглядишь. Да и то, вообще, женщина ты или мужчина, в таком возрасте, мне кажется, большого значения не имеет. А вот поди ж ты — Анастасии так не кажется.

Среда

Я знаю, что она где-то рядом, но не могу ее увидеть. И как мне с этим жить? Сколько ждать? Я даже не могу ничем заняться, чтобы отвлечься от мыслей

о ней. Раньше я много читал, смотрел телевизор — изучал, так сказать, новую действительность. А сейчас лишь об Анастасии и думаю, причем не только вспоминаю — пытаюсь представить, какая она сейчас. Пытаюсь — и боюсь. Мне не за себя страшно — за Анастасию, я боюсь ее страха испугать меня.

Помню, как она сказала, что хочет никогда не умирать, — и не умерла пока. Она и стареть не хотела — может быть, и не постарела? Сомнительно... Я нарочно у Гейгера ничего о ее внешности не спрашиваю. Какая она сейчас — лысая, беззубая? Лысая не обязательно, а вот беззубая наверняка.

Волосы у нее были мягкие, как... шелк. Не хотел писать про шелк — уж как-то это в ход пошло, так все пишут. Но ведь действительно — как шелк. Как ее шелковая ночная рубашка, которой я иногда касался во время наших поздних бесед. У шелка такое свойство — спадать. Может быть, даже — ниспадать. У меня волосы жестче, они могут виться, сбиваться в вихры, топорщиться, а вот ниспадать — не могут. Потому что не шелк. Я зарывался лицом в волосы Анастасии и спрашивал шепотом — откуда у них это свойство? Какова природа этого пшеничного потока — тихого, свежего, растекающегося по плечам? Спрашивал: это принадлежит мне, является теперь и моим свойством? Конечно, отвечала она, как же иначе, ведь свойства каждого из нас становятся общими. Я подставлял под этот поток ладонь и подносил его к своим волосам. А можно подумать, спрашивал, что это мои волосы? Только так, отвечала, и можно подумать.

В 87-й больнице лежит. Где она, интересно, эта больница?

Четверг

Сегодня Гейгер рассказывал мне о том, как сложилась ее жизнь. Я его не просил об этом — знал, что вряд ли меня эти сведения порадуют, — но и перебивать не стал.

Анастасия ждала меня довольно долго — до 1932 года, потом вышла замуж за главного конструктора Балтийского завода Поздеева. В 1933 году у них родился сын Иннокентий (Гейгер смотрит на меня со значением), из чего понятно, что она думала обо мне и тогда. Но уже не ждала.

В 1938 году Поздеева обвинили в сотрудничестве с иностранными разведками и приговорили к расстрелу. В первую блокадную зиму Иннокентий умер. Как говорила Анастасия впоследствии, с этим именем связаны две ее главные потери. После смерти Иннокентия у нее не стало желания не то что бороться — просто жить, и она легла рядом с мальчиком, чтобы умереть. Ее нашли в пустой квартире, доставили в госпиталь, а затем эвакуировали в Казань.

После войны Анастасия вышла замуж за профессора-энтомолога Осипова. Несмотря на рождение в 1946 году сына Сергея (на этот раз это было имя ее отца), брак не оказался прочным. Анастасия с разочарованием констатировала, что Осипов — в соответствии с предметом своих исследований — оказался человеком мелким. В конце концов, взяв с собой сына, Анастасия от него ушла.

Пропасть, пролегла между бывшими супругами, была, судя по всему, настолько велика, что даже фамилию мальчик получил материнскую — Воронин. А может быть, дело было не столько в пропасти, сколько в беззаветной любви Анастасии к отцу.

Своего отца Сергей Воронин в детстве видел два или три раза и помнил об этом смутно. Когда же мальчик вырос, отца уже не было в живых: Осипов скоропостижно скончался в одной из среднеазиатских экспедиций.

Судьба Сергея Воронина до некоторой степени повторила судьбу незнакомого ему отца. Как это ни странно (а может быть, не странно?), он тоже стал энтомологом. Его тоже ждали поздний брак и ранний развод. В сравнении с жизнью отца имелись, однако, и свои отличия. Первое из них состояло в том, что у Сергея Воронина родилась дочь (1980), названная им, понятно, Анастасией. Второе и самое существенное было связано с тем, что исследователь не погиб в Средней Азии: по роду исследуемого им материала туда он даже не ездил.

Во время перестройки он отправился в один из университетов Соединенных Штатов Америки, да там и остался. Бывшая его жена продолжала жить в Питере, но ее дочь предпочла остаться не с ней. В четырнадцать лет (очередная ссора с матерью) она переехала к бабушке, и две Анастасии стали жить вместе. Три недели назад Анастасия старшая попала в больницу.

Анастасия старшая. Когда мы расстались, ей было 17, а мне 23. Теперь ей 93, а мне около 30 — таков, если верить Гейгеру, мой биологический возраст. Я лежал в жидком азоте, а она выросла, расцвела, увядала, дряхлая. Портился, видимо, ее характер, ругалась с коллегами по работе (кем она, интересно, стала?), мужа называла насекомым. Наверняка ведь называла — мужа-энтомолога. Как не назвать?

От того, что она осталась Ворониной, мне как-то легче.

Хочу ли я ее увидеть?

Пятница

Очень хочу.

Очень хочу ее увидеть.

Суббота

Встал рано утром, выпил кофе. Нашел в “Желтых страницах” телефон 87-й городской больницы. Позвонил. Как я и ожидал, больница далеко, на окраине — мне туда самостоятельно не добраться. Вызвал такси. Чувствовал, что сегодня поеду к ней, но Гейгеру ничего не сказал. Я туда должен явиться один.

Сел в машину, направились на юг. По старому городу ехать было хорошо, а как добрались до Купчино, душа затосковала. Непетербургская местность. Остановились у больницы — убогая, под стать району. Обшарпанная. Оконные трещины склеены полосками бумаги, кое-где вместо стекол фанера. Старые здания даже в таком состоянии не столь удручающи, есть в них, и в неухоженных, стать. А новые — непрочные, ненастоящие, сразу видно, что подделка.

Под козырьком курили двое в белых халатах, тягуче сплевывали на землю. Два верблюда. Прошел мимо них к справочному окну. Там старуха с очками на шнурке.

— Воронина Анастасия Сергеевна в какой палате?

Надела очки. Слюня палец, что-то перелистывала. А я ведь забыл спросить по телефону, когда здесь посещают. И про обувь сменную, и про халат.

— Четвертый этаж, 407-я палата.

— Когда время посещения?

— Посещайте когда хотите, — не поднимая глаз сказала.

Не размыкая губ.

— А как она теперь выглядит?

— Кто?

— Воронина.

Не ответила. Лучше мне было про халат спросить. Или про обувь.

— Там у вас, между прочим, два верблюда стоят, — показал я на вход. — Вы на вход смотрите, не на меня.

Поднялся по лестнице (лифт не работал), лампы горели через одну. В полумраке едва не налетел на искусственные растения. С этими изделиями в моей новой жизни я сталкивался уже несколько раз, в казенных преимущественно учреждениях. Красота их, на мой вкус, сомнительна, зато они не требуют освещения. Требуют, скорее, противоположного: чем меньше света, тем они лучше выглядят. Странно, что в таком состоянии я был способен о них думать. Это от волнения.

Всё, что пишу сейчас, — от волнения. От мерцающего моего сознания, не вполне еще, кажется, размороженного. Не знаю, зачем всё это написал: я ведь так никуда сегодня и не поехал. Телефон, адрес и даже фотографию больницы в “Желтых страницах” нашел, но — не поехал. Только позвонил, узнал номер палаты: 407. Поехать же не хватило решимости.

Воскресенье

День начинался, как вчера. Встал рано утром, выпил кофе. Вызвал такси и, стало быть, все-таки поехал. Больница, окна заклеенные, двое курящих у входа —

всё как на фотографии. И ведьма в справочной, очки на шнурке.

Вот он, четвертый этаж. Иду по коридору, читаю ромбы с номерами палат — где-то они есть, а где-то отломаны. Номер 407 написан на двери карандашом. Стучу. Сердце тоже стучит. Из палаты (не сразу) предлагают входить — голос женский, грубый, почти мужской. Нажимаю на дверь — ее заклинило. Тот же голос предлагает нажимать сильнее. Судорожно сотрясаясь, дверь открывается. И меня потряхивает — даже сейчас, когда пишу.

Вхожу, в нос бьет резкий запах мочи. Восемь коек в два ряда. Восемь старух: семь лежит, одна полусидит — та, которая у окна. Видимо, она и отвечала. Пытаюсь угадать, кто из них Анастасия.

— Вы к кому? — спрашивает сидящая.

Да, она отвечала: редкий голос. Только представить, что такой звучит рядом всю жизнь...

— К Анастасии Сергеевне.

— К Ворониной? А вы ей кто будете — внук? Или просто родственник?

Хороший вопрос, главное — выбор есть. Смотрю на вопрошавшую. Лица ее против света не видно, один лишь голос.

— Просто родственник.

Старухи в кроватях начинают двигаться, некоторые приподнимаются на локтях. С одной из тумбочек падает жестяная кружка, я поднимаю. На краю кружки, там, где ее касаются губами, засохшая хлебная каша.

— А если родственник, так ухаживай, — советует голос. — А то бабка второй день в говне лежит, и никто не подойдет. — И неожиданно сбавив громкость: — Бабушек мыть никто не хочет.

Не хочет. Глаза мои привыкают к освещению, и я начинаю различать черты говорящей. Никакой в них свирепости. Деревенский вздернутый нос, идущие от него ярусами морщины. Седые волосы из-под платка.

— Ты, Катя, не шуми, — раздаётся с другой кровати. — Человек первый раз пришел, а ты на него набрасываешься.

— А где раньше был? — интересуется Катя.

— Где был — там нет. (Уж это, замечу, точно.) Внучка-то вчера приходила? Приходила. А помыть, кстати, и сестра могла бы.

Катя жуёт губами, словно бы взвешивая и такую возможность.

— Дождешься тут от нашей сестры, — голос ее звучит почти примирительно. — Без сотенной пальцем не пошевелит. Бухает сейчас, небось, в ординаторской.

А я всё еще не представляю, кто здесь Анастасия. Мне не указывают на нее, потому что думают, что я ее знаю. Наконец Катина собеседница машет рукой в сторону одной из коек:

— Не слушайте нас всех. Идите к своей бабушке.

Я понимаю, куда нужно идти, и делаю первый шаг. В сущности, я понял это с первой секунды, но боялся подтверждения. Теперь подтверждение получено, и я иду. Не поднимая глаз на Анастасию, рассматриваю прикроватную тумбочку. Бутылка минеральной воды, крем в тубике, стакан со вставной челюстью. Это челюсть Анастасии.

Анастасия. Лежит с закрытыми глазами. С полуоткрытым ртом. Тяжело дышит. Порою при дыхании образуются пузыри и тут же лопаются. Левая рука на одеяле, сжата в кулак, словно грозит кому-то. Кому?

Большевикам, убившим ее отца и погрузившим в азот меня? Жизни вообще? Я беру эту руку за запястье и подношу к губам. Сколько раз делал это — едва касаясь, нечувствительно почти. Исследуя каждую линию на сгибе, ощущая невидимые волоски. А теперь рука другая, совсем другая. Мокра от моих слез. Кулак медленно разжимается: грозить поздно. Да и некому.

— Вы бы ее все-таки... помыли.

Это Катя.

— Я готов. Только не знаю, как это делается...

— Все когда-то не знают. Подскажем.

Она бы и на Соловках не пропала.

Мне велят вытащить из-под матраса клеенку и развернуть ее. Взяв Анастасию за плечо, переваливаю на бок (плоть ее легка) и подкладываю клеенку. Анастасия в памперсе (так, кажется?) — я видел такие по телевизору на младенцах.

— Не бойся, — командует Катя. — Ко всему приходит привычка.

Я не боюсь. Вспоминаю, как мечтал увидеть наготу Анастасии. Бросаю взгляд на ее лицо. Глаза Анастасии приоткрываются, но сознания в них нет. Так даже лучше.

— Снимай. Хорошо, ее внучка эти штуки стала покупать, а первое время пеленками обходились.

Я расстегиваю памперс. Со звуком отлипания отделяю его от плоти. Запах. Если без прикрас, то сильная вонь. Ну и что, что вонь? На Соловках я и не то вдыхал и чего только не касался. Передо мной лежит единственный близкий мне человек, и если состояние его таково, то это нужно принимать как данность. Счастье, что он есть, что продержался до моего возвращения к жизни. Я сворачиваю памперс и аккуратно кладу на пол.

— Теперь достань из-под койки судно, поставь на клеенку. Приподними бабку за поясницу и положи попкой на судно. — Катя встает и, шаркая, нащупывает тапки. — Внучка-то одна справляется. И ты учись.

Катя на минуту выходит из палаты и возвращается с лейкой и губкой. Вода в лейке теплая, судя по цвету — с марганцовкой. Как ни странно, мне помогает даже Катин полководческий тон, он не дает расслабиться. Лево́й рукой я понемногу лью воду, а правой мою у Анастасии в паху. Осторожно так вожу губкой.

— Ноги ей шире раздвинь, иначе не промоется!

Не молчи, Катя, не молчи, потому что в тишине это делать невозможно. Под струей воды в судно летит кусок кала.

Вытираю Анастасию полотенцем. Вытираю клеенку. Выношу памперс, мою судно. Велено намазать всё кремом, чтобы не было раздражений. Выдавливаю на пальцы крем из тюбика и касаюсь ее паха. Чувствую, как дрожит рука. Когда-то это было цветком, которого я так желал.

Понедельник

Последний день мая, завтра лето. Пишу в начале первого ночи: собственно, уже лето. Ехал днем к Анастасии, вспоминал летнее.

Встречаю ее случайно на углу Каменноостровского и Большого. Вы куда? Домой. И я домой. Идем с ней по Большому проспекту, солнце в глаза. Ее деревянные подошвы отдаются эхом. Она старается ступать осторожно — все равно грохот, такая это обувь. На углу Ординарной откуда ни возьмись — пролетка. Я в последний момент выставляю руку,

удерживаю Анастасию. Она касается моей руки грудью. Что-то во мне обрывается — от прикосновения, но еще больше — от страха, что она могла под эту пролетку попасть. Солнечным днем. В теплом балтийском ветре. Она бы лежала на мостовой, а ветер бы шевелил ее платье. Неловко вывернутые ноги, стертое дерево подошв. Я всегда за нее боялся: вдруг что-то произойдет с ней, воздушной, непрочной? Она оказалась прочнее, чем я думал. Жизнь сделала ее такой.

Подходя к дверям палаты, столкнулся с Настей. Я еще на лестнице ее заметил и понял, кто она. Шел за ней в двух шагах, и сердце колотилось, как вчера. Я еще не разглядел ее как следует, но уже понял, что похожа: волосы, походка — всё как у Анастасии. Наверное, я этого ждал, может быть, надеялся даже, только она действительно оказалась похожа — когда обернулась. У двери. Заметив меня.

— Вы — Иннокентий?

Я кивнул. Боялся, что мне откажет голос.

— А я Настя. — Она подала мне руку. — Я как только вас по телевизору увидела, сразу поняла, что вы придете.

Улыбнулась. Я поймал себя на том, что всё еще держу ее руку. Рука прохладная. Худая, чувствуется каждая косточка.

— Об Анастасии мне рассказал врач...

— Знаю. Это я вашему врачу сообщила. — Ее рука выскользнула из моей. — Подумала, что для вас это важно.

Важно... У нее улыбка, как у Анастасии. Говорят, дети идут не в родителей, а в дедушек и бабушек.

Вонь в палате уже не била в нос, как вчера. Она не стала меньше, просто перестала чувствоваться.

Анастасия по-прежнему была без сознания, и все-таки мне показалось, что сегодня она лучше, чем вчера. Глаза ее были открыты. Во взгляде не было фокуса, он бесцельно двигался по комнате, но — двигался.

Мы с Настей мыли Анастасии голову. Для начала убрали подушки и обернули ей шею полотенцем, чтобы не затекала вода. Потом я принес тазик с теплой водой. Мы осторожно поставили его на место подушек и приступили к мытью. Я держал Анастасии голову, а Настя, выдавив на ладонь шампуня, массирующими движениями намыливала волосы. Они были короткими, почти ежик. Это — вкупе с немигающим взглядом — придавало ей вид законченного безумия. Когда, смывая остатки шампуня, я лил воду из лейки, Анастасия несколько раз моргнула, но во взгляде ее ничего не изменилось.

— Помню ее волосы длинными, — сообщил я за чем-то Насте.

— Ей их в больнице остригли — чтобы легче было мыть.

Потом губкой мыли тело — подкладывая клеенку и полотенца. Настя стригла ей ногти. Анастасия не сопротивлялась, но и участия в этом не принимала.

— Еще несколько дней назад бабушка была, в общем, в порядке, — сказала Настя, — даже здесь, в больнице. Успела еще отказаться от встречи с вами. А теперь — сами видите, как..

Выйдя из палаты, мы с Настей наткнулись на журналистов. От многочисленных фотовспышек я зажмурился.

— Что вы почувствовали, увидев свою возлюбленную через много десятков лет?

Я сжал веки еще сильнее и больше их не разжимал. Так я иногда поступал в детстве, меня это от многого спасало. Таким я и увидел себя в вечерних новостях.

Вторник

Утром шел дождь. Налетал на стёкла, будто кто-то бил по ним направленной струей. Моя квартира на углу: ветер то с одной стороны, то с другой. Лежа на кровати, я смотрел, как тонкими прозрачными волнами вода стекала по стеклу. Когда волны разноцветно замигали, я от любопытства встал. Внизу милицкий автомобиль, авария. Тут же вспомнил другую аварию — два ломовых извозчика, вот на этом же месте, тоже под дождем. И я так же у окна стоял — в каком это было году? Всё на свете когда-то уже было... Прижался лбом к стеклу. Столкнулись два автомобиля. Не так чтобы сильно, просто фары посбивало. И двое под дождем — в костюмах, пригалстуках, целехоньки после аварии, знай себе ругаются. Как, между прочим, ломовые извозчики.

Кратко заезжал Гейгер, привез денег. Он их мне не в первый раз привозит, а я всё не спрашиваю, откуда они. Хотелось бы надеяться, что от правительства, в счет компенсации — или от Думы, там, от президента. Есть, интересно, у них такая графа — на разморозку населения? И деньги-то такие забавные, маленькие в сравнении с прежними. Нужно будет, конечно, спросить, откуда они.

Приходила сестра Анжела — помыла полы, сделала мне укол. Она, по моей просьбе, приходит теперь не каждый день, так что с полами всё было уместно.

А вот укол, как мне представляется, сделала из чистой вредности, потому что какой смысл в уколах, которые делаются нерегулярно? Так просто уколола в зад, чтобы не очень-то возносился. Ведь сначала я предпочел, чтобы она не ночевала, а затем и вовсе попросил, чтобы приходила пореже, — ей, разумеется, обидно. Интересно, в качестве кого Гейгер ее ко мне приводил? Она меня сильно раздражает.

В час дня я вызвал такси. Сегодня мы с Настей договорились встретиться у входа в больницу. В два, сразу по окончании ее занятий в университете. Настя учится на экономическом факультете. Для девушки, на мой вкус, выбор необычный, но жизнь-то изменилась, совершенно изменилась. Что я знаю об этой жизни, чтобы говорить о необычности?

У больницы был в половине второго. Гулял вокруг здания, пытаюсь угадать окна Анастасии. Помнил, что в ее палате стекла были с трещинами, проклеенными полосками бумаги. Но больничные окна пестрели такими полосками сплошь и рядом — как здесь угадаешь? В памяти всплыла, конечно же, сказка Андерсена, меловые кресты. Мне ее бабушка перед сном читала. По мере продвижения в глубь сказки чтение лишалось интонаций, затем звука. Из нас двоих бабушка засыпала первой.

Настя пришла ровно в два, вот это точность. Благоухала незнакомыми ароматами — тонкими, почти неуловимыми. В прежние времена женщины пахли иначе — как тут не вспомнить о волосах Анастасии? Может быть, я старомоден, но та волна свежести, которая... Я, кажется, запутался.

Речь вот о чем. Когда мы сели на лавку надевать бахилы и Настя слегка откинулась назад, расправляя эту странную обувь на сандалиях, мое лицо оказа-

лось у ее затылка: сквозь тонкий Настин парфюм пробивался запах волос Анастасии! Я невольно приблизился к ней, и тут она обернулась, словно всё почувствовала затылком и поймала меня на этом движении. Я покраснел: почувствовала и поймала. И может неправильно всё истолковать.

Нас с Настей ждал сюрприз: Анастасию перевели в отдельную палату. К этой палате, спустившись за нами в холл, нас повел главврач больницы. Крупная фигура: большеголов, коренаст. А все-таки, подумалось, не кривоног. На костюм-тройку наброшен белый халат. На шее стетоскоп — кого он, интересно, слушает в своем кабинете?

— Я главный врач этой больницы, — сказал он и коснулся таблички на халате: “Главный врач”.

От него пахло кофе, так что понятно было, от чего его оторвали. И папиросой пахло. Спешно, надо думать, растапывал ее в пепельнице, когда ему снизу позвонили. А почему, спрашивается, звонили? Отчего в отдельную палату перевели? Истолковали закрытые мои глаза как выражение ужаса, как полное неприятие бытовых условий больницы?

— Даже в наших непростых условиях мы решили предоставить Ворониной отдельную палату. Решение было естественным, если учесть...

Обращался он в основном ко мне и лишь изредка к Насте. Я кивал, но не слушал, замороженный ритмом пролетавших мимо нас дверей. Одна из дверей открылась, и мы увидели Анастасию. На какой-то технически совершенной кровати, не кровати даже — самоходной установке со множеством ручек, кнопок и колес. В белоснежном белье. В центре палаты.

Это было странное зрелище. Когда Анастасия лежала в переполненной вонючей палате, она была ча-

стью обычной жизни. Плыла, так сказать, в потоке повседневности — скорбном, но естественном. Теперь она уже не была частью общего. Была противопоставлена общему, как всякая вынутая из жизни вещь. Памятник в центре площади, гроб посреди храма. И области телесных отправлений Анастасия была уже тоже чужда. Когда Настя достала свежие полотенца, ей сказали, что бабушку больше не нужно мыть, они, мол, сами помоют.

Бабушку.

Среда

Проснулся — солнечно. Открыл окно — теплынь. Около одиннадцати позвонила Настя и предложила через час встретиться у метро “Спортивная”. Это метро, оказывается, рядом с моим домом, возле Князь-Владимирской часовни. Когда я вышел, Настя там уже стояла. С серой холщовой сумкой, через сумку переброшена кофточка. Плечи открыты. Волосы распущены — как у Анастасии, когда без малого век назад она посреди ночи выходила в кухню. Я (джентльмен) взял у Насти сумку, на ее плече осталась розовая полоска. Вокруг полоски едва различимы пятнышки веснушек. Может быть, и у Анастасии были такие — я ее плеч не видел. Хотя нет, видел — позавчера.

Мы вошли в метро, и Настя купила жетоны.

— Никогда еще не ездил в метро...

— Вы не много потеряли.

Мы спустились по бегущей лестнице, сели в подземный поезд, вышли из него, пересели в другой поезд, и всё — впервые. Кажется, я действительно не

много потерял. Особенно раздражает то, что повсюду работают динамики — реклама. От плакатов можно отвернуться, а от звука куда уйти? Я зажал уши — Настя смеялась.

Покинув метро, оказались на дорожке, выложенной из бетонных квадратов. Я впервые проходил этот отрезок пути пешком. Слева тянулся ряд некрашенных гаражей, а справа — пустырь с посаженными по линейке чахлыми березками. Среди засохшей, со следами автомобильных колес, грязи эти березки не радовали глаз. Жизнь их была мучением. Их убогое кокетство было безотраднее ржавчины гаражей: те, по крайней мере, ни на что не претендовали. Мы шли по Петербургу, которого я еще не знал. Минут через двадцать перед нами выросла больница.

Анастасия была нарядна, но по-прежнему безучастна. Иногда она открывала глаза, и казалось — вот-вот заговорит. Но не говорила. Из завалившихся ее губ вырывалось только затрудненное дыхание. Несколько первых минут (стеклянно-металлическое звяканье подноса) в палате хозяйничала медсестра, а потом ушла. Мы сидели на стульях слева от Анастасии. Я взял ее за руку и легонько сжал. Анастасия открыла глаза. И закрыла. Ее рука осталась в моей. Мои пальцы осторожно раздвинули ее пальцы — мы когда-то любили так делать.

Убедившись, что все покинули квартиру, я по утрам заходил в ее комнату и садился рядом с кроватью. Она, конечно, слышала, как я вхожу, как беру стул, — уж я-то видел, что веки ее дрожали. Мы оба знали, что она не спит, но нам был дорог момент, когда ее голубые глаза открывались. Нам обоим хотелось, чтобы первым, кого она увидит, был я. Я на-

клонялся и целовал ее глаза, и чувствовал губами ресницы. Анастасия доставала руку из-под одеяла и медленно, как бы спросонья, двигала ее по направлению ко мне. Худую, с синими прожилками, как особую постельную змейку. Наши пальцы соединялись, сжимали друг друга — иногда до боли, до хруста, и свободным у меня оставался только большой палец, и вот им я, невзирая на боль, или, может быть, как раз из-за нее, ласкал руку Анастасии.

— Бабушка как-то говорила, что причиной катастрофы был некто Зарецкий, — тихо произнесла Настя. — Что с его доноса все беды и начались.

— Можно сказать и так...

Я почувствовал ее взгляд.

— А можно и по-другому?

— Не исключаю, что всё началось еще раньше. Непонятно только, когда именно.

По дороге к метро Настя взяла меня под руку. И мне это было приятно.

Четверг

Снова встречались с Настей у “Спортивной” и ездили в больницу. Я забыл надеть очки, и в метро меня узнали. Попросили автограф, даже сразу несколько. Мы вышли на ближайшей станции, я долго рылся в сумке — очки все-таки нашлись. Приехали в больницу — там телевизионщики, Настя их еще издали заметила. Я снял очки, чтобы не раскрывать своего запасного облика. Мы прошли сквозь строй журналистов, и я не произнес ни единого слова. А когда уже вошли в больницу, навстречу мне двинулась темноволосая девушка с микрофоном. Я мог

бы и здесь пройти мимо, но остановился. Что-то в ее лице меня расположило.

— Вы ее любите так же, как раньше? — спросила она.

Да, хорошее лицо. С таким лицом только и можно задавать подобные вопросы. Те, что стояли на улице, тоже вошли в приемный покой и окружили нас.

— Люблю.

Так же, как раньше?

Пятница

Уже просыпаясь, понял, что заболеваю. Ноющая боль в суставах, скулы ломит. Слезятся глаза. Позвонил Гейгеру, сказал, что у меня, кажется, инфлюэнца. Грипп, согласился Гейгер. Не велел выходить из дому. Минут через сорок приехал, уже с лекарствами.

— Понятно было, — объявил, — что поездки в метро этим кончатся, потому что у вас к нынешним инфекциям еще нет иммунитета. Но нужно пройти и через это. Важно только не ездить пока в больницу — это опасно как для вас, так и для Анастасии. Для нее, пожалуй, даже опаснее.

У меня еще нет иммунитета, а у нее, видимо, уже. После ухода Гейгера я попытался позвонить Насте, но не застал ее дома. В назначенное время вышел к часовне у метро. Настя стояла, а я подходил к ней неуверенно, даже боком как-то, прикрывая ладонью рот. Меня идущего она заметила издали и за моим приближением следила чуть удивленно. Большим пальцем (жест неуверенности) завела прядь волос за ухо. Не доходя пары-тройки шагов, я объяснил ей, в чем дело. Всё поняла, договорились созвониться.

Дома меня ждало одиночество. Утренний приход Гейгера не в счет: заботиться обо мне — его врачебный долг. Да, он выполняет свой долг в высшей степени ответственно, даже дружески, но это ведь не сравнить с тем, как я когда-то сидел у постели заболевшей Анастасии. Даже лежал. Читал ей “Робинзона Крузо”, а она держала мою руку. И сейчас, когда мы встретились спустя вечность, наши руки вновь соприкасались. Анастасия, как и тогда, лежала в постели и опять была больна. Правда, болезнь (болезнь?) сейчас другая, но ведь и Анастасия другая. Очень изменилась.

И всё же оттого, что она есть, легче. Ее присутствие на земле — свидетельство тому, что прежняя моя жизнь мне не приснилась. Улегшись в кровать, я могу закрыть глаза и думать, что вот сейчас Анастасия подойдет ко мне, возьмет за руку и поделится своей прохладой. Это ведь можно еще представить: встанет с больничной койки, приедет сюда и возьмет за руку. При жизни человека ничего невозможного нет — невозможность наступает только со смертью. Да и то не обязательно.

Воскресенье

Весь день вчера провел в полусне. Гейгер обеспокоен: он не ожидал, что протекание гриппа будет столь тяжелым.

— Расплачиваетесь за то, что все эти десятилетия не болели, — сказал он мне. — Процесс адаптации.

Красиво...

Трижды в день ко мне ходит медсестра. Не Анжела — скучная пожилая тетка, мечта больного. Измеряет температуру, дает таблетки. Иногда укол делает.

Всякий раз звонит Гейгеру (слышу, как он на том конце провода комариным голосом сокрушается). Он у меня сейчас ежевечерний гость.

Последний раз я болел на острове — там, конечно, уход был другой. Другой. Вечером измерил у лекпома температуру — 39,5.

— Освободите, — прошу, — на завтра от работ.

— Не могу, — отвечает, — процент освобожденных выбран. Просто пойдешь на легкую работу. Раз 39,5, я похлопочу.

Утром едва встал, слабая барачная лампочка в глазах расплывается. Темень, ноябрь, солнце еще часов через пять взойдет — и какое оно здесь, солнце? Хуже лампочки. На разводе не верю ушам: рытье канавы. И нет сил идти. Нет сил даже возразить. Совсем плохо, хотя, если сравнивать с тифом, может быть, и полегче.

Стою по колено в воде. Из обуви — лапти, но в лаптях еще труднее, их перед работой в канаве снимают. Ногами чувствую ледяной холод, остальным телом — жар. Такой жар, что сейчас вода у моих ног закипит. Ступнями скольжу по болотной торфяной земле. Вынимаю ее из воды лопата за лопатой. На поверхность она выходит с чавканьем. Как бы прощаясь со своей средой. Истекая черной жижой — лопата за лопатой. Я больше не могу. Лежу на краю канавы.

Воронин. Вижу, что идет Воронин с револьвером, а у меня нет сил даже пошевелиться. Да, похоже, что сейчас и застрелит. И всё для меня окончится — канава, побудка, баланда. Хорошо Зарецкому — у него ничего такого не было. Тюкнули его тяжелым предметом, он даже не мучился. А меня били на допросах, душили в трюме “Клары Цеткин”, чтобы, обессиленного, прикончить на краю канавы.

Один выстрел — и меня нет. Нет больше бабушкиного чтения во время болезни, нет дачи в Сиверской, Анастасии нет. Вот сколько я один за собой поташу. А может, всё где-то и останется — в какой-то части мироздания, не обязательно ведь в моей голове — найдет себе безветренную гавань и будет в ней существовать.

Воронин ударил меня ногой, и мне на удивление не было больно. Оттого, может быть, что я уже не очень соотносил себя со своим телом. Ну, ударил... Кто-то сказал Воронину, что я болен, и он ударил меня еще раз. Мне бы глаза закрыть, будто потерял сознание, — отчего я их не закрыл? Или в самом бы деле потерять сознание, потому что в полном сознании воспринимать происходящее трудно.

Воронин поступил так, как поступал всегда. Побоями заставил одного из з/к помочиться в кружку. Поднес кружку к моему лицу и предложил либо выпить ее, либо идти работать. Взвел курок и считал до трех...

Говорят, тому, что делалось в концлагерях, нет срока давности. Отправлю это описание в прокуратуру, полицию или, там, верховный суд — пусть послушают о Воронине. Пишу и чувствую, как растет моя температура. В голове шум. Дойду до Страшного суда, предъявляя Воронину не столько издевательства и убийства, сколько то, что присвоил самую дорогую мне фамилию. Придают ли *там* значение фамилиям?

Я действительно потерял тогда сознание. Это спасло меня от выстрела, и я оказался в лазарете. По излечении же был отправлен в штрафизолятор на Секирную гору — за отказ от работы.

Понедельник

Сегодня Гейгер объявил, что сестра Анжела больше ко мне ходить не будет. Что ж, это разумно. Понимаю, зачем ее ко мне присылали, но не считаю это правильным. Мне не нужна такая вульгарная сестра.

Вторник

Сегодня по одному из телеканалов показывали фильм обо мне. Он был собран из отрывков интервью, что я давал последнее время. Отрывки перемежались соловецкой кинохроникой под грустную музыку. Музыка заменяла все тогдашние звуки и слова, которые были, конечно же, немзыкальны. Особенно слова.

Говорят, неполная правда — ложь. Лживость этой кинохроники даже не в том, что это прямая туфта, снятая по заказу ГПУ. Никого в лазарете я не видел в чистом белье, никто в комнате отдыха не читал газет, не играл в шахматы и т.д. Дело, повторяю, не в этом. Просто черно-белые фигуры, что мечутся по экрану, странным образом перестали соотноситься с действительностью, они — лишь выцветшие ее знаки. Такие же, как наскальные рисунки в пещерах — животные и человечки — забавные, напоминают настоящих, но о жизни тогдашней не говорят ничего. Смотришь на них, но ясно только то, что бизоны были четвероноги, люди двуноги — как, собственно, и сейчас.

А соловецкие звуки были — удар головой о нары, когда заходил вертухай и хватал з/к за волосы, и бил, бил его о стойку нар, пока не уставал; или щелканье гнид, когда их прижимали ногтем. Были и запахи. Раздавленными клопами пахло. Немытыми тела-

ми — мы ведь работали ежедневно на износ, но почти не мылись. И всё это вместе сплеталось в общий запах отчаяния, цвет и звук отчаяния, потому что это только кажется, что они сокрыты в душе и недоступны органам чувств.

Существовали на острове, конечно, и шум леса, и колыханье папоротников, и запах сосновых шишек, и небо. Если приставить к глазам руки на манер бинокля, закрыв окружающее, то можно было представить себе, что это не над Соловками небо, а где-нибудь над Парижем или по меньшей мере над Питером. Такие вещи рождали не то чтобы надежду на перемену участи (ее не предвиделось), они как бы удостоверяли, что элементы разумного на свете всё еще присутствуют — если не у людей, то в природе. Здесь и скрип двери на ветру (вялый такой скрип, а затем вдруг энергичное хлопанье), и запах костра на лесозаготовках. На костер посмотришь минуту, подбросишь щепку-другую, и вроде как легче. Горит, как ему и положено. Человеческие законы можно отменить, а физические, получается, нет.

Я следил за кадрами кинохроники (ее давали под стилизованное стрекотанье) и многое узнавал. Святые ворота узнал — ах, как у меня екнуло сердце, когда я в них вошел впервые. Я ведь, ступив с корабля на пристань, уже в лагере был, а заключение свое осознал только, когда вошел в ворота. Написал по ошибке — злокючение, тоже неплохо. Начальника узнал, мерзавца Ногтева. Кстати, о мерзавцах: показалось мне, что мелькнул где-то и Воронин. Он, не он?

Взять Воронина — кто он сейчас? Груда костей — если его, конечно, не сожгли. Тогда-то какой страх на всех наводил, а теперь — прах, серая

фигурка в кадре. Вот я его мерзавцем назвал, продолжаю ненавидеть. Только ведь, если это сейчас происходит, то, получается, ненавижу его нынешнего, а он уже понятно кто. Кого же я тогда ненавижу? Если же я всё это чувствую к нему тогдашнему, значит, он — не прах? Может быть, оставшись в моей памяти, Воронин стал частью меня, и я ненавижу его в себе?

Среда

Звонила Настя, спрашивала, как мое здоровье. Приятно, что она этим интересуется. Ловлю себя на том, что скучаю по ней. Я спросил у нее, как здоровье Анастасии. Не могу заставить себя говорить — бабушки, хотя Настя ее только так и называет. Всё в порядке, отвечает, то есть — как всегда.

Вот Настя говорила, что все наши беды начались с Зарецкого. Но, в отличие от Воронина, я не чувствую к Зарецкому ненависти. Жалость чувствую — смешанную, может быть, с презрением, но — жалость. Как он своей колбасой, запершись, давился — его ведь только пожалеть можно. Уж не знаю, что в его слабых мозгах замкнуло и почему он на профессора донес... Важно, в конце концов, другое: он не был людоедом по призванию. Как, например, Воронин. Ужасно, что он был убит.

После фильма звонят с просьбами об интервью — я отказываю. Первые недели после, так сказать, открытия меня — соглашался, но вскоре понял, что повторяюсь. Стал пытаться говорить то же самое по-другому, но с каждым разом получалось всё хуже. Поделился этим с Гейгером. Он ответил, что в по-

вторении нет ничего зазорного, все, мол, известные люди так делают, так что можно смело продолжать. Современная пресса, по его словам, устроена по принципу рекламы — чем больше повторяешь, тем лучше. Развил целую теорию, согласно которой стремление к новому в человеке уступает привязанности к старому. Особенно ярко это выражено будто бы в детях, которые всегда охотнее перечитывают, чем читают. Может, оно и так, всем новинкам я всегда предпочитал “Робинзона Крузо”... Но в интервью стал отказываться.

Из всех звонивших я решил пойти навстречу только одной барышне — голос у нее дрожал. Вот что делают с мужчинами дрожащие голоса. Ответить, правда, согласился по телефону и всего на один вопрос. Задавала она его мучительно долго.

— Какое главное открытие вы сделали в лагере?

Вопрос, в сущности, банальный, как всё, что содержит слова “главный”, “самый” и т.п. Странно, что нужно было так долго бляеть, чтобы это спросить. Но чем банальнее вопрос, тем ведь сложнее на него ответить.

— Я открыл, что человек превращается в скотину невероятно быстро.

Четверг

Сегодня мне позвонили из фирмы “Замороженные продукты”. Предложили рекламный контракт. Я повесил трубку.

В очередной раз печатал на компьютере — набрал несколько страниц из “Робинзона Крузо”. Пишу я все-таки гораздо быстрее.

Пятница

Сегодня неделя, как я болею. Дело, кажется, пошло на поправку. Температура невысокая, около тридцати семи, но сильная слабость. С утра заходил Гейгер, он настаивает на постельном режиме. Впрочем, я лежу и без его настояний: сил нет. Когда я ему сообщил о замороженных продуктах, он смеялся. Сказал, что время нынче прагматическое, что надо было хорошо подумать, прежде чем отказываться. Уходя, еще раз посоветовал внимательнее относиться к рекламным предложениям, и по лицу его я не понял, шутит он или нет.

Звонила Настя, и от этого мне стало еще более одиноко. Разговаривала участливо, но позвонила, я думаю, из вежливости. Это ведь чувствуется по тону. А на что еще я мог рассчитывать? Нет, я не претендую на особые с ней отношения, я не то имею в виду. Просто чувствую, что всем здесь чужой. У них своя жизнь, своя манера говорить, двигаться, думать. Они ценят другие вещи. И не то чтобы их вещи были хуже или лучше моих, просто они — другие. К тем, кто живет сейчас, я пришел, как человек с другого континента, может быть, даже — с другой планеты. Они интересуются мной, рассматривают, как музейный экспонат, но своим не считают.

Одиночество — это ведь не всегда плохо. Находясь на острове, я только и мечтал, что об одиночестве. После отбоя я засыпал очень быстро, просто падал на нары, но перед окончательным провалом в сон протекало несколько пограничных минут, и это было временем моих мечтаний.

Я представлял себе Робинзона Крузо бредущим вдоль полосы прибоя, переносился на его остров со

своего и, если даже не менялся с ним местами (зачем ему мой остров?), то сменял его на несколько мгновений в той благословенной необитаемой земле. Босыми ступнями я ощущал лиственный ковер в тропическом лесу, где даже в жару свежо, а зимой зелено, потому что там нет зимы. Ковер сочно хрустел под ногами. Я поворачивал к себе огромные, похожие на ковши, листья и с наслаждением выпивал из них влагу, скопившуюся после ночного дождя. Она проливалась неравномерно, попадая мне в нос, в глаза, скручиваясь на лету в тугую сверкающую косу.

Я не разговаривал ни с кем, кроме попугаев, да и те говорили мне только то, что я хотел от них услышать. Здесь не было ни принудительных работ, ни конвоя, ни даже моих товарищей заключенных, униженных, озверевших, — всего, что уже не соотносилось с человеческим образом жизни и чего не хотелось видеть. Те, что создали соловецкий ад, лишили людей человеческого, а Робинзон — он ведь, наоборот, очеловечил всю окружающую его природу, сделал ее продолжением себя. Они разрушали всякую память о цивилизации, а он из ничего цивилизацию создавал. По памяти.

Понедельник

Я где-то прочитал, что греками Фемида изображалась без повязки на глазах. Без весов, без меча. То, что мы знаем сейчас, — это римская Юстиция, наследовавшая Фемиде. Ну, пусть римляне, пусть Юстиция — она мне нравилась именно такой. И поднятая рука с весами (у меня-то, конечно, без весов), и меч в другой, и даже повязка на глазах.

Спускающееся складками длинное платье, открытая левая грудь. Меня, подростка, это волновало.

Иногда я снимал статуэтку со шкафа и ставил на свой письменный стол. Мой палец скользил по ее идеальной полировке. Брал ее в руку и удивлялся тому, как точно она в нее ложится: пальцы легко входили в складки платья, а поднятая ее рука становилась упором для моей ладони. Я любовался совершенством формы на ощупь. Вероятно, это и сделало меня художником...

Художником! Я давно подходил к этому — вспоминал и не вспоминал одновременно. Так вспоминаешь порой что-то во сне и не веришь в то, что это правда. А теперь вдруг поверил: я был художником... Ладно, не был, хотел стать, но — художником. Ответ на вопрос, кем же я все-таки был, пришел сейчас, когда я подумал о Фемиде. Проявился в сознании со всей четкостью. Фемида. Форма. Совершенство. А я — художник, студент Академии художеств. Сфинксы на набережной. Ваза, лошадь, Аполлон. Шорох карандаша по бумаге. Почему я об этом не помнил?

Нашел сейчас карандаш, решил что-то нарисовать. Вазу, лошадь... Не получилось. Видимо, слишком волнуюсь. Несмотря на позднее время, позвонил Гейгеру, сказал о своем открытии.

— Да, — ответил он, — вы учились в Академии художеств — причем очень успешно. Не закончили ввиду известных обстоятельств.

Слушая его гаснущую речь, я понял, что разбудил его, и это понимание было не лишено злорадства. Вспомнив о том, кем я был, я испытывал не только радость, но и раздражение. Мне казалось, что Гейгер должен был давно дать мне здесь подсказку. Я даже сказал ему об этом. Он (пауза) ответил, что и сам

сомневался на сей счет, но в конце концов решил как решил. И то, что я теперь закрыл эту дыру в своей памяти, подтверждает-де правильность курса: самое важное в моей жизни я должен вспоминать сам.

Так. А если бы не вспомнил?

Вторник

Утром Гейгер приехал с набором акварельных красок, бумагой и колонковыми кисточками. Похоже, мой звонок произвел на него впечатление. Он подробно осмотрел меня и позволил выйти из дома. Я тут же позвонил Насте. Встретившись у “Спортивной”, мы поехали в больницу. Состояние Анастасии осталось почти без изменений. Говорю — почти, потому что перед самым нашим уходом она приподнялась на локте и назвала Настю по имени. Глаза ее при этом смотрели в потолок. Видели ли они Настю, непонятно.

На обратном пути я предложил куда-нибудь зайти пообедать. Мы вышли из метро на переименованном ныне Екатерининском канале. Ресторанчик, в который меня привела Настя, смотрел на Казанский собор. От собора нас отделял гранит канала, и где-то внизу текли его невидимые воды.

— Закажите на нас обоих, — попросил я. — Последний раз я был в ресторане лет сто назад.

— Восемьдесят с небольшим, — поправила Настя.

— Это я кокетничаю.

Мы сидели друг против друга у окна, и всё окно занимал огромный собор. Он смотрел на нас с явной укоризной, потому что столько раз видел меня гуляющим с Анастасией. Сидевшим с ней на гранитных ступенях, которые даже летними вечерами

были холодны. Последняя стоящая в памяти картинка — осенняя: между колоннами собора истерично мечется газета. В сумерках она похожа на средних размеров привидение, а мы с Анастасией молча смотрим на нее. И мы, и собор были тогда на восемьдесят лет моложе.

Теперь он видел меня с Настей. Это не то, что он думает, мог бы сказать я ему. Не сказал. Рот у меня был занят заказанным Настей бифштексом, но дело было даже не в бифштексе — я и сам не понимал, что со мной происходит. Нравится мне Настя? Конечно, нравится. Мне с ней легко и хорошо. Этих двух чувств я не испытывал ни в лагерные годы, ни (тем более) в последовавшие за этим десятилетия. Считаю ли я, что каким-то образом изменяю Анастасии? Нет, не считаю. Когда там, у окна, этот вопрос пришел мне в голову, я было разволновался, а сейчас, дома, успокоился. Понял, как он нелеп.

Взгляд упал на гейгеровские краски — когда он успел сегодня всё это купить? А может, не сегодня? Может, всё было куплено впрок и ждало своего часа?

Среда

Окна-витрины занавешены холстом. Гипсовые копии античных статуй. Раб Микеланджело, дискобол. Апоксиомен с двойным наклоном головы — вперед и в сторону, трудный ракурс. Протоформы: шар, куб, цилиндр, пирамида, конус, шестигранная призма, треугольная призма. Части лица Давида: нос, глаз, губы.

Вчера полночи пытался рисовать красками. Ничего не получилось.

Четверг

Для какого-то популярного журнала мне заказали статью о 19-м годе в Петербурге. Мне это сейчас кста-ти. С рисованием что-то не идет — может быть, с писанием получится? Да и платят неплохо, я даже не ожидал, что столько. Тут же предупреждаю редакцию, что писать буду не о событиях и даже не о людях — об этом и без меня знают. Интересует меня самая мелкая повседневность, то, что современникам кажется само собой разумеющимся и не достойным внимания. Это сопровождает все события, а потом исчезает, никем не описанное — как будто всё происходило в вакууме.

Они кивают мне — пишите, мол, о чем речь, но я уже не могу остановиться. Так, говорю, в горной породе остаются ракушки — миллиарды ракушек, живших на океанском дне. Мы понимаем, как они выглядели, но не представляем их естественной, вне горной породы, жизни — в воде, среди зыбких водорослей, подсвеченных доисторическим солнцем. Нет в исторических сочинениях этой воды. Да вы, смеются в редакции, поэт. Нет, возражаю в духе Гейгера, я — жизнеописатель.

Пятница

На Секирную гору я поднимался с двумя конвойными и чувствовал, как от страха стягивало желудок. Я стыдился своего страха, потому что не боялся так еще никогда — даже когда ехал на Соловки. Конвойные были спокойными или, скорее, равнодушными людьми, что, по лагерным меркам, лучшее из воз-

можного. Они не подгоняли меня, почти не бранились, но и особого интереса к моей участи не проявляли. Даже между собой ни о чем не разговаривали. Было очевидно, что они устали от лагерной жизни и теперь попросту берегли силы. Лагерь изматывал не только заключенных.

Когда мы поднялись на гору, перед нами открылось немыслимое по красоте пространство. Желтые леса. Синие озера. Где-то у самого горизонта свинцовое море. Вспомнил: леса не совсем желтые. Видны были зеленые пятна елей, будто кто-то влил одну краску в другую и не размешал. Мне стало не по себе. Я воспринял эту красоту как знак скорой моей гибели. Подумал, что такое может быть явлено только перед смертью — как лучшее, что дано увидеть в жизни. Это могли бы видеть и конвойные, но они в ту сторону не смотрели.

Они подвели меня к штрафизолятору, который размещался в церкви, и постучали прикладами винтовок. По ту сторону двери лязгнул замок — словно зубами волк из сказки. Словно проглатывал меня. Мне было велено войти, конвойные остались снаружи. Переступив порог, я бросил на них прощальный взгляд. Как же мне было тяжело, что они уходят, как же одиноко. Будто ребенку, сдаваемому родными в приют. Перед лицом ожидающей меня смерти даже эти люди казались родными.

Меня отвели в верхний храм, велели снять обувь и раздеться до белья. Видя, что пол цементный, я попросил разрешения не снимать носки. Меня ударили по лицу. Босиком, в кальсонах и с окровавленным лицом я вошел в свою новую камеру. Это было даже хорошо, что ударили. Так мне было легче.

Суббота

Сегодня на встречу с Настей я пришел к метро на полчаса раньше. И ведь не случайно это произошло: выходя из дому, осознавал, что еще рано. Присел у места нашей встречи на парапет и подумал: мне что — не терпится ее увидеть? Даже плечами пожал. Нет, решил, просто неохота сидеть дома. Там у меня одни призраки, тоскливо.

Смотрел, как на проезжей части укладывали асфальт. Немытые, нетрезвые, в грязных (когда-то оранжевых) жилетах бросали горячий асфальт лопатами, а каток его уминал. И лица их были ужасны. Даже на укладке торцовых мостовых таких не было. Пошел дождь, сначала мелкий, потом — сильнее. На жирном дымящемся асфальте вода собиралась в выпуклые лужи. Дым, смешанный с паром: адова работа. Долго ли продержится асфальт, когда его укладывают в дождь? Да еще с такими лицами.

Издали увидел Настю — хрупкая, с зонтиком. Похожа на статуэтку, *что* я (как художник) в женщинах очень ценю. Заметив меня, ускорила шаг, почти побежала. Мокну потому что. Столько лет мерз, а теперь вот мокну. Добежала, укрыла меня от непогоды. Достав из кармана бумажный платок, вытерла мне лицо — приятно! Тут и дождь кончился. Настя щелкнула своим зонтиком, и он опал. Взяв его, словно мокрую птицу, аккуратно сложила складки-крылья.

Спускаемся в метро. Благодаря Насте я уже знаю, как стоять на эскалаторе при спуске — на ступеньку ниже спутницы, повернувшись к ней лицом. На волосах спутницы блестят капли. По сумке расползается влажный след от зонта.

— Знаете, Настя, я ведь вспомнил, кем был. — Выдерживаю паузу. — Художником. Начинаящим художником.

Она смотрит на меня с умеренным любопытством. Не знает, как долго я это вспоминал.

— Удалось найти тогдашние ваши работы?

Я отрицательно качаю головой. Настя разворачивает меня по ходу движения, и мы сходим с эскалатора.

— Ничего, нарисуете новые. Нарисуете?

Улыбается.

— Я не помню, как это делается. Настя, представляете, я не помню...

Воскресенье

Вчера весь день составлял в уме план статьи. Шло легко, без всякой натуги. Я ведь художник — художник, а не историк. Мне не важна последовательность событий, меня волнует единственно факт их существования. Пункты плана записываю без всякой логики, по мере припоминания.

Не было новых вещей — все ходили в старом. Был даже в этом какой-то шик — *трудное время*, любимая фраза той поры. Трудное время умей переживать: донашивай прежнее, а нового не надевай — даже если есть. Донашивали вдохновенно.

Газеты не продавались, а наклеивались на углах домов. Группы трудящихся их читали. Сближало.

Тайная торговля провизией. Открыто торговать запрещалось.

Вода не доходила до верхних этажей. Там воду запасали в ваннах. Набирали ванны до краев, а сами мылись в тазах.

Еще об одежде: все ходили мятые, потому что в холодное время спали не раздеваясь.

Лампы чаще всего не горели, электричество давали на пару часов в день. Делали керосиновые светильники.

Зимой замерзали сливные трубы. Туалетом не пользовались, ходили в дворовые нужники — чаще всего с ночными горшками, чтобы опорожнить. А нужники-то не во всяком дворе были.

Трамвай — редкость, приходилось ходить пешком. Уж если появлялись, то были набиты битком.

Необычное зрелище: зимой нет дыма из труб. Топить было нечем. Разбирали деревянные строения на дрова. Двери межкомнатные распиливали. Анастасия как-то болела, я одолжил у дворника 50 поленьев, потом месяц ломал голову, как вернуть. Пришлось в счет дров отдать ему серебряную солонку — еще бабушкину. Было жалко.

Карточки. Сахарные, хлебные. По трудовой карточке я приобрел себе калоши.

Долгие часы за керосином в Петрокоммуне.

Лепешки из картофельных очисток. Морковный или березовый чай. Еще о еде: на углу Большой Морской и Невского долго лежала павшая лошадь, из крупа был вырезан кусок мяса.

Самые ходовые подарки 1919 года: сургуч, бумага, перья, карандаши. Я подарил Анастасии банку патоки.

Пытаюсь воссоздать тот мир, который ушел навсегда, а получают только жалкие осколки. И еще такое чувство — не знаю, как правильно его выразить.. Вот мы в тогдашнем мире были разными, чужими, часто — врагами, но сейчас посмотришь — в чем-то, получается, и своими. Было у нас общее время, а это, оказывается, очень много. Оно делало нас

причастными друг другу. Мне страшно оттого, что нынче все мне чужие. Все, кроме Анастасии и Гейгера. Своих только два человека, а раньше — весь мир.

Понедельник

Спросил сегодня у Гейгера, отчего я так долго не мог вспомнить, что был художником. И как объяснить то (здесь меня вдруг подвел голос), что мне не удастся ничего нарисовать сейчас.

— Что-то с теми клетками мозга, которые отвечают за эту область, — сказал Гейгер. — По всей видимости, после разморозки они не восстановились.

— И ведь это было основным моим занятием...

— Может быть, потому именно эти клетки и не восстановились. — Помолчав, он добавил: — Зато вы хорошо пишете. Ваша, как сейчас говорят, креативность потеряла один канал, но приобрела другой. Разве ваши словесные описания не род живописи?

Изящный ответ.

Вторник

Опять сегодня думал о Секирке. Тут бессильны и живопись, и словесные описания. Ну, какое описание может передать круглосуточный холод? Или голод? Всякий рассказ подразумевает законченное событие, а здесь — страшная бесконечность. Не можешь согреться час, другой, третий, десятый. И ведь ни к холоду, ни к голоду невозможно привыкнуть. Обитатели второго этажа штрафизолятора босиком, в одних кальсонах, сидят *на жердочках*. Помещение

не отапливается. Говорить запрещено, шевелиться запрещено. Лавки высокие, и ноги до полу не достают. Через несколько часов они до того опухают, что встать на них невозможно. Пытка длится, длится, и эта длительность убивает. Как эту пытку опишешь? О ней столько же времени нужно писать, сколько она тянется. Часы, дни, месяцы.

Месяцы редко кто выдерживает — сходят с ума, но чаще умирают. Сидишь с утра, чувствуешь висящими ступнями, как по цементному полу тянет сквозняк. Доски врезаются в бедра. Потом, когда ноги уже ничего вроде бы не чувствуют, приходит мучение всего тела и невозможность сидеть. Незаметно подводишь под ноги ладони и пытаешься чуть-чуть отжаться от жерди, чтобы было хоть какое-то движение.

В дверном окошке глаза вертухая. Они следят за тем, как напрягаются твои ладони, как согнутые в коленях ноги твои чуть приподнимаются над ногами товарищей. Вертухай входит, он с палкой. Бьет — по голове, по плечам. Ты скатываешься с лавки и с дикими воплями бьешься об пол головой. И, кажется, отделяешься от измученного тела. От звериного своего крика. Ты ли это кричишь? Тебя ли бьет ногами сбежавшаяся охрана, тебя ли вяжет? Заламывает тебе руки и за спиной привязывает их к ногам. Ты больше не человек, ты — колесо, так почему же они тебя не катят?

Волочат вверх по ступенькам, втаскивают в “фонарь”. “Фонарь” — это верхняя часть храма, служившая прежде маяком. Там сейчас нет ни светильника, ни стекол. Только ветер, самый сильный ветер, который на вершине холма. Ты сопротивляешься ему какое-то время, а потом сопротивление исчеза-

ет. И время исчезает — та продолжительность, которую невозможно описать. Ты отдаешься на волю этого ветра, он залечит твои раны, он понесет тебя в правильном направлении. И ты летишь.

Четверг

Сегодня, когда мы были в больнице, Анастасия произнесла: “Иннокентий”. Не приходя в сознание — как прежде при упоминании имени Насти. И все-таки ее сознание — брезжит, какие-то происходят в нем события, кто-то в нем присутствует. Например, мы с Настей.

Пятница

Анастасия снова назвала меня по имени.

Я наклонился над ней и сказал:

— Я здесь, Анастасия.

Повторил это несколько раз — медленно и внятно.

Спросил:

— Что вы хотели мне сказать?

Лежала с закрытыми глазами. Дышала тяжело.

Слышала ли она меня?

Суббота

Похож на Карла Маркса, только в очках. Правая рука покоится на трости, левая рисует на доске длинной металлической указкой с мелком на конце. Устройство глаза. Глазное яблоко-шар, сверху и снизу обтя-

нута веками. Все невидимые линии рисуются как видимые, форма изображается прозрачной.

Подумалось вдруг, что лучше бы уж Маркс, наверное, рисовал — он и многочисленные его последователи. Срисовывали бы Давида Микеланджело, затирали сухим хлебом лишний графит, ездили в Плес на этюды. Меньше, думаю, было бы на свете горя. Человек рисующий — он как-то выше, мягче нерисующего. Ценит мир во всех его проявлениях. Бережет его.

Этими соображениями я поделился с Гейгером. Он сложил губы бантиком и промолчал. На прямой вопрос о моей теории ответил, что подтвердить ее не может. Он-де знает одного вселенского злодея, который в юности был художником. Что здесь скажешь? Влияние живописи имеет свои границы.

Понедельник

Сегодня я был у Анастасии один — Настя готовилась к последнему экзамену в сессии. Вызвал по телефону такси и поехал. Ездить в метро стало невозможно — очки не спасают, меня прекрасно узнают и в очках. Вот и таксист узнал. Долго смотрел на меня в зеркало заднего вида, а потом спросил:

— Простите, там, во льду, вы что-нибудь чувствовали? Были какие-то, как говорится, желания?

— Было желание, чтоб разморозили.

Пауза.

— Это очень понятно.

Анастасия встретила меня молчанием и в этот день не сказала ничего. Рука ее (желтые пятна на коже) свешивалась с кровати. Я сел на стул у кровати и взял ее ладонь в свою. Мне показалось, что ее ла-

доть отозвалась, слегка сжалась. Может быть, так отзывается любая ладонь, когда ее берешь. Простое сокращение мышц.

Я наклонился к уху Анастасии и спросил, помнит ли она соприкосновения наших рук? В прежней жизни — помнит? Веки ее дрогнули, но не открылись. Я стал рассказывать ей о том, как мы наряжали елку. Как я доставал игрушки из ящика и с шорохом разворачивал бумагу, в которую они были завернуты. Найдя и расправив нитку, передавал игрушки Анастасии. Касался ее пальцев своими пальцами — у всех, между прочим, на виду. Наша общая с Анастасией работа давала такую возможность.

Это было вечером. А утром, когда я вошел к Ворониным, елка оказалась совсем другой. Она (дождь, игрушки) сверкала в неярком декабрьском солнце. Форточка была открыта, и гирлянды едва слышно позвякивали. Существуют ведь, прошептал я, держа руку Анастасии, редкие и ни на что не похожие звуки. Например, звук гирлянды на сквозняке — он весь такой стеклянный, такой невыразимо хрупкий — помнит ли его Анастасия? Очень люблю этот звук и вспоминаю о нем часто.

Шепотом напомнил Анастасии и о других дорогих вещах. О том, например, как она однажды взяла мою ладонь, сказав, что хочет увидеть мою судьбу. Водила подушечкой пальца по сплетению линий и что-то говорила, а у меня по коже бежали мурашки. Я не слышал ее слов, потому что уши мои не работали. Из всех частей тела существовала только ладонь, по которой скользил палец Анастасии. Исследовал каждый бугорок, каждую линию. Самой длинной оказалась линия жизни. Интересно, учитывалось ли в данном случае время заморозки?

Четверг

Я очнулся в лазарете. Не в том гнилом бараке, где я уже прежде оказывался, а в светлой и чистой комнате. Всё — пол, потолок, стол, стулья, кровать — было белым, и так мне как-то спокойно подумалось, что после избиения на Секирке я попал прямо в Рай.

Но это был не Рай, не такие здесь стояли вещи. Стул — венский, окрашенный щедрыми белыми мазками, застывшие ручейки краски на железных набалдашниках кровати — в Раю бы так не покрасили. Помещение было белым, но земным. Свесившись с кровати, я увидел наконец и небелые предметы — голубое ведро с рыжей тряпкой. На ведре красными, с подтеками, буквами было написано “ЛАЗАРЬ”.

Всё остальное было, в сущности, тоже небелым. Например — пол. На самом деле он оказался светло-коричневым. Я лежал и удивлялся, что минуту назад пол мог показаться мне каким-то другим. Возвращались не только цвета, но и запахи. В помещении определенно пахло лекарствами, а от ведра с таинственной надписью тянуло хлоркой. И то, и другое в Раю, я считаю, без надобности.

В комнату вошла медицинская сестра, и я зажмурился. Это лагерная привычка — делать вид, что тебя нет. Услышав чье-то движение — замирать. Сливаться с темнотой. Ничего не видеть и быть невидимым.

Протерев пол, сестра взяла ведро с тряпкой и вышла. Раздались мужские шаги. Сквозь ресницы я увидел, как по мокрому еще полу ступают туфли. Уж я и не помнил, когда в последний раз видел в лагере туфли. На туфлях покоились складки брючин. Строгую черноту брюк сменяла белизна халата. Вошедший наклонился над кроватью и назвал мое имя.

Его приход напомнил мне первое появление Гейгера — хотя, может статься, все было наоборот, и это Гейгер впоследствии напоминал вошедшего. Как известно, время проходимо в обе стороны. Что важно: я открыл глаза. Незнакомец смотрел на меня и молчал. Профессорская бородка, очки. Я тоже молчал, потому что говорить должен был он. И он заговорил:

— Первая ваша задача, Иннокентий Петрович, выздороветь.

Это предполагало вроде бы вопрос о второй задаче, но я его не задал. Глядя на ведро, я спросил:

— “ЛАЗАРЬ” — сокращение лазарета?

— Это другое сокращение. — Он улыбнулся. — “Лаборатория по замораживанию и регенерации” — только вряд ли вы о ней слышали.

Слышал? И да, и нет. На Соловках существовало несколько лабораторий, о которых ничего в точности не было известно — ни род их деятельности, ни даже название. Но люди одной из них — как я начинал понимать, именно этой — именовались в лагере *лазарями*. Однажды я даже спросил у кого-то, почему их называют *лазарями*, но ответа тогда не получил.

Несколько раз я видел *лазарей* на пристани. Они сходили с катера и производили впечатление людей, по лагерным меркам благополучных — упитанных, экипированных и (я научился определять это безошибочно) небитых. В отличие от моего собеседника, *лазари* не носили туфель, но даже их сапоги были признаком достатка. Еще я вспомнил, что на Большой Соловецкий остров *лазари* прибывали с острова Анзер. И отбывали на него.

— Мы сейчас находимся на Анзере? — спросил я. Взгляд — удивленный.

— Да, на Анзере.

Суббота

День начался с раннего звонка Насти. Очень раннего — в шесть утра. Ей только что сообщили из больницы (на мгновение у меня упало сердце), что Анастасия пришла в сознание. Настя намеревалась захватить за мной на такси и просила через двадцать минут ждать ее у парадного. Я спустился через десять. На Большом проспекте еще почти не было прохожих. Машины тоже проезжали редко. На верхних этажах желтели отблески встающего за Петропавловской крепостью солнца. Я ведь это уже видел.

Ранним летним утром года примерно 1911-го ожидаем экипаж на вокзал. И солнце, и верхние этажи, и прохладный утренний ветер. Я в коротких (лямки крест-накрест) штанах, гусяная кожа у коленей. Прыгаю, чтобы согреться, хотя, по правде говоря, мне не очень-то и холодно. Скорее — тревожно. Я волнуюсь, что экипаж не появится — и мы не поедem в Алушту. Сандалии мои звонко шлепают по брусчатке. Этот звук постепенно перекрывается цоканьем копыт. Шепчу: счастье, счастье! Приехал экипаж.

Приехало такси. Я сажусь к Насте на заднее сиденье. Биржевой и Дворцовый мосты, Сенатская площадь, Московский проспект. Движение наше пусть не в Алушту, но в целом, кажется, на юг: в машине становится теплее. Опускаю стекло и кладу на окно локоть. Рука безвольна, силой ветра двигаются пальцы — вяло и меланхолично — как подводные растения. Что скажу Анастасии? Что она скажет мне?

У самой палаты нас остановила сестра. Придя в себя, Анастасия попросила позвать священника, и сейчас он ее исповедовал. Минут через десять, неся на вытянутых руках Святые Дары, священник

вышел. Затем в палате побывала сестра. Выйдя, сказала, что у нас есть всего пять минут — на большее Анастасии не хватит. Я посмотрел на Настю, она кивнула. Почувствовала мой страх. У самых дверей легонько подтолкнула меня вперед. Я открыл дверь.

Меня встретил взгляд Анастасии. На него, как на фонарь в темноте, я шел мелкими шагами. На плече моем чувствовал Настину ладонь, только это не помогало. Я бы сказал даже, что мешало. Наверное, я вообще должен был войти сюда один. Голос застыл у меня в горле, и, подойдя к кровати, я не произнес ни слова. Опустился на колени, припал лбом к руке Анастасии. Почувствовал на затылке другую ее руку — почти невесомую. Рука шевельнулась. Погладила по волосам, как гладила когда-то. Вот мы в нашей квартире на Большом, и все еще живы — моя мама, профессор Воронин и даже Зарецкий. Он тоже жив. Все они ушли по делам, а мы с Анастасией остались. Она нездорова, и вот я зашел ее проведать. И положил ей лоб на руку, а она меня гладит. Я вижу всё это наяву и, оказывается, говорю — говорю вслух. Они меня молча слушают — Анастасия, Настя и сестра. Вдруг Анастасия прерывает молчание. Она говорит:

— Зарецкий.

Это звучит как скрип калитки. Как гвоздь по стеклу. От нее тогдашней дальше всего ушла даже не внешность — голос. Я поднимаю голову. Анастасия смотрит на сестру.

— Зарецкий — это ведь *мой* грех.

Сестра кивает — очевидно, из вежливости. Вряд ли она что-то знает о Зарецком.

— О чем ты, бабушка? — спрашивает Настя, и тон ее не предполагает ответа.

— Я его... Как это сейчас называют? Заказала... Именно что заказала! Вот она, беда.

— Бабушка!

— Вот тебе и бабушка. Беда...

Анастасия резко вдыхает и заходится в кашле. Сестра стучит по ее спине ладонью, приподнимает на подушках. Незаметно для Анастасии делает нам знак, чтобы мы ушли. Эти предосторожности ни к чему — Анастасия и так ничего не видит. Тяжело дыша, она полулежит с закрытыми глазами. Мы выходим.

Через несколько минут Анастасию вывозят из палаты на каталке. Каталка мчится на необычной для больницы скорости, но мы не отстаем. Встречные отскакивают к стенам коридора. На полном ходу каталка влетает в распахнутые двери реанимации. Перед нами эти двери закрываются.

Час спустя к нам выходит реаниматолог и говорит, что Анастасия в коме. Мы остаемся стоять у дверей реанимации. Через какое-то время нам приносят стулья, на которых мы сидим до вечера. Часов в десять, ссылаясь на больничный распорядок, нас просят ехать домой. Я и не знал, что уже десять, — светло ведь. Мы с Настей понимаем, что дело не в распорядке — нас здесь жалеют. Мы уезжаем.

Воскресенье

Утром ездили в больницу. Без изменений.

Вечером позвонил Гейгер. Вчера, оказывается, исполнилось полгода с того дня, когда ко мне вернулось сознание.

Вернется ли сознание к Анастасии?

Понедельник

Всё по-прежнему. В наших обстоятельствах и это можно считать доброй вестью.

Среда

Сегодня и вчера были в больнице. Сидели на стульях в коридоре. Нас спросили, какой смысл в нашем сидении, если в реанимацию нас всё равно не пускают. В том, говорим, смысл, что мы рядом.

Вчера нас пригласил к себе главврач и сообщил, что его подчиненные делают всё возможное. Угощал коньяком. После коньяка лицо его порозовело, и он стал как-то раскованней. Сказал, что надежды, вообще-то, нет никакой. Дал нам с Настей по визитной карточке — по-моему, уже во второй раз. Провожая нас, поправлял наброшенный на плечи халат. Под халатом дорогой, по словам Насти, костюм. Который совершенно потерялся бы под застегнутым на все пуговицы халатом. Костюм под халатом напомнил мне академика Муромцева. Больше в главвраче не было от академика ничего.

Муромцев. Костюм, туфли, а главное — манера общения, — очень всё это было несоловецким. Раз в день он осматривал меня — иногда с лечащим врачом, иногда отдельно. Мало-помалу я начинал понимать, что и интерес его был отдельный, с врачебным совпадавший только отчасти. Впрочем, строить догадки об этом интересе мне пришлось недолго. Как-то раз Муромцев попросил сестру оставить нас одних и ввел меня, что называется, в курс дела.

После отказа академика заморозить труп Ф.Дзержинского (1926 год) Лаборатория по замораживанию и регенерации (“ЛАЗАРЬ”) в полном составе была арестована и отправлена из Ленинграда на Соловки. Попытки оправдаться отсутствием опыта замораживания людей успеха не имели. Не помогло и письмо Муромцева в ЦК, подробно излагавшее результаты заморозки крыс и объяснявшее отказ заморозить Дзержинского. По словам следователя, допрашивавшего Муромцева, на письме стояла собственноручная резолюция И.Сталина, в которой решение академика было признано ошибочным. В резолюции указывалось, что при работе с телом Дзержинского надлежало применять те же научные методы, что и прежде, рассматривая покойного как большую крысу.

Вместе с тем письмо о заморозке очевидным образом произвело на Сталина впечатление. Этим, с точки зрения Муромцева, объяснялась счастливая судьба сотрудников “ЛАЗАРЯ”. Они не только избежали расстрела, но и были помещены в человеческие, по лагерным меркам, условия. Уже оказавшись на Соловках, сотрудники лаборатории узнали, что автор резолюции испытывает к проводимым экспериментам личный интерес. Не все враги были им еще подавлены, но он знал, что справится с ними непременно, — и тогда придет время думать о бессмертии.

Этот интерес в полной мере проявился, когда в один из дней Сталин академику Муромцеву позвонил. Он спросил, были ли крысы, использовавшиеся для эксперимента, живыми. Получив утвердительный ответ, Сталин предложил продолжить эксперимент на живых людях. Не ожидавший научного руководства со стороны вождя, академик отважился, тем не менее, возразить в том духе, что при заполне-

нии кровеносных сосудов раствором не так уж важно, жив организм или мертв, что при заморозке он всё равно как бы умерщвляется, и что где же, наконец, он найдет для таких целей живых людей.

Сталин помолчал. Он искренне не понимал проблемы, поскольку живых людей в лагере было всё еще много. Вождь попросил академика передать трубку начальнику лагеря и приказал тому найти живых. Решив, что в такой форме ему ставятся в вину условия содержания заключенных, начальник слабым голосом обещал живых найти. Хотя в вину ему ничего, конечно же, не ставилось.

Живые были найдены в штрафизоляторе на Секирке. С точки зрения начальника лагеря, это были люди, готовые на всё. В отношении того, как долго они останутся живыми, у них не было завышенных ожиданий. Преимущество их перед прочими живыми состояло в том, что они выбирали заморозку добровольно. Этих людей не нужно было подвергать избиениям, портившим человеческий материал, а значит — и чистоту опыта. Людей с Секирки доставляли на Анзер, несколько месяцев хорошо кормили, а потом использовали для эксперимента.

Муромцев много чего еще рассказывал (позже он не раз приглашал меня на прогулку), но с каждым днем я слушал его всё с меньшим вниманием. Я шел рядом с ним по берегу, кивал ему, когда речь его прерывалась, смеялся, когда он смеялся, хотя думал о своем. А иногда и не думал — просто смотрел, как по берегу летели грязные клочья пены. Как острые анзерские камни вспарывали уходящую волну. Наши с Муромцевым отношения были теплыми, мы делали в каком-то смысле общее дело, но существовало

обстоятельство, которое постепенно отдаляло меня от него. Оно заключалось в том, что Муромцев оставался жить. А я готовился умереть.

Пятница

Сегодня после больницы Настя пригласила меня к себе домой. Точнее, домой к Анастасии — в старую просторную квартиру недалеко от места, где стояла Знаменская церковь. Которой, к моему удивлению, больше нет. Есть метро: мир горний побежден миром подземным.

К моему приходу Настя, оказывается, приготовила обед. На первое борщ, на второе жаренная в вине свинина — невероятно вкусно. Я, конечно, все эти месяцы хорошо питался — мне по распоряжению Гейгера обеды в судках привозили, — но так ведь одно дело обед из судка, а другое — из теплых рук Насти. Там казенный, здесь домашний... Мне даже неловко, что я так подробно о еде пишу.

— Неужели вы специально для меня, — спросил, — всё приготовили?

Как глупо звучит это “вы”. Улыбнулась: именно так и приготовила. Специально. Убирая со стола тарелки, коснулась ногой моего бедра. В моем с ней “вы” нет того накала, что был когда-то с Анастасией. Наверное, время изменилось: то, что было заветным, сейчас кажется церемонным и нелепым. Нужно будет каким-то образом перейти с Настей на “ты”. Только каким?

Рассматривая книги на полках, увидел... Фемиду. Статуэтку моего детства с отломанными весами. Полка с Фемидой отчалила от остальных полок

и поплыла по комнате. Только что, ложка за ложкой, я ел Настин борщ, а за спиной, оказывается, стояла Фемида. Протянул к ней руку и тут же отдернул. Настя заметила жест.

— Бабушкина статуэтка. Одна из немногих вещей, сохранившихся от старого времени. А это — узнаете?

Рядом с Фемидой стояла моя фотография. Следует полагать, что Анастасия оказалась наследницей моей матери. Впрочем, кому еще моя мать могла всё это оставить? Фотография была сделана отцом незадолго до смерти.

Сиверская, 1917-й, я стою, прислонившись к перилам мостика. Скрещенные на груди руки, взгляд, по просьбе отца, вдаль. Подо мною быстрое течение Оредежи, в струях воды извиваются водоросли. Если долго на них смотреть, кажется, что это речные змеи (есть такие?) плывут вверх по течению. Запах воды и сосен, глухое кукование из лесных глубин.

— Зачем смотреть вдаль, — говорю я отцу, — это же неестественно, это как будто я не замечаю тебя с фотоаппаратом.

— Нет, — отвечает, прячась за треногой, отец, — это взгляд в вечность, потому что фотопортрет включает твое настоящее и прошлое, а может быть, и будущее. Ирония, конечно, оздоровительна, но иногда, — выпрямившись, он задумчиво смотрит на меня, — не нужно стесняться пафоса, потому что смех имеет свои пределы и не способен отразить высокое.

Потом отец настраивает фотоаппарат, чтобы его снял я, и так же стоит на мостике и смотрит вдаль. В его взгляде, несомненно, больше вечности, чем в моем. До перехода в вечность отцу остается

несколько недель. На Варшавском вокзале всё уже, в общем-то, готово.

Суббота

Мой переход в вечность должен был осуществиться на Соловках. Из наших с Муромцевым бесед я понял, что шансов выжить после заморозки у меня нет. Во время наших прогулок он был неизменно доброжелателен, хотя вряд ли испытывал ко мне личный интерес — скорее, хотел составить для себя общее представление о том, кто будет заморожен на этот раз.

Узнав, что я верующий, академик сказал мне, что согласие на заморозку с моей стороны — не самоубийство. Он считал, что в гораздо большей степени самоубийством было бы мое решение вернуться на Секирку.

— У вас всего два пути, — Муромцев произнес это монотонно, — и оба, похоже, ведут к смерти.

Он был, по крайней мере, честен. Я пожал плечами:

— Все пути ведут к смерти.

— Если решите стать *лазарем*, поживете парутройку месяцев в полном комфорте. Как на мой вкус, лучше умирать благополучным и сытым. Впрочем, выбор за вами.

И я его сделал. Я стал *лазарем*.

Воскресенье

Анастасия умерла. Выезжаю в больницу, где меня будет ждать Настя.

Анастасия умерла.

Понедельник

Сегодня занимались подготовкой похорон, и это отвлекало от ее смерти. Пока мы с Настей что-то заказывали, о чем-то договаривались, Анастасия была не то чтобы живой, но как бы не совсем еще мертвой. Она была молчаливым участником обсуждений — уже потому хотя бы, что вращались они вокруг нее.

Вчера произошло еще одно событие, неразрывно связанное с Анастасией. Покинув больницу (тела Анастасии в палате мы уже не застали), поехали ко мне. Настя предложила проводить меня, потому что мое состояние ее беспокоило. Я и в самом деле не мог справиться с собой. Смерть Анастасии, ожидаемая и естественная, вызвавшая у Насти светлую грусть, подействовала на меня совершенно иначе.

Меня трясло. Говорил я громко и бессвязно, голос меня не слушался, и время от времени я пускал петуха. Выйдя за пределы больничного двора, вроде бы успокоился, но в такси снова сорвался и накричал на водителя. Самое удивительное, что я помню всё до мельчайших деталей — даже то, как, ругаясь с водителем, думал, что позже мне будет за это стыдно.

Дома я сел в кресло и заплакал. С Анастасией оборвалась последняя нить, связывавшая меня с моим временем. Настя села на подлокотник кресла. На своей голове я почувствовал ее руку. Я взял ее руку в свою и поцеловал. Несколько раз поцеловал. Настя руку осторожно отняла:

— Не надо. Вам ведь нужна только она, правда?

Меня охватил страх, что я потеряю и ее.

— Я хочу, чтобы вы были ею.

Это была наша первая ночь. Входя в Настю, я знал, что сегодня она непременно должна зачать. Знание мое обнажило чувства, сделало их нестерпимо острыми, проткнуло, разрезало меня на части, выплеснулось в нее, и я закричал. В ту минуту я уже действительно не понимал, Настя это или Анастасия. И мы с ней больше не были на “вы”.

Часть вторая

Пятница [Гейгер]

На днях Иннокентий сообщил мне, что уже пару недель не ведет дневник. Как бы между прочим сообщил.

Я-то и так знаю, что не ведет. Только не пару недель, а почти месяц, но, как сказано в старом анекдоте, кто вам считает?

Не удержавшись, я все-таки уточнил насчет месяца. В ответ он назвал меня немцем, ха. Потом улыбнулся и сказал, что для него это похвала. И я улыбнулся, мол, *abgemacht**. Ответил, что для меня это тоже похвала.

Да, главное: я уцепился за этот разговор и убедил его продолжать дневник. Для этого, правда, пришлось пообещать, что тем же займется Настя. И даже я. Иначе Иннокентий, по его словам, будет чувствовать себя *подопытной крысой*. Вот так..

Что ж, будем писать все — каждый на своем компьютере. Потом соединим.

Мне отчего-то кажется, что писать для Иннокентия — удовольствие. Своего рода замена живописи, с которой у него что-то разладилось. А не пишет он в последнее время потому, что жизнь для него сейчас важнее творчества.

* Договорились (нем.).

Другое дело я. Плохо говорю. Плохо пишу. Ни жизни, ни творчества — одна наука. Всё, что мне нужно написать об Иннокентии, помещается, в общем-то, в журнале наблюдений.

Или не всё?

Пятница [Настя]

Всем — писать! Сначала идея мне показалась немного странной, а потом я подумала: почему бы и нет? Такой себе тройственный дневник — интересно же.

Первое, с чего надо начать — именно надо, потому что важнее новости нет, — я беременна! Это произошло, я думаю, в первую же нашу с Платоновым ночь. Его темперамент меня тогда даже испугал. Мне показалось, что раз или два он на мгновение терял сознание. Это понятно: он любит меня двойной любовью — к бабушке и ко мне. И мне это не мешает. Даже наоборот.

Что мешало и волновало — так это мысль о том, что я не девственница. Для современного человека — подробность, но ведь возлюбленный мой — особенный. Он и на “ты” со мной только в первую нашу ночь перешел, а с бабушкой так и не перешел вовсе. Гейгер вот применительно к Платонову Бунина процитировал: “Не нонешнего века человек”. В ненонешнем-то к девственности строго относились — потерять не могли! А друг мой любезный даже вопроса на сей счет не задал. Хотя всё, я думаю, заметил. Можно сказать, прочувствовал.

С тех пор, как мы перебрались к нему на Большой, ничего, кроме слов любви, я от него не слыша-

ла. Конечно, я и раньше догадывалась, *как* он ко мне относится, но тогда ведь он не мог мне ничего говорить. А сейчас, значит, говорит. И я говорю, потому что люблю его очень. Платоша умный, нежный. Очень, между прочим, хорош в постели: не скажешь, что парень после разморозки. Хорош, и я ему об этом постоянно сообщаю. В ответ — улыбается. Вот у кого хорошая улыбка.

Милый, улыбайся!

Суббота [Иннокентий]

Итак, продолжение записок. Если быть точным, это уже не записки. Исходя из того, что теперь мне предложено использовать компьютер, я придумал слово — *запечатки*. Сообщил его Гейгеру и Насте, и они вяло так закивали. Не нравится оно им, ох не нравится. И красивым не кажется. Мне, правду сказать, тоже, но не подаю виду. Проверяю, как далеко мои друзья зайдут в своем терпении.

Терпят пока. Гейгер — тот вообще счастлив, что я опять взялся, выражаясь доиндустриально, за перо — около месяца я, оказывается, ничего не писал. Как-то подустал я от прежней писанины, бросил ее вроде, а тут, побуждаем Гейгером, опять начинаю. Прямо скажу: не без колебаний.

Гейгер нажимал на меня в том отношении, что дневник — старинный жанр, а потому для меня ограничен. Ведь я, выражаясь по Бунину, “не нынешнего века человек”. Вел дневник распрекрасно полгода — почему бы не вести его и дальше? Он мне про “нынешний век” уже когда-то говорил. Фраза яркая, запомнилась. Я, правда, Бунина только ранне-

го читал и не помню там такого, но мотивацию Гейгера понимаю. Ему важно документировать происходящее в моем мозгу. А мне это зачем? Я, как заметил сам же Гейгер, целых полгода писал — разве этого недостаточно?

Я сказал ему, что эти записи делают меня кем-то особенным, подопытным. Какой-то прямо-таки крысой, в то время как мне следует сливаться с новой жизнью, да и вообще (я деланно хихикнул) — у меня молодая жена, не до записей мне вечерами. Гейгер возразил мне, что крысы дневников не ведут и что никто не мешает мне (взгляд на Настю) сливаться с новой жизнью. Он был, прямо скажу, настойчив.

Гейгер убеждал меня, что мой реабилитационный курс должен остаться в науке. Реагируя на крысу, он предложил поставить всех в равное положение — меня, Настю и его. События, по его мнению, предстанут в трех измерениях, так что взгляд на происходящее будет объемным. То, что в нашей тройке писать будут все, должно меня утешить, ведь больше я не буду на особом положении. В общем, уговорил меня Гейгер.

А главное — напоследок: Настя беременна.

Понедельник [Гейгер]

Интересно, как Иннокентий воспринимает Настю? Она в его жизни возникла помимо меня. Очень, на мой взгляд, удачно. Что-то по-настоящему хорошее не может быть организовано. Оно приходит само собой.

Взять Настю. Прежде всего, она его любит. При этом любит во всей полноте его жизни. С его чувством к Анастасии, с лагерным опытом, с нынешней известностью.

Его известность, как мне кажется, предмет Настиного особого внимания. Она в ней просто купается. Это извинительно: Настя, в сущности, совсем еще маленькая.

Она неглупа. Для такого человека, как Иннокентий, это важно. Эмоциональна. Может быть, чересчур эмоциональна, что иногда может раздражать. Впрочем, в нашем случае это Настино качество — скорее плюс. Ее активностью Иннокентий втягивается в свое новое время.

Русские женщины вообще удивительно живые. Мне, немцу, это в них нравится.

А еще Настя практична. Не прижимиста, не sparsam* — практична. Раз уж вспомнились немцы, то качество это, конечно же, немецкое. Оно у нее выражается в каких-то деталях, фразах.

Встречаем, например, на улице лоток с арбузами. Иннокентий, понятное дело, тут же хочет купить арбуз. Настя сообщает, что рядом в супермаркете арбузы лучше. И дешевле. Но штука-то в том, что он хочет купить арбуз здесь и сейчас. Ему нравится, что жизнь сама раскрывает перед ним свои богатства. А супермаркет — это уж, извините, другое. Здесь — находка, там — добыча.

В ее практицизме нет ничего плохого. Просто для ее возраста и склада это немного неожиданно. Как это уживается с ее эмоциональностью?

* Экономна (нем.).

А может, это стиль эпохи? Поколение юристов и экономистов.

Только где же, спрашивается, мечта?

Полет где?

Вторник [Иннокентий]

Когда Анастасия умерла, я спросил себя, не являются ли мои отношения с Настей изменой. Не в смысле мужчина/женщина, а в самом что ни на есть человеческом измерении. Если уж быть до конца откровенным, этот вопрос возник еще до смерти Анастасии и до отношений с Настей, но я боялся его задавать. Даже себе. Потому что я догадывался, куда лежит курс. Но и задав этот вопрос, первые недели после смерти Анастасии я боялся на него ответить, хотя откладывать ответ было уже невозможно.

То, что трудно сделать в обычных условиях, иногда легче получается на бумаге. Или на компьютере, если взять мой случай. На вопрос, является ли моя жизнь с Настей изменой Анастасии, я твердо отвечаю: нет.

Главное доказательство тому — беременность Насти. У нас с Анастасией *должен* был быть ребенок, но у нас уже *не могло* быть ребенка. Настя несет в себе плоть Анастасии, значит, наш с ней будущий ребенок — это отчасти и ребенок Анастасии. Если бы русская история не была так кромешна, то сейчас Настя была бы нашей общей с Анастасией внучкой. Впрочем, только ли в истории дело? И стоит ли так уж валить всё на нее?

Вот сейчас, я заметил, в России полюбили фразу об отсутствии в истории сослагательного наклоне-

ния. Как и в мое время, нынче тоже возникают *фразы*, и их повторяют к месту и не к месту. История, видите ли, не имеет... Может, и не имеет, только бывают случаи, когда она предоставляет словно бы вторую попытку. Это — повторение и одновременно неповторение того, что было.

Как же иначе объяснить, что мне был дан еще один шанс для жизни? Что я — если называть вещи своими именами — воскрес? Что Анастасия дожила до поздней своей встречи со мной? Что мне встретила Настя, которую я люблю и которая любит меня? Неужели всё это — просто отдельные случаи или, более того, — случайности? Конечно же, нет. Я и Настя (и Анастасия!) имеем дело с кусочками одной мозаики, потому что, когда множество случайностей складывается в общую картину, это — закономерность.

Не могу заставить себя пойти на могилу Анастасии. Боюсь поверить в то, что она умерла.

Среда [Иннокентий]

Сейчас, когда жизнь понемногу входит в русло, сквозь всё, что бы я ни делал, сквозь самую бытовую повседневность проступает счастье. Собственно, повседневность и есть счастье — ходить куда хочешь, читать что хочешь... Наконец, просто жить. Но главное счастье мое — в Насте и в ожидании ребенка. Вечерами, когда сидим с Настей на диване, я глажу ее живот. В котором почти еще незаметны изменения. А то, что якобы заметно, — так говорит Настя, — плод моего воображения. Что ж, ей виднее: как ни крути, она свой живот лучше знает.

Думаю о маленьком беспрерывно. Написал сейчас “маленьком” — и вроде как соотнес с мужским полом. На самом деле это не так. Мне кажется даже, что девочку я хотел бы больше. Она продолжила бы этот ряд — Анастасия, Настя... Непонятно лишь, как ее следовало бы назвать. Неудобно, когда вся семья носит одно имя.

Среда [Настя]

Ребенок — любимая Платошина тема. Даже неожиданно как-то... Откуда в мужчине столько материнства? Правильнее бы сказать — отцовства, но это почему-то не звучит. Вечерами он начинает гладить меня по животу, и мне щекотно. Спрашивает, почему я напрягаюсь, когда он меня касается. Пожимаю плечами, но сама-то знаю, почему: чтобы не засмеяться от щекотки, смех бы его наверняка обидел. И еще боюсь пукнуть. С беременностью меня стали мучить газы, особенно после ужина. Они, по-моему, делают живот больше, а Платонов мой принимает это за рост маленького.

Мы тут всё думали, в какой квартире нам теперь лучше жить — в моей или в платоновской. Решили, что в платоновской. Решили — это я и Гейгер, а Платонов, лапочка, не вмешивался. Гейгер сказал, что размороженному человеку лучше жить в знакомой обстановке. По поводу жизни размороженных с ним лучше не спорить — настоящий спец. Да и нет такой необходимости: квартира на Большом лучше и удобнее. А мою квартиру сдадим — чего она будет простаивать? Гейгер хоть и выбил для Платоши государственную поддержку, но уже сейчас понятно,

что ею одной не обойтись. Наше государство потому что очень вяло поддерживает.

У Платонова теперь будет много новых трат, он у нас знаменитость. Будет крутым тусовщиком — с ним кто только теперь не хочет познакомиться. Я хочу, чтобы он был лучшим. Настоящим светским львом, а не экспонатом Кунсткамеры. Мы же с малышом просто будем при нем, нам большего не надо.

Четверг [Гейгер]

Я тут прочитал, что календарные даты принадлежат к линейному времени, а дни недели — к циклическому.

Линейное время — историческое, а циклическое замкнуто на себе. Вовсе и не время даже.

Можно сказать, вечность.

Получается, что история, излагаемая нашей тройкой, никуда не стремится. Самая надежная история.

Может быть, даже и не история.

Пятница [Иннокентий]

Маркс. Преподавал рисунок. Импозантен и — да, удивительное сходство с автором “Капитала”. Будучи профессором живописи, он не мог этого не понимать. Надеюсь, что ли, что человека с таким обликом новые власти не тронут? Шутил? Протестовал? Не могу вспомнить его имени, так почему бы не называть его просто Марксом?

Враскачку идет мимо мольбертов. Скрипя паркетом. Толстыми пальцами почесывает бороду. Говорит:

— Форма плавает на листе. Необходимо распорядиться всем форматом, в нем устроить мир.

Устроить мир. Голос глухой, утробный. Будто там, внутри этого человека, сидит еще один и дает указания.

Суббота [Гейгер]

Был сегодня у Платоновых. Буду их обоих так называть, хотя они пока в браке неофициальном. Хорошее наименование. Всё, что включает имя Платон, несет в себе оттенок мудрости.

Несет ли его в себе и эта пара? Да, в какой-то степени. Иннокентий — по обстоятельствам своей жизни. По количеству пережитого. Настя — по врожденным качествам.

То есть Настя не то чтобы мудрая, так смешно говорить о девочке. Я лишь имею в виду, что она разумно организует их общую жизнь. Такая женская, что ли, мудрость.

Вообще же, мудрость — это прежде всего опыт. Осмысленный опыт, конечно. Если осмысления нет, то все полученные синяки бесполезны.

Когда я сказал об этом вслух, Иннокентий возразил, что осмысление может происходить и без синяков. В устах человека с таким жизненным багажом звучит авторитетно. Только, если синяков нет, непонятно, что осмысливать. Иннокентий этого как-то не пояснил, а я не стал спрашивать.

Потом был замечательно вкусный ужин. Между прочим, при свечах. Настя укрепила их на двух при-

несенных из дому подсвечниках. Объяснила, что бабушкины, и спросила, узнает ли их Иннокентий. Тот сделал неопределенный жест. А Насте, по-моему, очень хотелось, чтобы он подсвечники узнал.

Мог бы, конечно, и узнать. Хотя бы в благодарность за ужин.

После ужина они сидели на диване. Я в кресле. Иннокентий не отрывал руки от Настиного живота. Из этого я заключил, что Настя беременна. Я как бы в шутку задал им вопрос об этом. Они же ответили совершенно серьезно: да, беременна.

Меня это радует. Очень. Я их поздравил.

По предложению Иннокентия стали играть в лото. В его время играли. Сейчас не играют, но разве это имеет значение? Тем более что играть так приятно. Так уютно.

Я играл и думал, что Иннокентий заслужил этот уют, как никто.

А еще думал, что, если бы я был президентом, заставил бы население РФ вечерами играть в лото. Из всего, что сейчас могли бы предпринять власти, это мне кажется лучшим.

Воскресенье [Иннокентий]

Вчера был хороший вечер с Гейгером. Он очень воодушевился, узнав о беременности Насти. Ну да, естествоиспытателю всегда приятно, когда его подопечный размножается: это говорит о хорошем тоне. Шучу. Наши отношения с Гейгером в первую очередь человеческие, а уж потом врачебные и пр. С тех пор как я вышел из больницы, это стало еще очевиднее. С виду он может показаться суховатым,

но я-то его знаю. По-своему он очень сердечный человек.

Другое дело, что Гейгеру свойственна любовь к общепринятым истинам. Точнее, любовь к формуле, может быть, даже — к *фразе*. Ну, вроде того что после кофе повышается давление или, скажем, за преступлением следует наказание. А я вот прочитал на днях, что кофе, оказывается, далеко не всегда повышает давление. Не говорю уже о преступлении и наказании.

Про Настю Гейгер недавно сказал, что она-де для своего возраста удивительно прагматична, что молодежь быстро взрослеет. Человек со стороны подумал бы, что это похвала, да только я Гейгера уже неплохо изучил. Он рассматривает Настино качество как парадокс, при том что парадоксов не любит. Не друг он им. Я даже примерно представляю, от какой *фразы* он здесь отталкивается: *юности свойственна романтика* — что-нибудь в этом роде. А то, что романтика может сочетаться с деловыми качествами, его в глубине души раздражает.

Гейгер — человек правила. Он и фразу-то любит потому, что она формулирует правило. В правиле его сила (он абсолютно надежен), но в этом же и слабость: он боится исключений. Гейгер, я уверен, понимает, что жизнь сложнее всяческих схем, а в то же время он ими дорожит. Для него это вопрос упорядоченности мира. А в русской жизни исключение — правило, только Гейгер этого не понимает. Или, вернее, не принимает.

Вчерашней темой были шишки и синяки, которые будто бы автоматически рождают опыт. Синяки, подвергшиеся осмыслению, и являются опытом — вот как в точности было сказано. А мне так не

кажется. То есть это возможно: синяки могут рож-
дать опыт. А могут и не рождать. Вот, например, мои
главные впечатления с синяками не связаны, хотя
синяков у меня было ох как много. В прямом к тому
же смысле.

Понедельник [Настя]

Сегодня удалось договориться о сдаче бабушкиной
квартиры. Быстро это получилось, ничего не ска-
жешь. Я сказала Платоше, что не задирала цену
и вознаграждена за умеренность. Он поцеловал
меня в нос. Взгляд — отсутствующий, такие подроб-
ности его не интересуют. Я носом потерлась о его
подбородок.

— Ты понимаешь, балда, что теперь нам легче бу-
дет жить?

— Главное, — отвечает, — жить, остальное
как-нибудь приложится.

— Чтобы прикладывалось, требуются, между
прочим, усилия.

Получается, что из нас двоих добытчица — я.
Обидно мне это? Ни в коем случае. Было бы ката-
строфой, если бы добывать блага стал еще и Плато-
ша. Мы с ним сильны тем, что разные и взаимодей-
полняем друг друга. Это называется идеальный брак.
Я окружаю его жизнь комфортом, а он наверстывает
всё, что пропустил в заморозке.

Много читает. У нашей кровати две стопки
книг — с его стороны большая, а с моей — ну да,
маленькая. Я платоновское собрание вчера полиста-
ла: история, философия, литература. Не хухры-
мухры. А что в моей стопке — и говорить как-то не-

прилично. Детективы да лавбургеры. Изделия по преимуществу дамские. *Очечественные.*

Мои книги всегда можно отложить, даже выбросить, а Платошины — не можно. Ох... Предмет ревности моей. Я подлезаю ему под руку и шепчу:

— Иннокентий Петрович, вы очень заняты?

Смеется. Просит прощения. Очень темпераментно просит, а я вяло сопротивляюсь. Я, оказывается, интереснее книги, которая летит на пол. Лежит, распластанная, вверх обложкой, наблюдает наш финал-апофеоз. А я, случается, смотрю на нее. И на верхнем фа встречаюсь глазами с Арнольдом, скажем, Тойнби. Это слегка обескураживает. Самое же трогательное в том, что через минуту Платонов мой лезет через меня за книгой и снова принимается за чтение. Вот сейчас, когда я это пишу, он читает книгу о завоевании космоса в СССР. Неожиданно как-то.

Не очень страшно, что я, беременная, так кувыр-каюсь? Нужно будет спросить у врача.

Вторник [Иннокентий]

Читал сегодня книгу про Соловки — описывался там Кемский пересыльный пункт. А ведь это место, где я в последний раз видел моего кузена Севу. Что-то мне не хочется об этом писать.

Среда [Гейгер]

Иннокентий рассказал мне, что ему звонил “некто Белков” из правительства. Разговаривал с ним довольно долго.

Имелся в виду, конечно, Желтков. Человек, всем (кроме Иннокентия) известный. Желтков предлагал всяческую поддержку. Оставил свой телефон, чтобы Иннокентий в случае необходимости звонил. Будучи в Питере, обещал “заехать на чай”.

Sehr demokratisch*.

Среда [Настя]

Платоше звонил Желтков из правительства. Я бы сказала, *сам* Желтков. Предлагал *всяческую поддержку*. Кто-то, правда, заметил, что, когда предлагают всяческую поддержку, стоит испытывать сомнения: такое предложение ни к чему не обязывает. Но Желтков здесь, думаю, ни при чем — что же он может предложить, если Платоша ни в чем не нуждается?

А Платонов тоже хорош — разговаривал без особых эмоций, довольно, можно сказать, невозмутимо. Без преувеличенной (ах) радости, без даже волнения, сдерживаемого с трудом, — оч. спокойно. Я перед ним рукой помахала — мол, реанимируйся немного. Внутренне же моим Платоновым гордилась — ему из руководства страны звонят, а он вот так, без суеты, разговаривает. Мужчина.

Четверг [Иннокентий]

Гейгер, конечно, не так прямолинеен, как я его на днях описал. Это я ему за Настин прагматизм. Он уже понял, что меня такие слова задевают, и теперь

* Очень демократично (нем.).

помалкивает. Гейгер, лучше молчите... Так вот: хоть я в своих записях что-то преувеличил, в основном, думаю, не ошибся. Гейгер — умный и тонкий человек, верящий в общественные идеалы, которые отражены у него в разного рода высказываниях, нередко — в довольно пафосных воззваниях. Как я заметил, их Гейгер много знает. Он произносит их внешне небрежно, но в душе очень ценит.

Чего он, кажется, не понимает, так это того, что действительность устает от воззваний и начинает из них испаряться. Остаются лишь *фразы*, которые используются совсем не так, как ожидалось. Допустим, в мое время любили фразу о мире народам и земле крестьянам. И что? Вместо мира получили гражданскую войну, вместо земли — продразверстку, а потом колхозы. Никто такого и помыслить бы не мог — даже Гейгер, живи он тогда. Как бы он приспособливал тогда свои лозунги к действительности?

Или эти вот его рассуждения об опыте — всё о них думаю. Может быть, синяки и рождают кое-какой опыт, но я продолжаю считать, что он не главный. Вот, скажем, в детстве я часто видел в церкви покойников — тоже ведь, если угодно, *синяк*. Но как сейчас помню: эти покойники не рождали во мне страха смерти. Я рассматривал их внимательно, не боялся даже дотрагиваться. Погладил как-то одного старика по лбу: лоб был холоден и шершав. Мама, испугавшись, бросилась меня оттаскивать, а я не понимал, почему, собственно.

Смерть я открыл и ужаснулся ей лишь спустя годы, в пору моего взросления, но это не было результатом встреч с покойниками. Открытие было обусловлено логикой моего внутреннего развития.

Суббота [Гейгер]

Нашего Иннокентия тема опыта затронула всерьез. У нас был еще один разговор на сей счет. Иннокентий сказал, что его формировали не побои в лагере. Совсем другие вещи. Например, стрекотание кузнечика в Сиверской. Запах вскипевшего самовара.

Я попытался объяснить ему, что и это учитывается. В конце концов, всякое действие происходит на каком-то фоне. А он только руками замахал. Кузнечик, мол, — это и есть основное действие. И самовар тоже.

— Хорошо, — спрашиваю, — вы признаёте, что история — это цепь событий?

— Признаю, — отвечает Иннокентий. — Вопрос только в том, что считать событием.

История Иннокентия не только вневременная. Ее особенность еще и в том, что состоит она не из событий, а из явлений.

Или так: ее событием является всё, что ни происходит на белом свете. Включая, разумеется, кузнечика и самовар. Почему? Да потому, оказывается, что и тот, и другой распространяют спокойствие и мир. В этом-де их историческая роль.

Понедельник [Настя]

День начался с разочарования. Позвонили наши предполагаемые квартиранты и от жилья отказались. Я зачем-то спросила, по какой причине, ответили — по личной. Я сообщила это гражданину Платонову, но он отнесся к произошедшему спокойно. А мне —

жаль. Я потратила на поиск много времени и сил, нашла супружескую пару без детей — и вот на тебе. Придется всё начинать с самого начала. Нет счастья, подумалось. Тут же вспомнила стишок времен Платошиной юности об австралийском жителе — тот, значит, спускается на дно морское и ищет счастье людское. Вот кто нам нужен.

Интересно, что сегодня же вечером мы были на приеме в Австралийском консульстве. Я, вообще-то, впервые на иностранном приеме — забавно. Вначале появился консул и от имени австралийских жителей всех поприветствовал. Выступал, среди прочего, и неавстралиец: неожиданно для всех стал объяснять, почему нужно было бомбить Сербию. Самое смешное, что, подобно игрушке, он был пучеглаз, а речь его оказалась пересказом платоновского стишка.

Затем последовал фуршет. К Платонову моему то и дело подходили какие-то люди и выражали признательность за мужество. Он откладывал очередную тарталетку и вежливо их благодарил. Говорил, что у него просто не было выбора. Я любовалась своим галантным спутником. Зачем его приглашали в консульство, мы так и не поняли. Возможно, в этот день здесь собирали мужественных людей.

Вторник [Гейгер]

Иннокентий изменился. Не видно в нем больше страха перед тем, чего в его время не было. Собственно, и нынешнее время — тоже теперь *его*. Он в нем неплохо обжился.

Держится не то чтобы уверенно — спокойно. И, кажется, привыкает к роли знаменитости.

Всюду его приглашают, всюду ему рады. Я слышал, как он отвечает по телефону: “Спасибо...”, “Нужно будет заглянуть в мой календарь...”.

У Иннокентия действительно уже есть календарь. Это Настя.

Больше всего такая жизнь нравится, конечно, ей. Настя на седьмом небе и своих чувств не скрывает. Забавно. Вспоминая порой о своей беременности, принимает утомленный вид. Но даже тогда искрится счастьем.

И я этому рад. Такой источник позитива нужно еще поискать. Для моего пациента это очень важно.

Четверг [Иннокентий]

Анзер — это, наверное, единственное человеческое время из всех моих соловецких лет. Не называю это время счастливым единственно потому, что каждый день моей физической поправки приближал меня к дню моего ухода. К дню, шептал я себе, смерти моей, потому что ни я, ни другие *лазари* в отношении результатов заморозки не питали никаких иллюзий. Муромцев делал всё, чтобы продлить время нашего пребывания на Анзере, но что значили несколько подаренных недель в сравнении с отобранной жизнью?

Мы чувствовали себя животными, которых кормят на убой и которые — в отличие от обычных животных — об этом знают. Было в нашей жизни и в самом деле что-то животное — какое-то отупе-

ние было, не позволявшее приходить в отчаяние. Будто держали твою голову под водой и вдруг отпустили, дали вдохнуть — и ты хватаешь ртом воздух, и не очень-то думаешь о том, что тебя ждет впоследствии. Просто радуешься тому, что можешь дышать.

Муромцев выхлопотал для *лазарей* полную свободу перемещения. Им выдавали пропуска, позволявшие неограниченно передвигаться по острову. После завтрака (очень, кстати, сытного) я отправлялся на прогулку. На мне был овечий полушубок и шапка из волчьего меха, на ногах — мягкие офицерские сапоги. По дороге мне встречались полураздетые заключенные с тачками — такие же, каким совсем недавно был и я. Они молча провожали меня глазами: разговаривать с *лазарями* было строжайше запрещено. Я выходил к морю и гулял по берегу.

Хотя в глубине острова, особенно в лесистых его частях, уже лежал снег, на открытом берегу он почти не задерживался. Лишь кое-где, зацепившись за кусты, ненавязчиво обозначал свое присутствие, но даже эти пятна смешивались с песком и становились незаметными. На Анзере были удивительные песчаные берега. Ступая по песку, даже сквозь сапоги я чувствовал его мягкость и представлял себе юг: лето, влажный обод на панаме, песчинки между потными пальцами.

Я старался не смотреть на воду, потому что она была не летней. Море не имело над собой лазурных небес, так что подходящий цвет взять ему было неоткуда. Но песок имел совершенно летний вид. Он был, правда, холодным, ну да я его и не касался.

Читаю сейчас о космосе. Интересно, что первыми туда попали собаки.

Пятница [Гейгер]

Сегодня Иннокентий подписал контракт на рекламу замороженных продуктов. Это результат того, что звонившие попали на Настю.

Иннокентий мне рассказывал когда-то, что они ему звонили. Он повесил трубку. Я бы тоже, наверное, повесил.

А вот Настя не повесила. По-деловому с ними поговорила, узнала размер гонорара и впечатлилась.

В чем-то она права. Тех денег, что власти выделили на содержание Иннокентия, категорически не хватает. Да и они приходят нерегулярно. Мне пришлось ввести в клинике платные консультации. Это не вполне законно. Но доходы от этого шли на нашего пациента.

Интересно, что о подписанном контракте мне рассказала Настя. Не без гордости. Иннокентий это никак не комментировал. Испытывает неловкость?

Если контакты с замороженными продуктами продолжатся, от консультаций я смогу отказаться.

Пятница [Иннокентий]

Настя как-то изменилась. В сравнении с той, что была до смерти Анастасии, она чуть другая. Каждый день я открываю ее новую, и это большое удовольствие.

В какой степени она похожа на Анастасию?

Суббота [Настя]

На следующей неделе запланирована большая пресс-конференция в новостном агентстве. Сначала я думала, что это инициатива агентства, но они там проговорились, что событие проплачено овощной фирмой. По невероятному (ой!) совпадению — той, что рекламирует Платоша. Как любопытно: торговцы овощами рекламируют не только свою капусту, но и того, кто рекламирует ее. Всё продумано.

Кстати сказать, мой Платонов подписал контракт на серию рекламных роликов. Сразу после подписания повезли его на киностудию для съемки первого ролика. Он вяло отказывался, говорил, что не одет для съемки, то да се, но они сказали, что нужно будет, наоборот, раздеться. Я ему шепнула, что волноваться-то особенно нечего: белье у него свежее. Только это его не успокоило.

Приехали на студию. Стоит емкость из какого-то особого материала — серебристая, с сотней полированных заклепок. По краям емкости пропитанная клеем вата, как бы наледь, а из днища подается газ, изображающий азотную стужу. Пушистыми хлопьями газ стелется вокруг емкости на полу. Платошу раздевают до трусов и сажают в бочку. Собственно, в этой бочке его едва видно — только голова да плечи. Из-за кадра Платошу спрашивают:

— Что помогло вам продержаться здесь столько десятилетий?

Он достает пачку замороженных овощей и поднимает ее над собой:

— Вот это!

Вся студия валяется от смеха.

А мне вдруг становится его жалко.

Воскресенье [Гейгер]

Иннокентий и Настя описали мне съемку рекламного ролика.

С одной стороны, забавно. А с другой — это снижает трагизм жизни Иннокентия. В первую очередь в его собственных глазах.

Пролежал, получается, столько десятилетий в бочке. В ус не дул, замороженными овощами питался.

Какая все-таки пошлятина. Schrecklich*.

Понедельник [Иннокентий]

Снимался пару дней назад для рекламного ролика — Настя договорилась с агентством о целой серии таких. Глупость невероятная, даже пересказывать неловко, но дает сумасшедший гонорар. Никогда бы не подумал, что это приносит такие деньги.

Читаю сейчас о том, что происходило в стране после моего ареста. То и дело авторы высказывают мысль, что вся страна стала лагерем. Конечно, кое-что я еще тогда слышал от свежепосаженных, что-то знал благодаря Муромцеву, связи которого со столицами не прерывались. Но истинного размаха террора я себе все-таки не представлял.

Муромцев. Человеком он был искренним, в чем-то даже беспечным. От больших бед спасало его, думаю, то, что он уже пребывал на Соловках. Находился в центре воздушного вихря, где, как известно, спокойнее всего. За то, что Муромцев говорил мне

* Ужасно (нем.).

во время наших прогулок, на воле он был бы раз тридцать расстрелян. Впрочем, и я, готовясь к погружению в азот, своих суждений уже не скрывал — от всех, не только от Муромцева. Мои слова доходили, скорее всего, до лагерного начальства, но оно относилось к ним совершенно спокойно. Знало, что все мои суждения будут заморожены вместе со мной. И никогда не растают.

Другие *лазари* по-лагерному осторожничали, что меня искренне удивляло. Может быть, они и в самом деле верили, что их когда-нибудь разморозят, боялись возможных обвинений в будущем? Их страх действовал на меня угнетающе. Неужели, думалось, даже далекое будущее не выведет нас из большевистского ада?

Иногда Муромцев приглашал меня к себе в квартиру (у него была отдельная квартира!) и угощал кофе с коньяком. Когда его губы касались кофейной чашечки, торчащие пиками усы опускались неожиданно низко. Было видно, что усы академика подвергались особому уходу. Лицо его украшала также небольшая бородка, да и тонкие круглые очки замечательно блестели, но ничего красивее усов у Муромцева не было. Эти усы вкупе с кофе и коньяком вселяли надежду. Пока существовали те, кто так выглядел, нормальная жизнь не казалась безвозвратной.

Во время одной из бесед Муромцев сказал мне:

— Скоро начнется настоящий террор.

— А что, — поинтересовался я, — сейчас ненастоящий?

— Зря иронизируете. Настоящему террору нужны две вещи: готовность общества и тот, кто встанет во главе. Готовность общества уже есть. Дело за малым.

— И кто же встанет во главе?

Муромцев помолчал.

— Самый сильный. Он мне, как вы знаете, звонил однажды, так вот: его сила даже по телефону чувствуется. Звериная какая-то, нечеловеческая.

Я Муромцеву верил: он с крысами работал.

Вторник [Настя]

Утром позвонил Желтков — попал на меня. Точнее, позвонила его референт, а когда я ответила, что Платонова нет дома, в разговор вмешался сам Желтков и сказал, что так даже лучше.

— Мы с вами устроим маленький заговор: организуем чаепитие, чтобы ваш муж не знал. Пригласим его, так сказать, на всё готовое.

— Вы в Петербурге? — спросила я.

— А вы?

Хохот в трубке. Я тоже смеюсь, но больше из вежливости. Прощаемся до вечера. Желтков — отличный мужик. Юморной, легкий в общении. Правда, по словам Желткова, получалось, что о таком чаепитии Иннокентий Петрович давно мечтал, чуть ли не просил, и вот теперь оно состоится наконец-то. Но это так, штрих, который ничего не портит. Даже украшает Желткова в каком-то смысле — мол, и мы там живые люди, можем при случае и приврать. Когда совсем уж без слабостей — не по-человечески как-то...

Мы с Платошей купили пирогов в кондитерской, разных там восточных сладостей. В шесть вечера раздался звонок в дверь. Мы открыли. Первыми вошли два охранника (из ушей провода), за

ними люди в униформе кондитерской “Норд”, и только затем — гражданин Желтков. За Желтковым следовал примерно десяток фото- и телекорреспондентов. Завершали делегацию еще два охранника. Мы, растерянные, пятились в большую комнату, а пришедшие (это напоминало наступление) двигались на нас.

Чай пили минут десять — ровно столько, сколько потребовалось, чтобы установить кадр и произвести съемку. Душевной беседы, скажу прямо, не получилось. Да и какой уж там она могла быть душевной, когда за стол, несмотря на приглашение всем, сели только мы с Платоновым и Желтков. Остальная делегация, стоя у стены, щелкала затворами камер и переговаривалась по рации. Мы сделали по глотку, и вся компания с шумом и топаньем отбыла. Нам остался большой заварочный чайник с надписью “От Правительства РФ” и три торта “Норд”, из которых успели распечатать только один.

Интересно, он всегда так чай пьет?

Вторник [Гейгер]

Звонила Настя. Рассказала, как сегодня вечером к ним неожиданно заехал Желтков.

А я уже знал. Посмотрел по телевизору — всё показали. Иннокентий Платонов и покровитель размороженных Желтков.

Собственно, дело не в Желткове. Звонила Настя по поводу пирогов и тортов: вкусные, а есть некому. Приглашала завтра зайти на чай.

Зайду, конечно.

Среда [Гейгер]

Пили чай. Я не Желтков, у меня быстро не получилось. Засиделся до половины второго, возвращался домой на такси.

Неожиданно для меня Иннокентий стал рассуждать о диктатуре и терроре. О том, какая это народная беда. (Настя безмолвно указывала мне на пироги.)

А потом возьми да и скажи, что диктатура — это, в конечном счете, решение общества, что Сталин — выразитель общественной воли.

— Не бывает общественной воли умирать, — возразил я ему.

— Бывает. Это называется коллективным самоубийством. Почему на берег выбрасываются стаи китов, вы не думали?

Я не думал.

— Вы хотите сказать, — сказал я, — что Сталин — только инструмент этого самоубийства?

— Ну да. Как веревка или бритва.

— Такой взгляд освобождает злодея от ответственности, потому что какой же спрос с веревки?

Иннокентий покачал головой.

— Нет, ответственность остается на злодее. Просто нужно понимать, что злодеяние не могло не совершиться. Его ждали.

Ждали?

Пятница [Настя]

Сегодня утром я проснулась раньше гражданина Платонова. Села по-турецки на кровати, рассматривала спящего мужа моего. Не было на лице его без-

мятежности, было страдание. Губы подрагивали, веки. Отчего, спрашивается? После всех ударов судьбы и утрат — такой хеппи-энд. Всё он нашел: всеобщее внимание (да что там — полноценную славу!), деньги, даже потерянную свою Анастасию нашел в моем лице.

Очень хотелось разбудить его, но не посмела. Пришлось бы объясняться, что вот, дескать, он во сне... Такое объяснение могло бы его травмировать. Гейгер и так всё время предупреждает, чтобы была с ним осторожна. Вот и не будила, всё смотрела на него. Рука на одеяле — ниточки вен, идущих под самой кожей: в этом просвечивании есть что-то детское. Подумать только — рука столетнего человека! Меня ласкающая рука.

В интервью для одного женского журнала меня спросили (в интервью! меня!), высоко ли я оцениваю Иннокентия Петровича как мужчину. Хамский, конечно, вопрос. Я и ответила, что вопрос хамский, но не удержалась, сказала, что мужчина-то Иннокентий Петрович ого-го!

Посидела-посидела, а потом снова забралась под одеяло. Стала думать о всякой всячине. Вчера, например, обратился ко мне очередной рекламный агент, представлял какой-то мебельный концерн. Просил Платошу довести до сведения общественности, что повсюду цены на мебель стремительно растут, а у них, мол, уж три года, как заморожены. Телезритель, по мысли заказчиков, тут же взбодрится и начнет покупать их мебель. За неброское это высказывание Платоше предлагается сумма, в полтора раза превышающая овощи, — есть о чем подумать. Да и мебель всё же пореспектабельнее овощей будет.

Суббота [Иннокентий]

Маркс — мне, постукивая тростью:

— Линии построения — это фундамент работы. Вы не завершили построение формы, рано переходить к светотеневой моделировке.

А я, видимо, перешел. Зачем, спрашивается?

Суббота [Гейгер]

Через Настю Иннокентию предлагали вести корпоратив. На заводе, между прочим, холодильных установок. Это мне сама Настя рассказала. Спрашивала совета.

Я взял ее за плечи и посоветовал сбавить скорость.

Настя не возражала. По ее словам, потому она и обратилась ко мне, что предложение показалось ей сомнительным.

Ну, замечательно, что показалось. Потому что Настина активность уже стала вызывать мою тревогу. Иннокентий это чувствует.

— Вы, наверное, считаете Настю очень прагматичной... — сказал он мне на днях. — Говоря по-русски — корыстной.

— Нет, не считаю. Думаю, что в ней еще говорит детство. Просто оно говорит на современный лад.

Иннокентий посмотрел на меня долгим взглядом.

— Знаете, я ведь тоже так думаю.

Мы оба засмеялись.

Могу сказать, когда мне было не до смеха. Когда по телевизору увидел рекламу с Иннокентием. Я те-

левизора не смотрю, только за ужином включаю на короткое время. На вечерних новостях. А тут вдруг после новостей — Иннокентий в бочке. И жидкий азот, и овощи. И этот странный текст...

Хотел было с Настей серьезно поговорить. Потом подумал — а может быть, в чем-то она права? Деньги-то действительно нужны. Деньги. Geld*.

Понедельник [Иннокентий]

Я вижу, что Гейгера раздражает Настина деятельность. Но в разговоре со мной он сам определил это как детство. Всё правильно: это действительно детство. Такое восприятие дела помогает ведь и мне, примиряет с тем, что в Настинном поведении мне неблизко. Но Настина детскость — как бы она ни проявлялась — умиляет меня, порой чуть не до слез. Иногда — пугает своей принадлежностью к другому миру, несоответствием мне, моему опыту.

Я боюсь, что мы никогда не сойдемся, потому что мой опыт — я уже говорил об этом — меня не формировал. Он убивал. Я сейчас много читаю о советском времени и вот, кажется, у Шаламова наткнулся на мысль о том, что, пережив страшные события в лагере, нельзя о них рассказывать: они за пределами человеческого опыта, и после них, может быть, лучше вообще не жить.

Я видел вещи, которые выжигали меня изнутри, они не помещаются в слова. В концлагерь доставляли партии заключенных женщин, которых тут же

* Деньги (нем.).

насиловала охрана. Когда у несчастных появлялись признаки беременности, их отправляли на Заяцкий остров — *остров джультетт*. Это было место наказания за *половую распущенность*, которая в лагере строго каралась. На абсолютно голом, вечно продуваемом острове условия были ужасными, многие не выживали. Я пишу это, и по написанному бродят тени, которые когда-то были людьми. Слова рассыпаются в прах: они никак не складываются в людей.

Для того чтобы словам вернулась сила, нужно описать неопишуемое. Тонкие лица смолянок под слюнявыми губами гэпэушников. Под их немытыми руками. От этих ублюдков несло потом и перегаром, они вызывали самых красивых женщин для “мытья полов”, и те не могли их послушаться.

Вопль женщины, у которой расстреляли мужа, отняли пятерых детей и отправили на Соловки. Там ее изнасиловали и заразили дурной болезнью. О болезни ей сообщил врач. У крыльца лазарета она каталась по мерзлой земле. Ее сначала не били, приказывали подняться. Затем начали бить сапогами — всё сильнее и чаще, входя во вкус и зверея. Она кричала громко и тонко, коротко замолкая после ударов под дых. Самым страшным в ее вопле была не сила, а неженская басовая нота, завершавшая каждый ее тонкий крик.

Я это видел. И с тех пор безуспешно гоню из памяти. Это — то, с чем я живу, что так отличает меня от Насти и делает нас людьми с разных планет. Как же мы сможем вместе жить, бесконечно разные? У нее весенний сад, а у меня такая бездна. Я знаю, как страшна жизнь. А она не знает.

Вторник [Настя]

Сегодня была Платошина пресс-конференция. На ней супруг мой выглядел гораздо увереннее, чем прежде. Это мне пришло в голову во время конференции, в этом я утвердилась, просматривая ее в вечернем повторе. Пересказывать ее нет смысла: она вся опубликована в “Вечерке”.

Вторник [Гейгер]

Смотрел вечером большую пресс-конференцию Иннокентия.

Он сидел на фоне рекламного щита. Это придавало происходящему в высшей степени коммерческий вид.

Иннокентий стал увереннее в себе. Отвечал спокойно.

Пальцы его крутили карандаш. Позже Настя мне сказала, что карандаш (хорошо, не мороженую морковь) принесла овощная пиар-служба. Для создания образа уверенности. Вот Насте, думаю, такой не нужен.

Не обошлось без тех милых экспромтов, которыми богата жизнь. Когда Иннокентий отвечал на вопрос о сумме поддержки его со стороны государства (разочарованный гул в зале), на рекламном щите телекамерахватила “ООО Родина”.

Патриотическую фирму заметил не только оператор. Репортер одной из газет показал на рекламный щит и спросил у Иннокентия, не кажется ли ему, что Родина в его отношении была и в самом деле ООО. Шутка, однако, подвисла. Иннокентий не знал значения аббревиатуры.

Когда ему всё объяснили, он всё равно не стал смеяться. С полной серьезностью стал рассуждать о том, что в ограниченной ответственности Родины нет ничего плохого. Каждый-де должен отвечать за себя. Только личная ответственность может быть неограниченной.

А потом сказал, что бессмысленно винить в своих бедах государство. И историю — бессмысленно. Винить можно только себя.

Корреспонденты приуныли. Один спросил:

— Разве вы не вините государство в том, что попали в лагерь? Что вас превратили в глыбу льда? Что ваша жизнь стала сущим наказанием — неизвестно за что?

— Наказания неизвестно за что не бывает, — ответил Иннокентий. — Нужно лишь подумать, и ответ обязательно найдется.

Интересная логика. Станным образом совпадает с логикой ГПУ. Там помогали найти ответ.

Вторник [Иннокентий]

Я все спрашиваю себя, похожа ли Настя на Анастасию. Когда мы только познакомились, мне казалось, что похожа. А теперь вроде бы — нет. Я не могу определить тех изменений, которые произошли в Насте. Стала раскованней? Уверенней в себе? Вот говорят, женщину можно узнать только в браке. Пусть это очередная *фраза*, расхожая фраза, но значит ли это, что она неверна?

Да, пока мы не жили вместе, Настя была немного другой. Но было бы странно сохранять стиль наших прежних отношений, когда обстоятельства нашего общения изменились. Мы, например, видим теперь

друг друга голыми, и что — пользоваться нам прежними словами? Просто этого этапа у нас с Анастасией не было, иначе она, я думаю, тоже бы изменилась. И пора уже прекратить сравнивать Настю с Анастасией. Настя — сама по себе, она не овечка Долли и не копия бабушки — совершенно отдельный человек. Почему же я меряю ее чужой мерой?

Среда [Настя]

Ночью я проснулась от тихого как бы скуления. Включив ночник, поняла, что это Платоша. Он плакал во сне, и лицо его было мокрым от слез. Он пытался что-то произнести, но рта при этом не открывал, а голос был почему-то тонким, почти детским. Оттого и казалось, что он скулил. Лицо с закрытыми глазами обычно невыразительно, а тут было столько горя... Не лицо — трагическая маска, отразившая то, что он пережил там, в прошлой жизни. Будить? Не будить? Хотелось сейчас же прервать этот мутный сон, но побоялась, что так будет только хуже. Коснулась Платошиных глаз губами, почувствовала соль. Он открыл глаза, но не проснулся. Снова закрыл их и дальше спал без стонов.

А я уже не могла заснуть. В голову стала лезть всякая дневная ерунда. Вспомнила, что сегодня окончательно договорилась о сдаче моей квартиры и даже взяла задаток. Стала решать, что оставить в квартире: естественно, мебель, посуду, еще какую-то ерунду. Увезти: любимые книги, интимные всякие подробности, бабушкины вещи. В таких случаях составляют список, но я вставать не хотела, чтобы не будить Платошу.

Четверг [Иннокентий]

Несколько гѣпѣушников в лечебной части изнасиловали девушку. Я лежал за деревянной стеной и всё слышал. Встать не мог. Крикнул врачу, но врача не было. Начал стучать в стену, но на меня никто не обращал внимания. Я продолжал стучать. Пришел кто-то из насильников, стащил меня на пол и несколько раз ударил сапогом. Я потерял сознание.

Очнулся от плача за стеной. Был слышен еще голос врача, звяканье инструментов. Потом врач зашел ко мне.

— Я могу указать гѣпѣушника, который там был, — сказал я. — Он заходил меня бить, и я его запомнил.

Врач осторожно помог мне лечь на кровать.

— Неужели запомнили? — На пороге обернулся. — Я бы на вашем месте как можно скорее забыл.

Удивительно, но я знал, кто лежит за стеной. Это было то нематериальное существо, которое я когда-то увидел в квартире на Петроградской стороне. Перила с коваными лилиями на лестнице, запах книг в квартире. Она шла впереди меня. Хромала. Я медленно двигался за ней вдоль книжных полок. Хромала, да. Волосы собраны сзади, шаль на плечах, так посмотришь — библиотекарьша библиотекаршей, да еще эти книги вокруг. И я ей еще несколько книг принес — из тех, что у их семьи брал профессор Воронин. Мещеряковы: фамилия слилась с адресом и оттого сохранилась. Семья Мещеряковых. Что за семья? Так и не узнал.

Я ведь даже имени ее не узнал. Не хотел? У тайны, считал, не может быть имени?

Мы прошли в библиотеку (собственно, все комнаты здесь были библиотекой). Два кресла по разные стороны круглого стола. Она обернулась, встала за дальним креслом, положила на спинку руки. Я ее впервые рассмотрел: нет, не библиотекаряша. Ни в коем случае.

— Вот, — я протянул ей книги. — Просили передать.

И поскольку она продолжала молчать, я сказал:
— Спасибо.

Улыбалась. Удивительное лицо: готическое, с запавшими глазами. И оплетающая тонкую шею вена. И эта хромота... Ответила:

— Пожалуйста.

Она не предложила мне чая, потому что с ней никакой чай не соединялся — она, что ли, воду на керосинке стала бы кипятить? Но ведь даже сесть не предложила. Королева. Я стоял и смотрел на нее. Представлял счастье соединения с ней. Не счастье — что-то другое, с такой не может быть счастья, может быть разве что сладость боли. Она была особенной, и эта особенность привлекала. Всех. Недаром даже звероподобные гэдэушники охотились за ней в лечебной части. Солистски ансамблей народного танца их уже не заводили. Им, сволочам, хотелось нематериального.

В ту лагерную ночь, когда все ушли, она пришла ко мне. Приковыляла. Приползла. Она тоже меня тогда в Питере запомнила и здесь узнала. Села на мою кровать, а потом легла, потому что сидеть не могла. Я гладил ее руки. Гладил волосы — в запекшейся крови, жесткие, как проволока. Молча. Я уже знал, что с ней надо молчать. Но наши прикосновения были глубже слов. Под утро она прижалась губами к моему уху:

— Спасибо...

Я хотел ей ответить, но она закрыла мне рот ладо-
нью:

— Иначе меня бы уже не было.

Ладонь ее пахла лекарствами.

Лежа рядом со мной, она была Анастасией. Когда она ушла, я понял, что гэпэушника — убью. Мне стало легко, и я заснул.

Пятница [Гейгер]

Вчера со мной связались из Смольного. Сказали, что нас с Иннокентием приглашает к себе губернатор. Поскольку вопрос о квартире Иннокентия решался на уровне губернатора, я ответил, что попрошу Иннокентия приехать.

Я позвонил ему. Он не имел ничего против. И вообще отнесся к этому очень спокойно.

Сегодня мы приехали к двенадцати. Нам пришлось подождать, губернатор с кем-то встречался. Когда нас пригласили в комнату для приемов, там уже находились журналисты. Собеседников усадили на кресла у круглого стола.

Губернатор произнес по бумажке несколько фраз. Ни одной из них я не могу сейчас вспомнить — кроме последней. В ней говорилось, что Иннокентий как никто другой должен понимать разницу между демократией и диктатурой.

Иннокентий поблагодарил. Как я понимаю, большего не требовалось, но он решил ответить. Почему, собственно, нет?

Сказал Иннокентий, что удельный уровень зла примерно одинаков во все эпохи. Просто зло при-

нимает разные формы. Иногда оно представлено анархией и преступностью, а иногда властью. Он, долгожитель, видел и то, и другое.

Губернатор подумал и спросил, как Иннокентий себя чувствует.

Ответ и здесь не был формальным. Гость рассказал губернатору об изменениях температуры и давления. Это было, конечно, неожиданно. Aber schön*.

Суббота [Иннокентий]

Вчера мне позвонили из какой-то партии и предложили в нее вступить. Я изобразил колебание. Мне объяснили, что это партия власти и что если я хочу чего-либо достичь... У меня есть Настя — чего большего я могу достичь? Я поблагодарил их и повесил трубку. Потом позвонил Гейгер с приглашением от губернатора. Я тут же согласился с ним поехать, а о партийном звонке говорить почему-то не стал. Потому, может быть, что он совпал с приглашением. Чего они от меня хотят? Рекламы? Им понравились мои ролики с овощами?

Сегодня, когда нас принимал губернатор, у меня была возможность рассмотреть его с близкого расстояния, представить себе, как выглядит власть. А выглядит, прямо скажу, обычно, ничего сверхъестественного: большие залысины, ухоженное и вместе с тем какое-то помятое лицо, пятна на коже. Я смотрел на губернатора и думал о том, что соседство его не доставляет мне волнения, как если бы его

* Но красиво (нем.).

присутствие было телевизионным. Да, это точное сравнение: предмет наблюдения рядом и хорошо виден, но контакта с ним нет, он по ту сторону экрана.

А моя жизнь — по эту.

Воскресенье [Иннокентий]

Нет, все-таки напишу про кузена Севу. Севу на Кемском пересыльном пункте. Севу в кожанке, в фуражке с красной звездой.

Мы, з/к, стояли третий час в строю и ожидали начальника, который решит нашу судьбу. Точнее, судьбы, потому что даже здесь у каждого она была своя. Начальник появился, и им был Сева. Он шел в сопровождении нескольких чекистов. Не могу сказать, что, увидев его, очень уж удивился — разве что в первую секунду. В сущности, чего-то такого от него можно было ожидать. Он нашел ту большую силу, которую искал, и теперь действовал от ее имени.

Он заметил меня не сразу. Сначала сел за стол, налил себе воды из графина. Выпил. А потом поднял глаза и заметил. Мне показалось, что улыбнулся, но — только показалось. Не улыбка была — судорога. Сразу же опустил глаза в бумагу на столе. Почесав нос, начал ее зачитывать: фамилию и место распределения. Несмотря на наигранную строгость, голос его дрожал. С приближением к букве “П” стал срываться.

— Платонов!

В Севином взгляде страх и мольба. Он, несомненно, думает о том, что родство со мной его скомпрометирует. Что чекисты всё тут же донесут куда следует.

— Я! — отзываюсь.

Я и Сева, два авиатора. На море, еще более северном, чем тогда. Только теперь он — ведущий, все нити в его руках. Куда летим?

— До моего особого распоряжения оставаться на Поповом острове, — он перешел на хрип.

— Есть оставаться!

Смотрю в пол. Краска на досках облупилась — образовался верблюд, лежит себе на полу. Хорошо им, верблюдам, в теплых краях. Могут на все плевать. Даже не видя Севы, чувствую его облегчение: я не подал виду, что с ним знаком. Мне достало смекалки, чтобы понять, что пересыльный пункт — не лучшее место для узнаваний.

С этой минуты у меня появилась надежда, что он меня из лагеря вытащит. Или оставит, скажем, здесь на легкой работе. Я ожидал, что сегодня-завтра он меня как-то найдет или попросту вызовет. Для начала — чтобы подбодрить, а затем — кто знает? — и облегчить мою участь.

Ничего этого не случилось. Ни во встречах со мной, ни, тем более, в постоянном моем пребывании рядом Сева заинтересован не был. При своей мнительности он, я думаю, считал для себя это слишком опасным.

Особое Севино распоряжение появилось через двенадцать часов. Меня отправляли в 13-ю роту Соловецкого лагеря особого назначения. Это было одно из самых жестоких мест на Соловках. Ставили ли Сева своей целью меня уничтожить? Не знаю. Уверен лишь в том, что, подписывая свое распоряжение, он страдал. Может быть, вспоминал еще наш спор о локомотивах истории.

Вторник [Гейгер]

К губернатору не пригласили Настю. Эту претензию задним числом высказал мне Иннокентий.

Первоначально он ничего такого не говорил. Из этого следует, что претензия исходит от самой неприглашенной. Иннокентий попросил меня в таких случаях отдельно упоминать о Насте.

Она ходит бледная. Видно, что беременность ее протекает не так легко. Отсюда и нервы.

Кстати, о походе к губернатору. Пока мы его ждали, Иннокентий рассказал мне, что на днях дочитал книгу о героях космоса. Из многочисленных героев наибольшее впечатление на него странным образом произвели Белка и Стрелка. Он говорил о них взволнованно.

Вторник [Настя]

Платоша с Гейгером ходили к губернатору — меня никто не пригласил. Не то чтобы мне как-то особенно был нужен этот губер, мне он, в принципе, по барабану — просто жена приглашенного по этикету должна быть с ним. У Гейгера, небось, и мысли такой не возникло, а вот Иннокентий Петрович мог бы и сообразить. Сначала не говорила ему, что думаю на сей счет, а потом, когда любовью занимались, сказала. Он: ах, как же неловко всё получилось, я этого сразу не понял, мне это даже в голову не пришло.

Жаль, что не пришло. Всё, не хочется больше сегодня писать.

Четверг [Иннокентий]

Я изучил пути гэпэушного насильника. Не изучил даже — потому что как бы я мог следовать за тем, кто передвигался по лагерю свободно? — просто я работал поблизости от того места, где они пролегли: в ремонтной мастерской. Фамилия гэпэушника (это я узнал довольно быстро) была несложная — Панов. Что до его путей, то и они были незамысловаты: вели в стоявшую за мастерской баню для командного состава.

Появлялся Панов обычно по субботам со своей гэпэушной сменой, иногда приходил среди недели. Сначала я думал, что там этот тип встречается с дамами, но выяснилось, что такие встречи он предпочитал устраивать на дому. Панов ходил в баню так часто единственно потому, что любил попариться. Ценил телесные наслаждения и в широком смысле, но париться было для него едва ли не главным. Наше пересечение в пространстве (устроилось же так!) показалось мне неслучайным. Оно окончательно убедило меня в том, что Панова я все-таки прикончу — как и наметил.

Мне ведь даже бегать за ним не требовалось: он сам ходил мимо меня, я его в тусклом окне мастерской видел. Однажды я взял ведро с тряпкой и помыл окно. Все смеялись — мол, зачем? Не могу (я сказал) выносить грязи на стеклах. Это еще домашняя привычка. Ну, если домашняя (всё равно смеялись), тогда другое дело. Зато я хорошо стал видеть Панова — идущего туда и обратно. Обрато он иногда шел один, из чего можно было заключить, что в парилке в таких случаях он был последним.

Однажды после его усталого (опущенная голова, палец в носу) движения мимо окна я через черный ход выскользнул из мастерской и, не выходя на дорогу, пробрался к бане. В окне предбанника света не было. Дверь в баню была закрыта на ключ. Его я вскоре обнаружил под деревянной решеткой у двери, но оставил на месте. Главное я узнал: Панов оставался в бане и после того, как по лагерному распорядку она должна была закрыться, а персонал — уйти. Ему оставляли ключ, и он закрывал баню самостоятельно.

Я уже мог уходить, но еще раз поднял деревянную решетку. Сбита она была грубо, с большими щелями между рейками. Из-за брючины я вытащил полотно ножовки по металлу. С одной стороны оно было заточено, с другой замотано грубой тканью. Я вложил полотно в щель между досками, и оно легло хорошо. Я нажал на его ребро двумя пальцами. Оно совершенно утонуло в щели — если не считать маленького кончика, за который его можно было вытянуть. Но, не зная о нем, его нельзя было заметить. А знал о нем только я. И эта тайна облегчала мне жизнь.

Пятница [Гейгер]

Мне позвонили из администрации президента. Сообщили в торжественных словах, что Иннокентий и я приглашены в Москву для получения орденов.

Я тут же вспомнил: они звонили мне пару месяцев назад. Спрашивали, кто, помимо меня, достоин награды за смелый научный эксперимент. Я ответил, что, прежде всего, не знаю, достоин ли этого я.

Меня вежливо перебили и предложили все-таки подумать. Wahnsinn...*

Если для кого эксперимент и был смелым, то для Иннокентия. Я назвал его.

В этот раз сомнения выразили мои собеседники. Они опасались, что Иннокентий Петрович в какой-то мере был... *объектом* эксперимента.

— Нет, — возразил я неожиданно горячо. — Нет, нет и нет.

Он был самым настоящим субъектом — если уж они ценят такие слова. Пошел на эксперимент сознательно и был субъектом.

Вот ведь, оказывается, и в администрации президента способны прислушиваться. Ордена дали обоим — мне и Иннокентию. Только мне — орден Почета, а ему — Мужества. С его стороны выше всего они ценили все-таки мужество. Которое, как сказал я ему, сообщая о награде по телефону, непременно рождает почет.

К этому известию Иннокентий отнесся невозмутимо. Спросил только, была ли приглашена на церемонию Настя. Нет, не была. И вряд ли я мог здесь что-либо изменить.

Пятница [Иннокентий]

Тут Гейгер мне звонил и что-то странное рассказывал об орденах. Не то чтобы в это не верится (во что только я после разморозки не поверил!) — со мной как-то это плохо сочетается. Кроме того, Гейгер узнал, что в Кремль без родственников приглашают.

* Сумасшествие (нем.).

Настя опять обидится. А может, его просто разыграли — насчет орденов-то? Я читал о таких случаях.

Пятница [Настя]

Завтра в мою квартиру въезжают жильцы. Сегодня взяла отцов-орденоносцев и поехала туда наводить последние штрихи. Так, стало быть, и ехали в такси: справа на заднем сиденье Почет, слева Мужество, а на переднем сиденье я, непонятно кто. Ну, допустим, Материнство — могла бы я стать матерью-героиней? Да запросто.

Они стесняются того, что я не приглашена на церемонию, а я их, как могу, утешаю. Ехать в Эмск от души не хочу. Одно дело с ребенком в животе проехаться в Смольный, а другое — стоять на чужбине в пробках. Отрадно при этом, что обо мне в этот раз вспомнили. Как же я их обоих люблю — даже зануду Гейгера!

Привели квартиру в относительный порядок, собрали четыре сумки вещей, которые неохота оставлять у чужих, и отвезли их на Большой проспект. Особо ценным объектом мне казалась статуэтка Фемиды, доставшаяся бабушке от Платошиной матери. У Фемиды отломаны весы, что, по преданию, дело рук моего мужа. Я нарочно доставала Фемиду при нем — торжественно и не торопясь, — но он не отреагировал. Когда поставила ее в столовой на шкаф, вяло кивнул.

— Что может быть выше справедливости! — крикнула я, чтобы расшевелить этого человека.

Он подумал. Сказал:

— Наверное, только милость.

Когда Гейгер ушел, он признался мне, что у него болела голова. Тут уж, конечно, не до справедливости.

Суббота [Настя]

Вчера Платоша себя действительно чувствовал неважно. Я уложила его, и он сразу же заснул. Через какое-то время позвонила Гейгеру, чтобы сообщить ему о Платошином самочувствии. Заодно рассказала, что любимая игрушка детства больше его не радует.

— Он писал, — припомнил Гейгер, — что эта статуэтка у него как-то связана с первыми шагами в живописи. Чуть ли не вдохновила она его заниматься этим. А теперь у него здесь какой-то ступор. На этой почве, видимо, сложности и с Фемидой.

— Так что же мне с ней делать?

— А ничего, пусть стоит. Может быть, она его пробьет.

Вот оно как. Ну, пусть стоит.

Понедельник [Иннокентий]

Я всё думаю: как я тогда все-таки решил прикончить Панова? Такие порывы в лагере быстро исчезают. Не то чтобы сил нет (их, конечно, нет) — просто не видишь в этой вендетте смысла. Чувства испаряются. Их остается всего ничего, и они направлены на самосохранение. Когда позднее я ждал на Анзере своей заморозки, у меня уже не было никаких страданий и обид. После всех побоев, издевательств и пыток — не было. Усталость была.

А в тот тихий вечер, спрятав заточку в решетке у крыльца бани, я вздохнул с облегчением. Носить такую вещь при себе было небезопасно. Да и не нужно. Она требовалась мне именно здесь, теперь оставалось только ждать удобного момента.

Момента я дождался, но Панова так и не убил.

Был такой же примерно тихий вечер, когда я понял, что сейчас он в бане один. Всё связанное с Пановым происходило, да, тихими вечерами. Выскользнув из мастерской, я приближался к бане. Видел издали электрический свет в предбаннике и вспоминал ночь изнасилования хромой девушки. Я пытался ввести себя в то состояние, когда рука сама нанесет удар. Не удар даже, укол, разрез. Какое-то тонкое и изящное движение, проводящее узкую ножовку меж пановских ребер. Я не хотел, чтобы он мучился, хотел, чтобы он не жил, чтобы просто прекратил свое смрадное существование.

Беззвучно подняв решетку, я вынул мою заточку. В последних лучах солнца полюбовался заточенной ее частью, блеском ее — сколько же раз я прошелся по ней разного размера напильниками, ставя последние штрихи самым тонким! И всё скрывал, скрывал ее от тех, кто находился в мастерской. Платонов... Я отвлекаю, беру под локоть и отвожу к стене. Платонов, ты на кого это заточку мастеришь? Никто не спросил, никто не засек. И в тот самый вечер я любовался заточкой, не очень беспокоясь, что заметит меня, скажем, Панов. Я был на таком взводе, что он бы от меня всё равно не ушел.

Прежде чем открыть дверь, я подошел к окну предбанника. На деревянной лавке лежал непод-

вижный Панов. Лежал на спине, руки его были вытянуты вдоль тела, само же тело было трупно-белым и не подавало признаков жизни. Я стал следить за его животом, стремясь уловить хоть малейшее дыхательное движение, но движения не было.

Я понял, что напоминала мне эта картинка в окне: это было повторение виденного мной в морге на опознании тела Зарецкого. Я смотрел на то, что прежде было Зарецким, и думал, что справедливость восторжествовала. И осознавал, что не рад этому торжеству. И очень хотел, чтобы Зарецкий был жив.

Рука Панова дрогнула и почесала грудь. Я глубоко вдохнул. Я и сам не знал, что испытывал в то мгновение — радость или разочарование. Знал одно: Панова я уже не убью.

Вторник [Иннокентий]

Сегодня днем прилетели на самолете в Москву. Гейгер меня учит: слово “самолет” можно опускать, понятно, дескать, что не на аэроплане. Так же точно, говорит, как не нужно больше “звонить по телефону” — достаточно просто “звонить”... Поужинали сейчас в гостиничном ресторане и сидим каждый в своем номере.

В отличие от доктора Гейгера, авиатор Платонов сегодня впервые поднимался в небо — такой вот особенный авиатор. Не злоупотребляющий полетами. Даже единственный мой сегодняшний полет — и тот не получился. Когда самолет стал разгоняться на взлетной полосе, мне стало как-то нехорошо, душно, тошно. Гейгер (он сказал, что я сильно по-

бледнел) включил над моим сидением вентилятор, и стало чуть легче. Окончательно меня отпустило, когда самолет набрал высоту.

В голове всплыла картинка нашего последнего с отцом посещения Комендантского аэродрома. Конец августа. Авиационный митинг, дождь, зонты над толпой. В очереди аэропланов ближний к нам — аэроплан авиатора Фролова. Его полета ждут с особым чувством: объявлено, что сегодня он будет показывать прежде невиданные фигуры высшего пилотажа.

Фролов стоит под крылом своего аэроплана, во рту его незажженная папироса. В поисках спичек он хлопает себя по многочисленным карманам комбинезона. Находит. Чиркает. На дожде спички отсырели. И тут я думаю следующее: если авиатор Фролов сегодня вдруг разобьется (высший пилотаж все-таки), то получится, что перед самой смертью не исполнилось такое, в сущности, простое его желание.

Мне жаль авиатора. Я прошу у отца спички и через поле бегу к нему. Это запрещено, и мне свистит распорядитель, но я бегу, чтобы вручить авиатору спички. Он каким-то образом всё понял и уже идет мне навстречу. Улыбается. Я всё еще бегу, держа на вытянутой руке спичечный коробок. Мы встречаемся. Авиатор берет спички и зажигает папиросу. Делает первую затяжку, его лицо в клубах дыма. Прощаясь со мной, крепко пожимает мне руку. От этой силы я едва не вскрикиваю, но мне удается сдержаться. Вот оно какое — пожатие авиатора. Возвращаясь в толпу зрителей, я снова пересекаю часть летного поля, но распорядитель уже не свистит. Он стоит отвернувшись.

И вот я рядом с отцом, смотрю на летное поле. Приходит очередь авиатора Фролова. Давно уже докуривший свою папиросу, он сидит в кресле аэроплана. Винт работает. Аэроплан дергается и трепещет, сдерживаемый восемью служителями аэродрома. По сигналу авиатора служители отпускают крылья и падают на землю. Наконец-то. Машина освобождается от последнего, что ее держало на земле. Подпрыгивая то одним колесом, то другим, пробегает небольшое расстояние и взмывает в воздух. Резко, как-то даже слишком резко, набирает высоту.

Полет. Аэроплан плывет в воздухе, как большая птица. Так до конца и непонятно, за что он там держится. Пока о физических законах, о конструкции аэроплана говорят — понятно. А как посмотришь на одинокое его парение в воздухе — непонятно. И удивительно. И очень страшно за сидящего в нем человека.

Я ведь не зря боялся... Не зря. Всё случилось тогда, когда сложные фигуры были уже показаны. Из дальнего поднебесья аэроплан Фролова летел на посадку. Круговое и плавное его снижение внезапно прервалось. Сравнение с подстреленной птицей, обошедшее потом все газеты, кажется мне и сейчас единственно возможным. Несмотря на свой откровенный романтизм, оно соответствовало тому, что я видел: правое крыло по-птичьи заломилось, и машина, вращаясь вокруг своей оси, устремилась вниз.

Потом написали, что лопнул трос, связывавший крылья биплана, что конструкция потеряла жесткость, но в те мгновения ничего не было понятно, кроме одного — приближается беда. Можно, конечно,

было еще надеяться, что авиатор выполняет одну из фигур высшего пилотажа и сейчас выйдет из своего пике, если бы не это поломанное крыло — почти отделившееся от машины и трепещущее на ветру, — оно не оставляло надежды.

Толпа на аэродроме разом замолчала. Все уже знали, что авиатор летит к своей смерти. Летел он как-то невероятно долго, а вращение аэроплана выглядело комичным и оттого особенно страшным. Всякий раз, когда машина поворачивалась к нам своей верхней частью, был виден сидящий в пилотском кресле Фролов, и всякий раз руки его располагались по-разному: вероятно, он отчаянно дергал за разные рычаги, пытаясь вывести машину из штопора. Мгновения его полета всё длились и длились, и я успел подумать, что так продлевается его жизнь, что сейчас я вижу его живым, а спустя миг он будет мертвым, и об этом знают все — и он, рвущий рычаги машины, и мы, застывшие в безмолвии... Я приготовился поймать грозный миг перехода жизни в смерть, но ничего, конечно же, не поймал.

Когда аэроплан врезался носом в землю (деревянный треск конструкции), безмолвие взорвалось тысячеголосым криком толпы. Людская масса с разных сторон бросилась к аэроплану, мгновенно затопив собой летное поле, — так по скатерти разливается пролитый кофе. Люди уже были готовы бежать, и удар аэроплана о землю дал им старт. Я мчался вместе со всеми, по изломанным крыльям машины предугадывая состояние авиатора. Я бежал и кричал, но, сам того не осознавая, замедлял свой бег, перемещался из первого ряда вглубь, покидая число тех, кто должен будет первым подойти к раз-

бившемуся. И чем медленнее я бежал, тем громче становился мой крик, словно отчаянным этим криком я пытался восполнить мое отсутствие на передней линии.

Когда я все-таки увидел Фролова, вид его оказался не так страшен, как я боялся. Рассеченный лоб, струйка крови изо рта, неестественно вывернутая рука. Этой рукой он брал у меня спички. Ею пожимал мою руку — крепко, до боли. Сейчас она не годилась ни для какого — даже самого слабого — рукопожатия. Эта рука мне вспомнилась впоследствии, когда я прочитал известное блоковское:

Уж поздно: на траве равнины
Крыла измятая дуга...
В сплетеньи проволок машины
Рука — мертвее рычага...

Мертвее рычага — я знал цену этой детали.

Среда [Настя]

Смотрела по телевизору репортаж из Кремля. Парни мои сегодня зажигали. Орденосец Платонов во время награждения нашел возможность рассказать про Белку и Стрелку — очень, считаю, уместно и с любовью к природе. Гейгер — тот тоже ничего: бросил на ходу “спасибо” и вернулся на место. Не взглянув на верховного главнокомандующего. Не очень он его любит — ну, так а за что, если разобраться, его любить? Одним словом, я обоими орденосцами гордилась.

Среда [Гейгер]

Мы с Иннокентием на обратном пути из Москвы. Едем в спальном вагоне — решили все-таки ехать поездом.

Он самолет плохо переносит. У него воспоминания о каком-то погибшем авиаторе. Погибшем на его глазах.

Я пишу.

Иннокентий рассматривает ордена. Положил перед собой две коробочки — в одной Почет, в другой Мужество. Задумчиво жуёт губами. У него вид человека, объятого недоумением. Смотреть на него забавно.

Сегодня утром нас собрали в администрации президента на Старой площади. Из будущих орденосцев я знал всех — или почти всех.

Вскоре нас посадили в автобус и повезли в Кремль. Награждения ожидали в зале с низким потолком. Ели пирожные и пили сок.

По залу двигался распорядитель из службы протокола. Предлагал отдать ему подарки для президента. Вручать что-либо самому президенту не полагается.

Он подошел и к нам, но мы с Иннокентием только развели руками. Мы никому ничего не собирались вручать. В лице распорядителя мелькнуло разочарование.

Когда он пригласил всех пройти на награждение, Иннокентий был в туалете. Разочарование распорядителя усилилось.

Первым из нашей пары вызвали Иннокентия. Заглянув в бумажку, президент похвалил его мужество и сравнил с Гагариным.

— Боюсь, что сравнения с Гагариным я не заслуживаю, — печально отозвался Иннокентий, — пото-

му что мужество мое было вынужденным. Оно, скорее, сродни мужеству Белки и Стрелки, которым тоже деваться было некуда. Так что сравнивать меня лучше уж с ними.

В зале зааплодировали, президент неуверенно улыбнулся. Присоединился к общим аплодисмен-там. Насчет Белки и Стрелки он явно не ожидал.

Иннокентий надел сейчас оба ордена. Я вижу их на его груди сквозь бутылки с минералкой. Ему идет.

Пятница [Иннокентий]

Вчера вернулись с Гейгером из Москвы. Необычная поездка. Идя по Кремлю, думал: вот попади я сюда в двадцатые и тридцатые, мог бы встретить одного из тех, которые...

Все наши надежды, вся ненависть, как пар, именно сюда, к вершине мира, и поднимались. Здесь этим грелись, носом втягивали. А если бы действительно оказаться в Кремле в те годы, рассказать им в глаза всё, что о нашей жизни было передумано! Смешно, конечно: ничего, ни слова не сказать, рта раскрыть не успеть — хорошо, если удалось бы только взгляд бросить. Лишь увидеть их хотя бы мельком — уже одного этого немало. Умереть от разрыва сердца, но увидеть.

А посмотрел на нынешнего — сердце не разорвалось. Даже не забилося. И не потому, что он такой и сякой, а просто не мое это время, не родное, я это чувствую и не могу с таким временем сблизиться. Не испытываю к происходящему ничего, кроме абстрактного интереса. Всё равно как если бы предста-

вили меня президенту, скажем, Зимбабве: да, президент, да, любопытно, но внутри ничего не отзывается. И всё что хочешь можешь ему сказать, и — не тянет. Не интересно.

После награждения пригласили на бокал шампанского. Я пил кремлевское шампанское и вдруг придумал для себя, что это напиток власти. Всегда что-нибудь такое придумываю. Представлял себе, как с ним в мое горло вливаются мощь и умение побеждать, но главное — та особая ответственность за страну, которая чиновника превращает в правителя, и дело страны становится его личным делом, сама же страна становится частью его собственного “я”.

Размышлениями о напитке я поделился было с Гейгером, но он не одобрил мое направление мысли:

— Там, где есть хороший чиновник, не нужен правитель.

Замечательно. Европейский взгляд. Подношу свой бокал к бокалу Гейгера:

— А где вы видели в России хорошего чиновника?

Мы чокаемся, и бокал выскальзывает у меня из руки. Я смотрю, как он, словно в замедленной съемке, летит, и знаю, что через мгновение он брызнет в разные стороны — шампанским, осколками, а он всё летит и вот, наконец, падает, и разлетаются брызги — точь-в-точь как я себе представлял. Я стал свидетелем какого-то необычного времени — не настоящего и уж тем более не прошлого — может, будущего? Я ведь эту картинку за целую вечность до падения бокала видел. Подбегают несколько человек из персонала, предлагают мне не волноваться. А я, собственно, и не волнуюсь.

Суббота [Гейгер]

Всё вспоминаю нашу с Иннокентием поездку. Особенно разговор за шампанским, которое он предпочел напитку власти. Какая странная фантазия! Этот напиток, мол, превращает чиновника в правителя.

Не знаю, что пьет нынешний президент (боюсь, другие напитки), только из него не получилось ни того, ни другого...

Меня, впрочем, изумляет Иннокентий. Человек пережил жесточайшую тиранию и так легко произносит слово “правитель”! Unglaublich...*

Недаром у него из руки бокал выпал.

Воскресенье [Иннокентий]

В компьютере есть программа-редактор, которая автоматически исправляет ошибки. У меня сложилось странное впечатление, что иной раз мой редактор увлекается и правит гораздо больше, чем требуется: что-то прибавляет, а что-то, наоборот, стирает. По моему глубокому убеждению, он слишком много на себя берет. Из-за этой программы у меня постоянное чувство постороннего присутствия... Сообщил об этом Гейгеру — он засмеялся и сказал, что давно не обращает на такие вещи внимания. Обычное, мол, компьютерное нахальство.

* Невероятно (нем.).

Тут Гейгер принес мне на днях пачку листов. Платошины записи за первые полгода его новой жизни — набранные по тетрадным записям на компьютере и распечатанные. Он мне их для того, по его словам, принес, чтобы я мужа лучше понимала. А я его, между прочим, и так неплохо понимаю. Но что меня в этих записях по-настоящему поразило: как подробно он описывает всяческие детали, и чем старше они — тем с большей любовью! Я ему сказала об этом, а он ответил, что пишет проект грядущего всеобщего восстановления мира. Шутит мой милый.

Интересно, а в таком проекте Платошины воспоминания равноценны воспоминаниям других лиц — например, моим? Хотя — кому нужна моя древность? Она и по историческим меркам — тьфу, она даже не прошлое еще: настоящее. Что бы такого я могла описать?

Например, утреннее построение в детсаду — как на зоне или в армии. Полный скорби завтрак. От комков в манной каше тянет вырвать, при порывах сквозняка веет хлоркой из туалета. Сидя над кашей, я тщательно отбираю комки ложкой, но иногда все-таки пропускаю их и запоздало нащупываю языком. Вот тогда-то меня и рвет.

У меня к этим деталям нет любви, да и у кого она будет? А надо ведь, чтобы и их кто-то полюбил и описал, иначе мир останется неполным. Может, меня еще заморозить нужно, чтобы через сто лет я их оценила и предъявила потомкам?

Понедельник [Гейгер]

Пришла бумага о реабилитации Иннокентия. Сказано, что “за отсутствием состава преступления”. То есть в контрреволюционном заговоре он не состоял и Зарецкого не убивал. Что это так, сомнений и без того ни у кого не было.

Но бумагу все-таки лучше иметь. В такой бюрократической стране, как Россия, нужно всегда быть готовым доказать, что ты не верблюд. В нашем случае всё предельно просто: государство виновато — значит, оно должно в этом расписаться.

Иннокентия эта бумага не тронула. Мне даже показалось, что в его взгляде мелькнуло неудовольствие. Неужели он настолько презирает государство, что не нуждается в реабилитации? Нет, не замечал я в нем такого.

Может, ему кажется, что за все его страдания такая бумажка — это слишком дешево?

Я спросил его:

— Вы признаете за государством право объявлять вас невиновным? Если не признаете — это тоже понятно.

Он пожал плечами.

— Невиновным может объявить только Господь Бог. А что делает государство, не так уж важно.

Ну, это как посмотреть.

Вторник [Иннокентий]

В жизни каждого *лазаря* наступал момент, когда ему делали укол снотворного и отправляли в заморозку. Укол был последней и тайной милостью к подопыт-

ному, и проявлялась она академиком Муромцевым. Высокое начальство полагало, что замораживать следует не только живых, но и бодрствующих. Академик же, справедливо считая сон формой жизни, от этого предписания отступал, и *лазари* были ему за это благодарны. Как ни крути, в царство абсолютно нуля легче погружаться во сне. Перед уколом *лазари* нередко припоминали русскую поговорку о том, что сон смерти не помеха. Применительно к целям Муромцева поговорка звучала цинично, но странным образом даже она укрепляла академика в решении колоть снотворное.

Засыпая, я думал о Лазаре. Его судьба была для меня единственной надеждой. Если оказалось возможным воскресить четырехдневного мертвеца, от которого уже исходил смрад, что может быть невозможного в воскрешении замороженного по всем правилам человека? Я понимал, что обретение меня при разморозке живым исключено, но мне не хотелось уходить с чувством отчаяния. Господь воскресил Лазаря через четыре дня. Когда воскресят меня — и воскресят ли? Мне хотелось верить, что — да.

Думая сейчас о моей разморозке, я — ввиду количества ушедших лет — спрашиваю себя: не стала ли она воскрешением целого поколения? Ведь любая деталь, которую я сейчас припоминаю, автоматически становится деталью эпохи. А может быть, дело не в детали, а в целом? Может, как раз для того я воскрешен, чтобы все мы еще раз поняли, что с нами произошло в те страшные годы, когда я жил? Делюсь этим с Настей. А вдруг, говорю, и в самом деле всё это для моих свидетельств было задумано? Я ведь всё видел и всё запомнил. А теперь вот описываю.

Четверг [Настя]

Самочувствие у меня в последние дни полулюкс. Тошнит, ничего делать не хочется — лежала бы не вставая. Но нет, масса разных дел, а главное — Платоше нужно приготовить поесть. Он ведь некапризный, хлебной коркой обойдется, но это-то меня и мобилизует. Он мне говорит:

— Замороженные овощи из рекламы мне уже снятся. Неужели мы на эти деньги не можем нанять домработницу?

Можем. Но только я, например, не хочу, чтобы помимо нас двоих кто-то по квартире шатался, мне проще самой обед приготовить. Да что значит проще — мне очень приятно для него готовить. И нуждается он в этом ох как: Платоша ведь не какой-то там муж с улицы, он особенный, ровесник века. Ухода требует.

Вот я смеюсь, а ведь есть в нем какая-то непрочность. Вчера в ванной поскользнулся и упал. Хорошо, ванна пластиковая, не чугунная, — сильно не ушибся, только меня напугал. Я в один прыжок прилетела, смотрю — он в ванне лежит. Улыбается.

— Ногу, — говорит, — через край ванны переносил, а вторая поехала.

Мама моя! Ногу переносил — да так ведь мог бы старик сказать, а не мужчина в расцвете сил! Которому, правда, все девяносто девять, но это ему как, хм, мужу нисколько не мешает. Рассказала об этом падении Гейгеру — тот нахмурился. Попросил меня внимательнее за Платошей следить. Уж куда внимательнее...

Да, Гейгер выхлопотал орденосцу Платонову реабилитацию — говорит, это может быть важно.

Удивляется, что так быстро бумага пришла, объясняет это Платошиной известностью. Сам же герой держится индифферентно, что даже немного странно. Я понимаю, что он по большому счету не нуждается ни в чьих реабилитациях, что эта писулька не стоит и тысячной доли его страданий, но ведь и обидного в ней ничего нет. Он же на Гейгера смотрит почти сердито.

Пятница [Иннокентий]

Глупо как-то: завалился я на днях в ванной. С грохотом. Настя прибежала взволнованная, я же сделал вид, что всё в порядке, хотя на самом деле ушибся. Сказал ей, что нога на скользком поехала, а скользкое-то здесь и ни при чем. Нога просто подломилась, и я упал. Самое неприятное, что это уже не в первый раз. На прошлой неделе перебежал дорогу, зацепился ногой за бордюр и чуть не упал. Спустя день пошел за молоком — и тут уж упал на ступеньках магазина.

Это как-то особенно стыдно, когда молодой падает — взмахивая руками, с мгновенным страхом в глазах. Старик еще ничего, а молодой — ох! — даром что сто лет в обед. И все помогают подняться, все сочувствуют — до чего же противно быть в центре внимания! У меня это отвращение, видно, от отца. И ведь как странно: лежа на ступенях магазина, я почему-то о нем подумал, о *его* безмолвном лежании у Балтийского вокзала.

Меня мои падения начинают беспокоить, да еще бокал этот в Кремле. Не знаю, стоит ли об этом говорить Гейгеру, он и так надо мной трясется, а если

расскажу — прощай, спокойная жизнь: обследования, запреты.

Может, мне только кажется, но началось это с тех пор, когда в нашу квартиру вернулась статуэтка Фемиды. Она напоминает мне о моем фиаско в живописи, о горестных событиях, произошедших перед арестом. Не исключаю, что всё дело в психике. Гейгер как раз и говорил мне, что половина заболеваний имеет психическое происхождение. Как, кстати, и выздоровлений. Важно себя правильно настроить. Попробую справиться с этим сам.

[Настя]

У орденоносца новая фантазия. Хочет восстановить тот пробел во времени, который возник после его заморозки. Теперь мы с ним собираем книги и фильмы с тридцатых по восьмидесятые годы. В основном даже фильмы — несмотря на советскую ахинею, которая в них содержится, быт передан точно. И мода: широкие брюки пятидесятых, закатанные рукава рубаш. Брюки-“дудочки” и остроносые туфли шестидесятых. Платоша толкает меня в бок:

— Ты на лица посмотри: лица-то совсем другие, а ведь и полсотни лет еще не прошло.

— Ну да, ну, другие немного, но чтобы уж так... А какие сейчас лица? — спрашиваю.

— Разве ты не видишь? Нервные какие-то, злые, выражение “не тронь меня!”. Не у всех, конечно, но у многих.

— А тебе советская лепота больше нравится? — осторожно кусаю его за ухо.

Он пожимает плечами. Похоже, не нравится.

Иннокентий сейчас смотрит старые фильмы и хронику. Говорит, что у него дыра во времени, и он ее заделывает.

Я смотрел вчера с ними хронику пятидесятых. Забавно. Как на другой планете.

Когда давали крупный план комсомолки, он остановил видеоманитофон. Да, лицо выразительное. Я заметил, кстати, что на женских лицах эпоха отражается ярче, чем на мужских. Может, оттого, что женские лица подвижнее.

— В лагерях еще миллионы, а на лице неподдельное счастье. Неподдельное! — Иннокентий подошел к самому экрану. — Почему она так счастлива, а? — несмотря ни на что.

Настя сделала гримасу. Да, женские лица феноменально подвижны.

— А почему наркоман не чувствует вони в прироне? — сказал я. — Почему утопию предпочитают реальности?

— А я, между прочим, не предпочитал. — Иннокентий взял пульт и переключил видеоманитофон на телевизор. Замелькали каналы. — Вот сейчас все вроде бы свободны, но какой же они имеют кислый вид! Я-то был уверен, что со свободой придет радость.

— Получается, — предположила Настя, — что лучше пребывать в утопии и быть счастливым, чем быть свободным, но печальным.

Иннокентий развел руками. Пульт с грохотом выпал.

Не хотел первоначально об этом писать: Иннокентий меня беспокоит. Какое-то неблагополучие

со здоровьем. Проблемы с двигательными функциями. И я пока не могу понять, в чем именно дело.

Настя рассказала мне о падении *Платоши* в ванной. Сам я видел разбитый бокал в Кремле. Конечно, можно случайно и упасть, и бокал уронить, и пульт, но что-то во всём этом настораживает.

Я стал внимательнее за Иннокентием следить. В его походке появилась неуверенность. Если не присматриваться — незаметная, но раньше ее не было.

Вторник [Настя]

Вчера нам позвонил предприниматель Тюрин. Так и представился: Тюрин, предприниматель. Нефтяник, кажется. Говорил с ним Платоша, включив громкую связь, чтобы я слышала (адаптируется наш Платонов не по дням, а по часам). Тюрин сказал, что вечером на Елагином острове устроит фейерверк — очень звал. А я вдруг вспомнила: мать моя, в списке “Форбс” он в первой десятке! Московский человек, в Питере таких нет. И в Сибири нет, где он свою нефть качает. Если отбросить местный патриотизм, то все деньги, карьеры, да и всё прочее находится в Москве. Это нужно признать как факт, оспаривать который бессмысленно, на этот вопрос можно даже не отвлекаться, как я сейчас.

Так вот, по словам Тюрина, предпринимателя, захал он сегодня в Питер, и захотелось ему вечером устроить фейерверк — внезапно, без подготовки. Спросил, не обижаемся ли, что он как снег на голову — незнакомый, по сути, человек. Незнакомый, согласился Платоша, но не обижаемся. Жизнь, ска-

зал Тюрин, должна быть непринужденной: захотелось фейерверка именно сегодня и именно на Елагином — значит, будет фейерверк. Его бы слова да в уши того бомжа, что роется в нашей помойке. Тот просто не знает, какой должна быть жизнь, иначе устроил бы фейерверк на Елагином.

Платоша общался с Тюриным без энтузиазма, но я ему сделала энергичный знак, чтобы он взял себя в руки. Я понимаю, что вся эта стрельба на Елагином — жуткое купечество и жлобство, и все-таки... Мне туда очень хочется. “Мне туда очень хочется”, — написала я на листке бумаги и поднесла к Платошиным глазам.

— Хорошо, — сказал ему Платоша, — мы придем.

Идти не пришлось: за нами прислали лимузин... Вот сейчас он подошел ко мне сзади, мой повелитель. Прочитал слово “лимузин”, засмеялся.

— Перестань, — говорит, — перестань писать про лимузины.

Ты прав, милый, прав... Нет, о двух вещах все-таки скажу. После фейерверка начался салют, причем залпы были именными. Первый залп был посвящен, конечно же, Тюрину, а второй — Платоше. И еще — самое, может быть, удивительное. На пальце Тюрина я заметила фантастической красоты перстень с бриллиантом. Сказала ему об этом — при всех, чтобы сделать приятное. А он перстень снял и протянул Платоше — ему, мол, он больше пойдет. И мне подмигнул. Платоша отказывался, но Тюрин вложил ему перстень в ладонь и согнул пальцы. Очень эффектный жест, кто-то из журналистов сказал — королевский (этот кадр я сегодня видела уже в нескольких газетах). Хотя Тюрин, повторю, скорее купец,

чем король. А перстень и вправду изумительный — я его сегодня всё утро рассматривала. Платоша, глупенький, не хочет его надевать.

[Иннокентий]

Какая все-таки подходящая аббревиатура — ЛАЗАРЬ, даже если учесть, что я пролежал не четыре дня. Я видел иконы, изображающие воскрешение Лазаря: он выходит из склепа, а стоящие вокруг люди закрывают носы. Ладно... По описанию Гейгера, когда меня достали из азота, я тоже не выглядел молодцом. Правда, не пах.

В первый раз Лазарь умер не внезапно — болел, тяжело болел. Мой уход в заморозку тоже не был неожиданностью. Получается, у нас обоих было время подготовиться. И наши с ним мысли перед уходом были, возможно, одни и те же. А потом его воскресил Господь — вот с этим как он жил? Ведь даже я, которого вернул к жизни всего-навсего Гейгер, до конца не могу осознать масштаб произошедшего. Прихожу к единственно возможной мысли, что руками Гейгера меня разморозил Господь.

Как складывалась жизнь Лазаря после воскрешения? Да, известно вроде бы, что он прожил еще три десятка лет, был епископом в одном из кипрских городов, но я не имею в виду тех подробностей, которые называются биографией. Меня волнует, что он чувствовал после того, как уже раз ушел из мира живых?

Когда человек возвращается — откуда бы то ни было — это ведь не случайно. Это изменение принятого решения или естественного хода событий.

Для всякого возвращения должны быть веские причины. Когда же человек возвращается не откуда-нибудь, а с того света, он имеет особые задачи. Лазарь четверодневный свидетельствовал о всемогуществе Господнем.

О чем свидетельствую я? В конечном счете, о том же. Но помимо этого, вероятно, и о времени, в которое был помещен первоначально. Живущие в том моем времени еще не знали, о чем свидетельствовать перед потомками, не знали, *что* именно спустя десятилетия пригодится. А я знаю. Это в какой-то степени мне помогает, хотя, конечно, лишь в какой-то, потому что свидетельства мои всё равно беспомощны. И всё же хорошо, если они послужат воскрешению прежнего моего времени — пусть такое воскрешение и несовершенно.

О воскрешении думаю всё чаще. О нем говорит и Настино имя. Иногда мне кажется, что Настя воскресила Анастасию, что они неразрывны и составляют особую жизнь, нарочно созданную для меня из двух разных жизней. Временами же такая мысль представляется мне безумием, потому что отрицает уникальность всякой отдельной жизни. С уверенностью могу говорить лишь о том, что люблю обеих.

Четверг [Настя]

Платоше предложили провести корпоратив газовой компании. Он отказался. Когда я услышала сумму гонорара, то, откровенно говоря, припухла. Платошу ни словом не укорила: он мужчина — его решение. Газовики, однако, хватку не ослабили. Связавшись со мной, они объяснили, что бурят пробные

скважины в Арктике, и в этих обстоятельствах Иннокентий Петрович им нужен — кровь из носу. Если не в качестве ведущего корпоратива, то хотя бы в качестве гостя. Гонорар при этом не уменьшался. Всё, что от Иннокентия Петровича требовалось, — это появиться с орденом Мужества, произнести тост за генерального директора компании (с супругой) и пожелать всем успехов в добыче газа. Это было уже другое дело. Смешно, конечно, с тостом и директором, но необременительно и непостыдно. Платоша согласился.

Я попросила его Гейгеру сказать, что это решение принималось помимо меня, иначе наш общий друг меня бы просто съел. Интересно, что значение дензнаков Гейгер понимает, но, когда дело доходит до способов их заработка, начинаются гримасы, все эти “видите ли, Настя..” и т.д. Я не хочу выглядеть меркантильней всех, я, может, тоже мечтаю быть леди Гамильтон, но кто-то же должен организовывать средства для существования. Странно, вообще говоря, что это делает не немец.

Как бы то ни было, пошли мы, солнцем палимы, на этот корпоратив. Место действия — Юсуповский дворец, при входе и на лестницах (вау!) — негры в ливреях, повсюду живые цветы. В холле члены совета директоров, депутаты, киноартисты, бандиты, советского вида зомбаки, фотомодели, корреспонденты, профессиональные тусовщики — одним словом, все, кто любит газ.

Нас встретил глава пиар-службы компании Вадим. Приобняв обоих за плечи, он доложил нам громким шепотом и без всяких вводных:

— Больше всех мне нравится журналистка Жабченко. Приглашение было конкретно на одного

человека — на нее. Так она знаете что сделала? Знаете?

— Не знаем, — ответили мы хором.

— Передала приглашение мужу, а сама явилась через полчаса и сказала, что она в списках. Еще и паспорт показала. Охрана проверила списки и ее, естественно, пустила.

— А муж ее тоже — Жабченко? — уточнил Платоша.

— В этом-то весь фокус. Кто при такой фамилии смотрит на инициалы? Сучка! Простите...

Вадим очаровательно улыбнулся. Через минуту он уже разговаривал с кем-то другим. Нам поднесли шампанского. Я спросила у Платоши в шутку, не помешает ли шампанское его выступлению. Он улыбнулся и хлопнул себя по карману пиджака. Там лежала распечатка Платошиного тоста, предоставленная всё тем же Вадимом. Человек, освобожденный из ледяного плена, поднимал бокал за здоровье супругов Савченко — Виталия и Людмилы, — воюющих со льдом у самого Северного полюса. Все знали, что супруги воюют со льдом, не покидая Невского проспекта, но в качестве художественного образа такое высказывание считалось допустимым.

Во дворце Платоша выглядел каким-то усталым. Да, он улыбался — ему ведь так идет улыбка! — но выходило это как-то вымученно. Выпил он, конечно, довольно много, я бы сказала — слишком много, только усталость его была связана не с этим. Она переполняла его с первых минут пребывания на банкете.

Например, его не радовала презентация блюд, когда десятка два официантов носили по залу запеченного поросенка на блюде, за ним на блюде же

осетра и еще много чего, чему я даже не знаю названия. Я спросила Платошу, не заболел ли он, но он сказал, что чувствует лишь легкое недомогание.

С нами за столом сидел отставной адмирал — доброжелательный дядька, следивший за тем, чтобы ни один тост не прошел без выпитой рюмки. Спустя полчаса Платоша спросил нашего соседа, правда ли, что у того времени — как у адмирала в отставке. Адмирал ответил, что чистая правда. Улыбался, демонстрировал белизну искусственных зубов. Вскоре Платоша повторил этот вопрос еще раз, а затем еще, но адмирал отвечал на это так же доброжелательно, как в первый раз.

Жаль, что обещанный тост не состоялся в начале вечера — тогда бы он больше соответствовал тому, что планировали газовики. Но поскольку тост был задуман как кульминация, прозвучал он уже ближе к концу. Когда Платоша предложил выпить за воюющих со льдом супругов Жабченко, большого протеста в зале это не вызвало. Я даже не уверена, что все его тост услышали. Интересно, что супруги Жабченко, сидевшие в дальнем конце зала и кричавшие громче всех, — услышали. Их не удивило, что после скандала с попаданием на банкет теперь в их честь провозглашают тост. Не удивила даже объявленная их война со льдом. Они встали и раскланялись.

А гонорар мы все-таки получили.

[Иннокентий]

В моей прежней квартире я иногда чувствую себя будто на острове — среди моря чужой жизни. Бедный Робинзон Крузо.

[Гейгер]

Иннокентий меня всё больше беспокоит. Его движения становятся всё менее уверенными. Иногда я вижу, как его на ходу слегка заносит.

Если не присматриваться — не заметишь. А я присматриваюсь. Хочу угадать путь, понять, как дальше будет развиваться дело.

Но проблемы не только двигательные. Мне кажется, у него начали возникать нарушения в оперативной памяти. Если он вдруг отвлекается во время речи, то зачастую теряет мысль.

Пока я не хочу говорить об этом ни с ним, ни с Настей. Не хочу их пугать. Всё еще надеюсь, что это временное.

И этот корпоратив газовиков. Я понимаю, что причина для путаницы была алкогольная. И всё же не нравится мне этот случай. Как можно было забыть то, что накануне учил весь вечер?

А сам корпоратив — Настина затея. Сколько бы они оба меня ни убеждали, что она здесь ни при чем, носом чую: Настя придумала.

Хочется дать ей по башке, но воздерживаюсь. Она забавная.

Воскресенье [Иннокентий]

Гуляли сегодня по кладбищу Александро-Невской лавры. Я вообще люблю гулять по кладбищам. Настя вот не любит. Однажды во время прогулки она сказала, что там ее терзает мысль: наше счастье когда-нибудь кончится. Оно когда-нибудь и кончится, отвечаю, может быть, даже скоро — всякое ведь на

свете бывает. Сказал — и пожалел: Настя заплакала. Как-то даже на нее не похоже.

А вчера очень хорошо было — рассеянное сентябрьское солнце, на земле листья — отдельными желтыми пятнами, еще не ковром. Настя шла, держа меня под руку, прижавшись щекой к моему плечу, и оттого движение наше было медленным. Мы рассматривали надписи на надгробиях. Старые надгробия очень красивы — красивее нынешних, даже богатых. А надписи просто прекрасны, потому что старая их орфография не сравнится с новой: в ней есть душа. И золотой век нашей литературы связан именно с нею.

Даже мое детство и юность — и те с ней связаны, хотя к золотому веку я не отношусь. Платонов (взгляд поверх пенсне), когда в корнях слов пишется *ять*? Память потеряла ее лицо, фигуру, голос, но этот взгляд поверх пенсне остался. Хотя почему, собственно, “ее” — ведь это мог быть мужчина? Нет, точно мужчина — тесемка от пенсне в кармане сюртука... *Ять*, отвечаю, пишется в ряде слов исконно русского происхождения: бѣжать, бѣдный, блѣдный, вѣко, вѣкъ...

На выросшем перед нами гранитном надгробии открывается что-то знакомое, только я еще не понимаю, что. Нет, понимаю. Понимаю: конечно же, имя. Терентій Осиповичъ Добросклоновъ, 1835–1916. И фраза: “Иди бестрепетно!” Она там почему-то не написана, но не всё ведь на свете пишется.

Иди бестрепетно, Терентий Осипович, в Царство Небесное. Чучело медведя у входа, мой бег через анфиладу комнат и триумфальное чтение стихотворения. Теоретически это может быть другой Терентий Осипович, но сердцем чувствую, что тот самый. Умер он, стало быть, за год до того, как всё началось. За год — вот уж повезло Терентию Осипо-

вичу. Умер спокойно, в полном неведении относительно грядущих перемен, в кругу, хочется верить, домашних, с надеждой на их беспечальную жизнь.

С 1916-го прошло 83 года, и от Терентия Осиповича, следует полагать, не много осталось: скелет, обручальное кольцо, пуговицы его роскошного мундира (а может, и сам мундир!) и, конечно же, о двух хвостах борода. Да, малая часть, всего ничего, но ведь — именно *его* часть, того Терентия Осиповича, который подбодрил меня в трудную минуту на шестом году моей жизни. Вот он лежит под землей в двух метрах от меня..

— Если раскопать эту могилу, — говорю Насте, — можно увидеть человека, которого в последний раз я встречал в 1905 году.

Протяжный Настин взгляд на меня. Выразительно молчит. Кажется, она не хочет откапывать Терентия Осиповича.

— Просто это один из свидетелей моего детства, — поясняю. — Мне отец назвал его полное имя, и оно мне запомнилось. Так бывает. Это было одно из первых оставшихся в моей памяти имен. И вдруг я натыкаюсь на него здесь, представляешь?

— Нет встречи удивительнее.

Настя прижимается к моему плечу еще сильнее. Она видит, что откапывать Терентия Осиповича никто не собирается.

[Настя]

Странная прогулка — так назвала бы я рассказ о сегодняшнем дне. Гуляли мы по Никольскому кладбищу Александро-Невской лавры. Мы, кстати, не

впервые по кладбищу гуляем: у Платонова — как бы это выразиться? — некоторая слабость к таким прогулкам. Эти прогулки меня особенно не тяготят, а с другой стороны — не сказать, что сильно повышают настроение, — не Диснейленд как-никак. А гулять мне, ввиду ребенка, нужно.

Так вот, гуляли мы, гуляли, как вдруг Платоша замер у одной могилы. Лежит там Терентий Осипович Добросклонов — такое имя грех не запомнить. Терентий Осипович — автор фразы “Иди бестрепетно”, якобы сказанной в детстве моему будущему мужу. Фраза, не спору, хорошая, не хуже имени Терентия Осиповича, но впечатление, которое произвела эта могила на Платошу, не подлежит описанию.

Рассказал он мне в подробностях всё с этой фразой связанное, а потом и говорит, что если, мол, Терентия Осиповича выкопать, то, кроме скелета и мундира, ничего не обнаружишь. Ну да, соглашайся, тут обольщаться не приходится. А он подумал немного и говорит, что еще бороду, наверное, обнаружишь. Металлические детали еще какие-нибудь. И я чувствую вдруг, что говорит он это как-то заправски, по-деловому. Что вот еще немного — и раскопает он эту могилу и всё обнаружит. Простояли мы у могилы около часа.

Что в нашей прогулке самое печальное: когда мы вошли в Лавру, у Платоши опять подвернулась нога. Он сказал, что это связано с тем, что дорога у ворот вымощена булыжником, а он-де уже привык к асфальту. Я кивнула, но сама — под предлогом нахлынувших чувств — крепко вцепилась ему в руку. И голову ему положила на плечо, чтобы совсем уж сократить расстояние. Как-то очень он неуверенно шел. Не знаю, сказать ли об этом Гейгеру? Он пере-

страховщик, начнет своего пациента таскать на обследования, а у Платоши дела больничные уже в печенках сидят. Подожду пока.

Вторник [Иннокентий]

Много зависело от того, какое займешь в аудитории место. Интереснее всего было сидеть в точке с острым ракурсом. Например, резко снизу и с поворотом в три четверти — самый интересный взгляд на “Умирающего раба” Микеланджело. Его голова и без того сильно запрокинута, а если занять место в первых трех рядах — раскрывается всегда невидимая нижняя часть подбородка, ноздри. Глаз сползает ниже носа, лба совсем не видно. Сидеть в таких точках стремились те, кому под силу было построить сложную форму по законам перспективы, а также — увидеть и соблюсти пропорции.

Да, кстати, Маркс — это Александр Васильевич Посполитаки. Я его вычислил по книге об Академии художеств. Узнал на коллективной фотографии профессуры и нашел фамилию в подписи. Погиб на Беломорканале. Его облик, я думаю, был слишком ярким. То, что соответствовало десятым годам, в тридцатые совершенно вышло из обихода. Александр Васильевич оказался нечуток к смене стилей.

[Гейгер]

Читал все эти месяцы то, что писал Иннокентий, и словно бы проникся его взглядом.

Иногда смотрю на вещи в точности как он. Слушаю будто его ушами.

Звяканье бросаемых в поддон инструментов.

Треск отрываемого бинта.

Запах после мытья полов — лимонный, иногда — клубничный. Если не приторный — повышает настроение.

Это был запах перемен. Только ощутив его, я понял, как радикально поменялась жизнь. А раньше пахло хлоркой, я еще застал это время.

Во время ординатуры подрабатывал санитаром, хлорированной водой полы мыл. Отвратительный вроде бы запах, а вот ведь — связывает меня с юностью. Когда слышу его, сердце стучит быстрее.

Даже отвратительное, оказывается, можно обогреть собой, а потом вздыхать о нем спустя время. Не говоря уже о прекрасном.

Мое время не прерывалось, а я вот способен так печалиться по прошлому.

Что уж говорить об Иннокентии — у него две жизни, как два берега большой реки. С нынешнего берега он смотрит на тогдашний.

Он ведь не переплывал эту реку. И реки-то не было. Просто очнулся — а сзади вода. То, что было дорогой, стало дном. И он по этой дороге не шел.

Он как-то сказал мне, что по непрожитым годам — тоскует.

Четверг [Иннокентий]

Читал Бахтина. Время от времени Гейгер приносит мне книги, которые, по его словам, образованному

человеку нужно знать — хотя бы в первом приближении. Приносит лучшее, что появлялось в разных областях за время моего ледяного сна. Читая, я подумал: Робинзон за грехи был заброшен на остров и лишен своего родного пространства. А я лишился своего родного времени — и тоже ведь за грехи. Если бы не Настя...

Кстати, она, оказывается, читала Бахтина. Лишенных и времени, и пространства назвала *хроно-топлес*. Гейгер очень смеялся — несмотря на сложное к Насте отношение, он ее ценит. А я не смеялся. Подумал вдруг о лишенных времени и пространства: да ведь это мертвецы. Получается, что мы с Робинзоном — полумертвые. А может быть, и мертвые — для тех, кто нас знал в прежнем времени и прежнем пространстве.

Суббота [Гейгер]

Позвонил Иннокентию — подошла Настя. Сказала, что *Платоша* отправился на Смоленское кладбище. Что несколько раз она его сопровождала, но частые прогулки по кладбищам (сопение в трубке) стали ей тяжелы.

— Прогулки по кладбищам?

— Да, по кладбищам. Это его новое хобби. — Настя помолчала. — Ищет прежних знакомых.

Я поехал на Смоленское. Припомнил, где была могила его матери, и пошел в ту сторону. Через пару минут в конце аллеи увидел Иннокентия. В темных, по моему совету, очках — чтобы не узнавали. Всё равно узнают.

Он шел, время от времени прихрамывая. В руках газетный сверток. “Вечерка”. Сверток был странен, так что вначале он отвлек меня от хромоты.

Поздоровавшись, я спросил Иннокентия, что можно носить на кладбище в свертке. Иннокентий покраснел. Пробормотал невнятное. Если бы я знал, что мой вопрос его так взволнует, не спрашивал бы.

— Вы можете всё скрыть... — Я улыбнулся.

— Мне не нужно ничего скрывать.

Иннокентий развернул газету. В ней лежала статуэтка Фемиды. Вот тебе и раз. Зачем, спрашивается, она ему на кладбище? Какую справедливость он здесь восстанавливал?

Мне стало смешно, но я сдержался. Зачем, зачем... Носил, видимо, матери — к Анастасии-то он не ходил. Что-то у них с Фемидой, видимо, связано. Было бы из-за чего краснеть...

По аллее мы медленно двинулись к выходу. Я шел, опустив голову. Словно задумавшись. Следил за его ногами.

Он действительно прихрамывал.

В ближайшее время мы приступаем к серьезным обследованиям. Я ему об этом ничего не сказал.

[Настя]

Платоша заразил нас описательством. Он всё повторяет: описывайте побольше! Ловлю себя на том, что обдумываю, как лучше описать то или это. Даже Гейгер, я слышала, пытается что-то изобразить. А почему, собственно, и не Гейгер? На каких основаниях я отказываю ему в художественных способностях? Между прочим, “Гейгер” по-немецки — скрипач.

Воскресенье [Гейгер]

Вот, допустим, хор на утреннике.

У нас в школе был хор. Я в нем, разумеется, не пел — с моим-то слухом! Но слушал самозабвенно — на утренниках, связанных с разными праздниками.

Самым радостным утренником был новогодний.

Хористы (легкий топот) выстраивались на деревянной конструкции, которую я и сейчас не знаю, как назвать. Скамейки, установленные на сцене в три яруса.

По словам руководительницы хора, эта конструкция наиболее полно раскрывала вокальные возможности поющих. Их как-то так на ней расставляли, что звук летел особым образом — прямо в душу. По крайней мере, в мою.

Прекрасны были голоса девочек — серебро высшей пробы — они и определяли красоту утренников. Их голоса про себя я называл *утренними*.

Ежедневно слушаю в машине музыку, в том числе — хоровую.

Как редко сейчас поют утренними голосами. Можно сказать, что и не поют.

Грамотное звукоизвлечение, профессиональное, только вот волшебства нет. Нет утра.

[Настя]

1993 год, мы с матерью в Тунисе. Впервые отдыхаем за границей (и одни из первых!). Впервые без отца. Хотя и на его деньги — он присылает нам их из Америки. Официально от нас как бы еще не ушел, как бы на заработках еще, но всё с ним, как говорит-

ся, ясно. В один из его приездов смотрела вслед ему в окно и видела, как в нашем дворе его поджидала молоденькая девочка. Не то чтобы он не считал нужным скрываться — он об этом просто не думал. То, что их могут заметить, ему как-то не приходило в голову. Поцеловались и пошли, сцепившись мизинцами, — заграничный вариант, у нас тогда еще так не ходили. Потом я с этой парой в городе столкнулась — отец смутился. Она — американка, приехала с ним, остановилась в гостинице. Как я понимаю, бóльшую часть дня он проводил у нее в номере.

О чем я, собственно? Да, Тунис. Я хотела описать Тунис — одно из самых ярких моих впечатлений. Карфаген, который должен быть разрушен, и этот самый сенатор — как его? — забыла.. Пляж. Жара, которая сменяется прохладой гостиничного холла. Африканские фрукты и овощи по путевке “всё включено”. В первый же вечер (это оказалось тоже включено) меня пронесло по высшему разряду.

Вечера — особая песня. Удивительно свежие и приятные. С Африкой вроде бы не соотносимые, а вот поди ж ты... Может быть, именно они делали эту землю такой притягательной. Притягивали, соответственно, разноплеменных агрессоров — включая мою собственную мать. Мне надоело постоянно от нее отругиваться, и я, ввиду невозможности поменять авиабилет, считала денечки до нашего отъезда. Зачем я всё это пишу, ведь дело не в матери?

Дело в Платоше. Я чувствую: что-то происходит нехорошее, и мне не по себе. Я уже говорила с Гейгером: он встревожен. Очень. Собственно, беседа с ним меня и прихлопнула. Я и половины не поняла из того, что он мне говорил, но того, что поняла, достаточно, чтобы впасть в ступор.

[Гейгер]

Наш компьютерщик сообщил мне, что программа не всегда выставляет на записях дни недели.

Я спросил, можно ли восстановить утерянные дни. Он ответил, что можно — в виртуальном мире, мол, всё можно. Всё — вопрос времени и усилий.

Я вдруг подумал: а нужно ли?

Вторник [Иннокентий]

Когда Настя поехала на занятия, я снова побывал на Никольском кладбище. Видеть его мне было больно — я ведь помню его неразграбленным. Здесь больше нет красивых мраморных надгробий, которые стояли в моем детстве. Я спрашивал себя, зачем эти надгробия могли понадобиться — для повторного использования? Для мощения улиц? Что происходит с народом, который разоряет свои кладбища? То, что произошло с нами.

В дни поминовения мы с родителями навещали здесь кого-то из родственников. Я любил эти походы, потому что были они как загородные поездки: зелень, пруд — будто не кладбище, а парк. И это в двух шагах от Невского. Не чувствовалось там никакой печали. Даже смерти не чувствовалось. Благодаря этому кладбищу я, может быть, и смерти не боялся. Боялся, конечно, но как-то так, без паники.

Смерти я не боялся еще в одном месте: на острове. В отличие от Никольского кладбища, там она чувствовалась повсюду. Нельзя сказать, что за своими жертвами смерть в наши бараки *приходила*: она в них жила. Ее присутствие стало настолько буднич-

ным, что на нее уже не обращали внимания. Умирали без страха.

Умерших закапывали — по-простому, без гробов. Выносили трупы из лазарета и бросали в ящик на телеге. В ящике помещалось четыре трупа, которые прикрывались дощатой крышкой. Если трупы не помещались, санитар залезал на крышку и утапывал мертвецов. Привозил их к яме и сбрасывал вниз. Яма закапывалась по мере наполнения. Таких ям было много, и время от времени мне приходилось мимо них проходить. И они у меня не вызывали ужаса.

Ужаснулся я лишь однажды — когда один из трупов зашевелился. Именно так: один из голых разлагающихся трупов. Глядя на его копошение, я не допускал даже мысли, что он живой. Ничто в этом человеке не напоминало живого. А он вдруг протянул в мою сторону руку и представился:

— Сафьяновский...

И левое его опухшее веко не позволяло открыться глазу.

Стоял сегодня над могилой Терентия Осиповича и вспоминал, как славно он мне тогда помог. Какое все-таки точное нашел слово. Он лежал в двух метрах от меня — на пустычном, в сущности, расстоянии. Его могила была зажата между двумя рукотворными холмами и напоминала лодку среди волн.

Настя в прошлый раз подумала, по-моему, что я собираюсь его откопать. Собираюсь ли? Скорее всего, нет. Хотя раскопать его могилу, мне кажется, было бы не страшно. Не страшнее, чем видеть соловецкое копошение в могиле. Ну, и Терентий Осипович умерший не очень бы, наверное, отличался от

живого: голова его и при жизни была похожа на череп. Да, я очень хотел бы его увидеть. Если бы можно было спуститься к нему на эти два метра, я бы спустился. Если бы он сказал мне оттуда: “Иди бестрепетно!”, — я бы пошел.

[Гейгер]

Иннокентию нужно срочно делать магнитно-резонансную томографию головного мозга. В нашей клинике томограф сломался, пришлось договариваться в другой.

Аппаратов в городе раз-два и обчелся. На каждый огромная очередь.

Попытался объяснить, кому именно требуется обследование. Кивали сочувственно. Объясняли, что запись на полгода вперед. Предлагали ускоренный вариант — четыре месяца. Как для человека, пребывавшего в заморозке. О, mein Gott... *

Дал триста долларов — записали на послезавтра.

[Иннокентий]

Какие-то странные вещи с памятью. Кратковременные провалы.

На утренней молитве просят Богородицу: “Избави мя от многих и лютых воспоминаний”, — и я прошу. Только мои провалы другой природы: временами я забываю, что минуту назад собирался делать.

А лютые воспоминания остаются.

* Боже мой... (нем.).

Четверг [Настя]

Платоша записался в Исторический архив.

— Что, — спрашиваю, — ты там будешь искать?

— Своих современников.

— Я ведь тоже, — смеюсь, — твоя современница.

Кто же тебе еще нужен?

А он не засмеялся.

— Да так, разные люди, — говорит, — в сравнении с тобой не очень важные. Мелкие свидетели моей жизни.

Я к нему прижалась, а он меня в лоб поцеловал. Люблю его поцелуи в лоб. Люблю и другие его поцелуи, но в этих есть что-то особенное — дружеское, братское даже. Это — то, чего чаще всего не хватает даже в самом хорошем любовнике. Теперь я понимаю, почему бабушка им так дорожила. И если разобраться, всю жизнь оставалась ему верна. А я люблю его не меньше. Раньше таких вещей не говорила ни себе, ни ему. Сегодня же перед тем, как ложиться спать, сказала. Стоя к нему вполоборота. Он положил мне руки на плечи и развернул к себе. Так мы стояли долго. Молчали.

Завтра ему делают томографическое обследование. Мне почему-то беспокойно.

Пятница [Иннокентий]

Сегодня была организованная Гейгером томография. Мои дела его не радуют (меня, правду сказать, тоже), и оттого мы здесь, в консультационном центре. Гейгер какой-то необычно торжественный. Говорит, что мы должны выяснить, каково мое состоя-

ние. Я замечаю, что мое состояние я давно промотал. Шутка выглядит как жалкое бодрячество. Гейгер не смеется. И никто из приставленных к томографу не смеется.

Перед тем как приступить к делу, меня спросили, нет ли у меня клаустрофобии. Что может сказать тот, кто столько лет пролежал в ледяном термосе? Интересно, что, как только меня об этом спросили, я засомневался. Сомневался, снимая обувь. Ложась на кушетку, тоже не имел ответа. Этот вопрос возникал передо мной впервые. И я ответил “нет”.

Когда же надо мной закрылась крышка и я с кушеткой стал медленно въезжать в какую-то трубу, подумалось, что надо было, наверное, сказать “да”. Слишком уж это напоминало перемещение гроба в крематории — показывали такое в одной из телепрограмм. И крышка аппарата сильно напоминала гробовую. Недаром врач просила меня закрыть глаза. Почему я их не закрыл?

Последним, что я видел, въезжая в трубу, было то, как врач скрылась за железной дверью. Железной! И мне в этой трубе не пошевелиться. Я представил себе, что должен был ощутить Гоголь, если правда то, что о нем рассказывают... Меня охватила тихая паника. Я срочно закрыл глаза. Вообразил над головой звездный небосвод. Стало легче. Что-то зажужжало, затрещало, потом затихло. Снова зажужжало. Умная машина снимала мой мозг. Уж она, миленькая, увидит, отчего у меня подворачиваются ноги и отчего я стал забывчив. Всё доложит, спокойно и беспристрастно.

Выехал из трубы. Зашнуровывая ботинки, видел, как Гейгер брал из рук врача снимок и смотрел его на свет. По лицу Гейгера было неясно, доволен он или

нет. Попрошался и отбыл в свою клинику. Со снимком под мышкой.

[Гейгер]

Катастрофа.

Не знаю, как я сдержался при Иннокентии. Настоящая катастрофа — это стало понятно еще при беглом взгляде на снимок.

А внимательно всё рассмотрел в клинике — за голову схватился. Количество погибших клеток не поддается описанию.

Самое страшное — у меня нет ни малейшего представления о том, что стало непосредственной причиной отмирания клеток.

Конечно, в общем виде понятно, что заморозка, но — механизм? Каков конкретный механизм происходящего? Без внятного понимания этого невозможно никакое вмешательство.

А всё начиналось как “история успеха”...

После разморозки всё ведь было в полном порядке. Иннокентию, еще бессознательному, делали томографию. Тогда томограф был на ходу...

Важный вопрос: что говорить Платоновым?

Или не говорить? А если говорить, то обоим? Одному из них?

Кому?

[Иннокентий]

Был сегодня в архиве. Меня там чуть не с хлебом-солью встречали. Чувствуют, видно, со мной родство:

я ведь и сам явление почти архивное. Поинтересовались, какой исторический период меня интересует. А меня не исторический период интересует — люди. Плюс еще звуки там, запахи, манера выражаться, жестикулировать, двигаться. Кое-что из этого я помню, а что-то ведь забыл уже. Точно забыл. Когда я это сказал, покашливали, улыбались. Думали, возможно, что я еще не до конца разморозился. Уточнили годы. Ну, говорю, примерно с 1905-го по 1923-й. Это если в Питере. А с 1923-го по 1932-й — на Соловках. Рыжего сотрудника по фамилии Яшин отправили в хранилище за “картонками”.

Картон — это большая коробка с архивными материалами. Их Яшин принес несколько, и они относились к разным периодам. В каждом из картонов лежала опись. Я открыл опись первого картона и утонул в ней. Там были перечни учреждений и списки их сотрудников, архивы канцелярий, распоряжения властей и даже подборки газетных вырезок. Поодаль продолжал стоять доставивший всё это Яшин, и я чувствовал затылком его сочувственный взгляд.

Сочувствие рыжего человека оказалось деятельным. В конце концов он подошел ко мне и предложил помочь. Спросил, какие имена меня интересуют прежде всего.

— Эти имена вам ничего... — начал было я, но Яшин перебил:

— Напишите список и предположительные годы активности этих людей. Для начала пусть это будет список из десяти человек.

Каковы годы активности Терентия Осиповича? Впрочем, с Терентием Осиповичем всё более или менее ясно — путь его окончился на Никольском

кладбище. А мой странный товарищ Скворцов? Скворцов, изгнанный из очереди в голодном Петрограде. Ровесник века. А чекист Воронин? Его активность я ощутил в полной мере, каждой клеткой своего тела. Скворцов и Воронин, две непохожие птицы, пролетевшие через мою жизнь... Я написал десять имен и отдал их Яшину.

Вторник [Настя]

Всё думаю о здоровье Платоши. Испытываю беспокойство. Днем эти страхи мне почти смешны, а ночью — не очень. Собственно, чем они вызваны? Ничем. Ничем! Есть некоторые опасения у Гейгера, которые, надеюсь, не подтвердятся. Так ведь они меня и напугали.

Сегодня утром пошла якобы зубы чистить — закрылась в ванной и беззвучно рыдала. Включила воду, чтобы наверняка слышно не было. Даже сморкалась без трубных звуков — просто тихо утирала соплю — потому что сморкаются ведь, когда плачут.

Правда, сморкаются и просто так.

[Иннокентий]

Позвонил Яшин, сказал, что нашел сведения об Остапчуке.

— Записывайте.

— Записываю.

Остапчук, Иван Михайлович. 1880 г. р. С 1899-го по 1927-й работал сторожем Пулковской обсерватории.

(В 1921 г., добавлю от себя, сколачивал со мной агитационные щиты на Ждановской набережной, 11. Пили мутный самогон, присланный ему родственниками жены из деревни, лежали на досках.)

Так вот, в 1927 году он уезжает в эту самую деревню — Дивенскую, — которая, кстати говоря, находится недалеко от Сиверской. Уезжает, я думаю, из чистого страха, потому что предчувствует террор. Остапчуку, видимо, кажется, что террор легче переживать в деревне. Если это так, то Остапчук пребывает в заблуждении.

Через несколько месяцев его арестовывают в деревне за антисоветскую агитацию и пропаганду. Одним из доказательств этой деятельности было сколачивание агитационных щитов майским солнечным днем 1921 года. Впоследствии на этих щитах висели, оказывается, материалы, признанные следствием антисоветскими. В поле зрения следствия мог попасть и я, принимавший участие в изготовлении щитов, но отчего-то не попал. Не оттого ли, что к тому времени находился в заключении за убийство? Вряд ли. На месте следователя я бы, наоборот, связал одно дело с другим, ведь убийца, вне всяких сомнений, лучшая кандидатура для занятий антисоветской агитацией.

Теперь же самое интересное: антисоветский агитатор Остапчук в начале 1932 года оказался на Соловках. Могли ли мы встретиться? Теоретически да — если бы Остапчука отправили в Лабораторию по заморозке и регенерации. Но его туда не отправили, и наши судьбы вновь разошлись. В 1935-м он вернулся в Ленинград и устроился в родную Пулковскую обсерваторию, где работал до самой своей смерти, последовавшей в 1958 году.

Всё это Яшин узнал из личного дела Остапчука, сохранившегося в материалах Пулковской обсерватории. В этих же бумагах нашлось указание и на место захоронения Ивана Михайловича — Серафимовское кладбище. Оценив преданность сотрудника при жизни, обсерватория не оставила его и после смерти. В финансовых отчетах учреждения, по словам Яшина, сохранился не только счет за сооружение надгробного памятника, но даже счета за венки и цветы, приносившиеся на могилу покойного. Раз в пять лет фигурируют также чеки за купленную краску “под серебро”, что свидетельствует о регулярной покраске ограды. В правом верхнем углу памятника выбита надпись на неведомой Остапчуку латыни: *Per aspera ad astra**.

[Гейгер]

Сегодня поговорил с Настей. Всё ей объяснил. Вернее, объяснил всё, что мог, потому что сам мало что понимаю.

О медицинской стороне дела писать здесь не буду. Все эти дни описывал ее в истории болезни, и повторять это сейчас как-то глупо. Особенно глупо оттого, что описание мое содержит одни вопросы.

Настя это почувствовала и запаниковала. В первый момент вцепилась мне в руку. У нее была истерика.

Это хорошо, что так. Хуже было бы, если бы эмоции ушли внутрь. Из этого состояния гораздо труднее выйти.

* Через тернии — к звездам (лат.).

У меня настроение скверное. Врач не должен привязываться к пациенту. От этого хуже обоим.

Только ведь Иннокентий для меня не пациент. После того как мне удалось вытащить его живым из азота, он мне стал чем-то вроде сына. Звучит пафосно, но ведь это так. Тем более что сына-то у меня нет. И дочери нет.

Интересно, сообщит Настя Иннокентию о том, что происходит с его мозгом? Я ей ничего не запрещал. Я даже сам не знаю, сообщать ли ему это.

А если спросит? Ну, если спросит, тогда.. Тоже не знаю. Изучил его вроде бы хорошо, но не могу просчитать реакцию. Уж если сообщать, лучше, наверное, чтобы это сделала Настя.

Смотрю сейчас: на руке синяк — она ухватила меня по-настоящему. Да она и есть настоящая. Несмотря на фантики в голове.

Четверг [Настя]

Был разговор с Гейгером. Я его ждала. Понимала уже, что хороших известий ждать не приходится. Мне трудно воспроизвести в деталях то, что сказал Гейгер, но суть сказанного убийственна. В Платошином мозгу начали массово “затухать” клетки. Говоря о “затухании”, Гейгер имел в виду не полную их гибель, а резкое ослабление функций. При этом многие клетки гибнут, и лишь незначительное их количество восстанавливается. О восстановлении, по его мнению, говорит то, что Платоша перестал хромать на правую ногу. При этом общее его состояние ухудшается — и довольно быстро. На днях Гейгер займется исследованием

спинного мозга Платоши — он видит проблемы и там.

Это я *сейчас* всё внятно излагаю, а когда услышала сказанное Гейгером, была как сумасшедшая. Теперь стыдно. Он и так ко мне сдержанно относился (разве я не вижу?), а сейчас и вовсе будет от меня бегать. Я не спросила Гейгера, стоит ли мне Платоше всё рассказывать, а потом поняла, что решить это должна я сама. С одной стороны, страшно вешать на больного такой груз, а с другой — он ведь скоро поймет, что от него что-то скрывают, и тогда положение его будет еще хуже. Думала-думала, да так ни до чего и не додумалась. Увидела его вечером — разревелась и всё ему рассказала. Не всё, конечно. Ровно столько, сколько собиралась, если бы уж решила рассказывать. А получилось, что решила.

Он всё выслушал спокойно. Сказал, что этого можно было ожидать. Что десятилетия, проведенные в жидком азоте, должны же были как-то проявиться.

Когда мы уже лежали в постели, я сказала:

— Мы всё преодолеем. Нужно только не терять надежды.

Он обнял меня. Прижался губами к переносице. Прошептал:

— Конечно. Я занимаюсь этим всю жизнь.

[*Иннокентий*]

Настя рассказала мне о результатах МРТ. Лучше произносить все три слова — магнитно-резонансная томография, — потому что аббревиатура звучит страшновато. Как, впрочем, и результаты обследования.

Сегодня ездил на Серафимовское кладбище. Из архивного описания я знал, что могила Остапчука находится совсем рядом с кладбищенской церковью. Нашел без труда: надпись *Per aspera ad astra* бросалась в глаза издали. На побуревшем камне она была недавно обновлена той же краской, которой красили ограду. Интересно, что из массы всего рассказанного Остапчуком в тот памятный день как раз о звездах речь и не шла. День нашей встречи, ставший днем прощания.

Я ведь тогда еще подумал: вот, мы видимся с ним в последний раз, и этого оказалось достаточно, чтобы встреча запомнилась. Не то чтобы общение с Остапчуком произвело на меня огромное впечатление — огромна была мысль о том, что прощаемся мы навсегда. Она не помещалась в голове и была страшна, потому что потеря всякого человека и всякой вещи является частью смерти. Которая есть потеря всего.

Здесь, на Серафимовском кладбище, я неожиданно вижу Остапчука собственной персоной, разливающего самогон по кружкам. Сотканный из противоречий, он морщится от сивушного духа и в то же время радостно приветствует его. Остапчук гол по пояс, он снял свой китель, потому что бережет и не хочет трепать по пустякам. Сидит на цоколе своей могилы и, закрыв пальцами нос (крепкая вещь-то), задрав подбородок, принимает напиток внутрь. Я слежу за тем, как ходит кадык Остапчука.

Теперь моя очередь: я достаю припасенную водку и наливаю ее в серебряные, взятые из дому, рюмки — в 1921-м такой роскоши не было, но тем лучше для нас обоих. Мы пьем, потому что это приличествует месту (не щиты же нам здесь сколачивать), да и давно мне, по правде говоря, хотелось выпить с Остапчу-

ком. Он в двух метрах от меня — пусть не рядом, пусть под землей, — но он здесь. Думаю, что на этот раз в кителе или еще в чем-нибудь торжественном, если, конечно, в последний момент не пожалел это надеть: в земле поскольку всё страшно портится.

В присутствии Остапчука мне не так страшно. Я с моим жутким МРТ все-таки, в отличие от него, живой и, возможно, проживу еще какое-то время. Я способен перемещаться, ехать, например, по улице Савушкина в трамвае до кладбищенских ворот, купить водку, то да се, а главное — уйти отсюда, с кладбища, живым. В отличие от того же Остапчука, лежащего под красивой надписью днем и ночью. Ночью — в холодном свете звезд, к которым, если верить надписи, он так стремился по месту службы.

Суббота [Настя]

Вчера Платоша пришел пьяный. Спрашиваю:

— Где это, если не секрет, ты пил?

— Не секрет, радость моя. На Серафимовском кладбище, с Остапчуком.

— А кто такой Остапчук?

— Остапчук, радость моя, покойник.

Поцеловал меня, а затем еще часа полтора сидел за компьютером.

[Гейгер]

Я очень мало понимаю в происходящем.

Я не способен на него повлиять.

Мне страшно.

Сегодня приснилось, что на огромной скорости несется автомобиль. А за рулем автомобиля — я. Только незадача в том, что руля-то, собственно, нет. Нет даже тормозов. Чтобы понять этот сон, не нужен толкователь.

Да, я знаю, что затухание клеток — результат длительного переохлаждения. Только это мало что дает. У меня нет ответа на вопрос, как именно всё происходит.

Почему деградация клеток началась только спустя полгода? Ведь если клетка повреждена, логично предположить, что она изначально не “проснется”. Но ведь проснулась же и полгода прекрасно бодрствовала!

А если допустить, что деградация началась сразу же и сейчас попросту приняла обвальный характер? Да нет, не было этого: Иннокентий находился под тщательнейшим контролем.

Можно было бы подумать, что мы изменили методы реабилитации и спровоцировали затухание клеток. Но методы не менялись. Не менялись они!

Мозги закипают.

[Настя]

Платошу признали человеком года по версии журнала “Время”. И название журнала для него подходящее, и титул симпатичный, а радости, понятно, никакой. Еще неделю назад радовались бы, отмечающие бы устроили, эх...

Смотрит на нас Платоша с журнальной обложки, а заодно — со всех билбордов и рекламных тумб: реклама у “Времени” — супер. Они там отличную нашли фотографию: объект о съемке явно не знает,

с кем-то говорит, улыбается. Фотография, конечно, черно-белая, и освещение потрясающе выставлено, а самое симпатичное на ней — морщинки, возникающие при улыбке. Платоша там как киноартист.

У всякого киоска невольно замедляю шаг. Хорош. Ох, хорош! И думаю: не может с ним, с таким, ничего случиться. Ну, есть ведь какая-то логика в событиях! Одно дело — старец с тусклым взглядом, истрепанный жизнью, а тут — такой с виду плейбой (никто ведь не знает, что он не плейбой), такой весь тебе Брэд Питт — как же, спрашивается, это всё может соединиться с “затуханием клеток”?

[*Иннокентий*]

Сначала читал “Робинзона Крузо”, а затем — Евангелие, притчу о блудном сыне.

Я как-то сказал Насте, что милость выше справедливости. А сейчас подумал: не милость — любовь. Выше справедливости — любовь.

[*Гейгер*]

Заехал после работы к Иннокентию.

Он был один дома. После грустных известий о его состоянии мы впервые виделись наедине.

В присутствии Насти было легче. Она не дает повиснуть молчанию, *sprachfreudiges Mädchen**.

А тут мы половину времени молчали. Ни он, ни я не хотели говорить о результатах исследований.

* Разговорчивая девочка (*нем.*).

Невский. Похороны авиатора Фролова. Мы с Севой пришли проводить в последний путь этого смелого человека. Мои родители тоже скорбят об авиаторе, но — дома. Не пошли, чтобы не плакать на людях, — знали, что не удержатся. А мы с Севой — ничего, плачем. Я, двенадцатилетний, не стесняюсь сажу у него на плечах, чтобы хоть что-то увидеть, — так многие сидят. Договорились, что потом я посажу его на плечи, но как-то не сложилось. Забылось. Руки мои под Севиным подбородком сведены в замок, и я чувствую, как на них падают Севины слезы.

Вот показывается траурная процессия и в который, кажется, раз проезжает мимо нас. Я так жадно в нее всматриваюсь и так часто впоследствии прокручиваю это зрелище в памяти, что в моем сознании оно остается многократным. Будто в обратной съемке, процессия спешно возвращается к началу Невского и вновь начинает свое величавое движение вперед.

Первыми идут офицеры с крестом, хоругвями и венками. Крест в центре, хоругви по бокам, венки — сзади. За ними маршируют две колонны, несущие ордена и медали погибшего. И вот, наконец, катафалк с высоким балдахином, возвышающимся над всей процессией. Под балдахином закрытый гроб. В гробу дорогой всем нам покойник. Икар, как написано на одном из венков.

Всё это медленно наплывает на нас. Крики и разговоры вокруг стихают. Слышно только цоканье лошадей, запряженных в катафалк. Я впиваюсь в Севины волосы, но он этого не замечает. Пытаюсь представить себе Фролова в гробу — сложенные на груди руки с иконой, бумажный венчик на лбу. Бледен. От

губ его запах табака. Аромат последней папиросы, выкуренной благодаря мне.

Мы стоим спиной к Гостиному двору, а мимо нас огромная, как море, толпа течет в сторону Лавры. Море — вязкое, оно обволакивает всё, что встретится на его пути, — вагоны конки, экипажи, фонари. Независимо от своей природы, всё попавшее в этот поток в равной степени неподвижно.

Я наконец спешиваюсь, и мы примыкаем к этой толпе, потому что двигаться можно только в одном направлении — к Никольскому кладбищу. Идем по Невскому — мимо Екатерининского сада, по Аничкову мосту, по Знаменской площади — ну, и доходим, стало быть, до Лавры. Не понимаю, почему на Никольском кладбище я до сих пор не посетил могилу авиатора Фролова.

Такая вот картинка. Времени года не помню. На Невском — если нет, конечно же, снега — времени года и не понять. Деревьев тут почти не найдешь, а одеваются все как-то невнятно, без оглядки на сезон. Да и сезонов здесь, если всерьез разбираться, нет. Есть время зимнее и незимнее, а всё прочее в наших краях отсутствует.

[Настя]

На днях Платоша сказал, что нам нужно бы обвенчаться. Я-то поняла, что это значит. Он хочет перевести наши отношения в область вечности. Считает, что времени доверять уже нельзя. Что его дни сочтены. Прямо этого не говорит, но из отдельных фраз, брошенных им в разных обстоятельствах, составила такая как бы мозаика. Ее вижу только я, потому

что общаюсь с ним постоянно. Ну, может быть, еще Гейгер. Да, конечно, Гейгер.

Он, хотя об этом предложении не знает, общее Платошино состояние чувствует хорошо. А я чувствую Гейгера. Он страдает, думаю, не меньше нас, но никаких бесед о болезни не ведет — ни с Платошей, ни со мной. Я ждала от него слов утешения, но не дождалась. Меня это сначала сильно цепляло, а потом я поняла, в чем дело. Гейгер — человек рациональный и одновременно по-немецки честный. Он не знает, что происходит с Платошей, и оттого не находит слов утешения. Я думаю, утешение, не основанное на фактах, ему кажется не только бессмысленным, но и безнравственным. И в этом он сильно заблуждается.

Платоша, кстати, тоже ничего не говорит — по другим причинам. Он мужественный человек и предпочитает всё носить в себе. Боится меня травмировать. Гейгера он травмировать не боится, но тут оба сходятся на том, что обсуждать непонятное нет смысла. И все молчат. Когда я пытаюсь об этом заговаривать, меня ни один из них не поддерживает.

Да, звонил тут Желтков, поздравлял Платошу с “Человеком года”. Я Платоше жестами показываю: пригласи парня на чай, он это любит. Не пригласил.

[Иннокентий]

На этой неделе два раза Желтков звонил — один раз при Насте, другой — без нее. Про тот, что без, я ей ничего не говорил. Он тогда сказал, что у него для меня есть интересный политический проект. Что я,

как человек старой закалки (это он азот имеет в виду?), мог бы быть полезен.. Я не дал ему договорить. Сказал, что прежде всего я — человек неполитический.

— Но вы же, — возразил он, — даже не выслушали суть моего проекта!

— Так вот и хорошо, что не выслушал. Вдруг это государственная тайна, и я, отказавшись, буду с ней жить.

— Ну, прямо уж тайна, — буркнул Желтков. — Ладно, обойдемся без проектов. Будем лучше чай пить, верно?

Он расхохотался своим прежним смехом — как во время чаепития.

Почему Настя считает этот смех искренним?

[Настя]

Сегодня Платоша поехал к Гейгеру в клинику на очередной анализ крови, а я пошла в Князь-Владимирский собор. Шла через парк, который, говорят, прежде был церковным кладбищем. На дорожках то тут, то там, не сплошным еще ковром — листья кленов и тополей. Я вдруг осознала, что уже начало осени. Такое легкое, не обвальное пока увядание.

До этого мы ходили в собор вдвоем, а тут я шла одна, и у меня сжалось что-то внутри. Неужели настанет день, когда я сюда буду одна ходить? Если бы только эти мысли, я бы смогла их как-то отогнать, но тут ведь еще выяснилось, что осень: какой-то всеобщий уход. Когда проходила у церковных ворот мимо нищих, они ко мне даже не приставали, просто взглядом проводили — такой у меня, получается, был вид.

Шла вечерняя служба — не знаю, как она правильно называется. Храм в полумраке, освещался только свечами. Войдя, я направилась в левый придел, где икона святого великомученика и целителя Пантелеимона. У иконы висела молитва ему, я ее прочла. А потом прижалась лбом к стеклу иконы и стояла так долго. Я рассказывала Пантелеимону о Платоше. О том, сколько он в жизни страдал и мучился, но главное — о том, что сейчас мы ждем ребенка. Рядом со мной к иконе прикладывались люди, стекло под моим лбом перестало быть прохладным, а я все рассказывала и рассказывала. Беззвучно шевелила губами. Тепло нагретого мной стекла превращалось для меня в тепло Пантелеимона. До меня доносились негромкие молитвы, и от этого мне было спокойно.

Потом стояла у Спаса, у иконы “Всех скорбящих радость”. Никогда у меня раньше не было такой беседы, а сейчас вот получилась. Это была настоящая беседа, хотя говорила только я. Ответом мне была надежда, которая приходила на смену отчаянию. Особая радость скорбящей.

Домой я вернулась позже Платоши. Когда он спросил, где я была, я рассказала ему, хотя первоначально не собиралась. Я боялась, что рассказ о церкви откроет ему, насколько серьезным мне кажется его состояние. Боялась, что это может его окончательно добить. Но я даже не догадывалась, что в меня войдет такая радость и что я смогу ею поделиться.

Он мне сказал:

— Ты вся светишься. Я боюсь, что, если дела мои пойдут не так, этот твой свет превратится во что-то противоположное.

Такого, честно говоря, не ожидала.

— Ты предлагаешь мне просить за тебя и не верить, что это может сбыться? А помнишь, у Чехова где-то про попа, который, идя просить о дожде, берет с собой зонтик?

— Вот не надо зонтика. Просто проси.

Поцеловал меня в лоб. Он не прав. Не прав!

[Иннокентий]

За Настей приехала “Скорая”. Несколько дней она жаловалась на тяжесть в животе, но не позволяла вызвать врача, а сегодня всё ухудшилось, так что пришлось вызвать. Хорошо, врачей упросили, чтобы ее везли в Невский роддом, где она наблюдалась с начала беременности. Не понимаю, почему я, дурак, раньше не настоял на больнице... Понимаю, конечно. Ей страшно было оставлять меня одного. И мне страшно — оставаться. Вот только чего теперь ждать? При одной мысли об этом дурно становится. Ведь должен был настоять. Взять за руку и отвезти в больницу.

Мы когда с ней в роддом приехали, мне совсем тошно было. Я попросился было к ней в палату, посидеть рядом — куда там! Что ж вы, милый, так поздно приехали — ночь на дворе! Как будто мы выбирали, когда приезжать... Меня дальше приемного покоя не пустили. А Настю на каталке увезли в палату. Такое это тягостное зрелище, когда близкого человека на каталке увозят. Ох.

Еще около часа сидел на кушетке у приемного покоя. На меня приходили смотреть: у моей кушетки весь больничный персонал, я думаю, отметился. Смотреть — смотрели, а для того чтобы меня с На-

стей соединить, ничего не сделали. Ни-че-го. В конце концов попросили покинуть и кушетку: у них-де положено на ночь больницу закрывать. Я ушел, не проронив ни слова. Мог бы, конечно, сказать им, как мне плохо, но не нашел этого самого слова.

Через несколько минут оказался на Невском. Вошел было в метро, даже купил жетон, но — не поехал.

— Вы едете? — спросила дежурная. — Мы, между прочим, закрываемся.

Закрывайтесь. Как представил, что дома буду без Насти, ехать раздумал. Выйдя из метро, направился к Московскому вокзалу, решил там посидеть. Люди, много людей — а мечталось о светлом безлюдном месте. Мне ни говорить с ними не хотелось, ни просто видеть их. Знать не хотелось, что они есть. Потому что после расставания с Настей лучше бы их, вообще-то, не было. От их присутствия одиночество только острее. Просидел на вокзале часа полтора.

Вышел на Знаменскую площадь — помню ее Знаменской, с храмом еще, с гениальным памятником. Представил себе, как каменной поступью возвращается на свое место император. Впереди машины с мигалками — перекрывают движение для его величества, не ожидали. Медленно ступает его конь: грохот копыт, искры на асфальте. Если вернулся я, почему бы не вернуться императору? Оба мы — история.

Побрел в сторону Лавры. Устал, ноги подгибались. У одного дома стоял кем-то вынесенный кухонный стол. Я на него сел. Ногами легонько барабанил по дверцам, издавая глухой барабанный звук. Никогда еще не сидел так на Невском. На кухонном столе. Немного отдохнул — пошел дальше.

К моему удивлению, вход в Лавру был открыт. Стоявшие в воротах люди чего-то ждали. Через минуту показалась машина с надписью “Водоканал” и на малом ходу въехала в ворота. Я не торопясь пошел вслед за машиной. Меня никто не остановил: очевидно, я чем-то напоминал сотрудника “Водоканала”. Может быть, задумчивостью. Люди, имеющие дело с водой, часто задумчивы.

Поколебавшись, я решил зайти на Никольское кладбище. Оказалось, что машина тоже направлялась на Никольское кладбище. Она ехала всё так же медленно, словно на ощупь, и свет ее фар выхватывал из мрака деревья и памятники. Они становились неправдоподобно объемны, двигались в электрических лучах, меняясь местами, теряя свои тени и приобретая чужие.

На Никольском кладбище кипела работа. В свете мощных прожекторов ревели два экскаватора, извлекавших землю, как мне казалось, из могил и складывавших ее на свободных местах. Нет, не из могил. Когда я подошел поближе, стало ясно, что машины работали на дорожке — с двух противоположных ее концов они рыли траншеею. В то же время над траншеей чернела не только земля, но и несколько поднятых на поверхность гробов. Ряды могил за многие годы своего существования перестали быть рядами, и некоторые захоронения занимали чуть ли не половину дорожки. Такие могилы очевидным образом приходилось раскапывать.

Я помнил, что могила Терентия Осиповича тоже выпирает, и мысль, что ее придется потревожить, чтобы протянуть таинственную траншеею, — да, такая мысль мелькнула. Пройдя вдоль траншеи, тянувшейся за вторым экскаватором, я остановился (умест-

ный образ) как вкопанный: гроб Терентия Осиповича уже стоял на холмике свежей земли. Конечно, я не мог быть уверен, что в гробу лежал именно Терентий Осипович, но гроб нависал именно над его могилой — кому же там было быть, как не ему?

Я подошел к гробу вплотную. Одна из боковых досок гроба отвалилась, но свет прожектора в образовавшуюся выемку не попадал. Ничего сквозь нее не было видно. Без того, чтобы открыть крышку, не убедиться было, что это Терентий Осипович. Только как это сделаешь?

Пока я раздумывал, из приехавшей машины протянулась гибкая труба. Она выползала из гигантской катушки, которая вращалась с неожиданно тонким звуком. Водные коммуникации прокладывались через кладбище — ночью, чтобы никого не смущать. Трубу аккуратно укладывали на дно траншеи. Все, словно замороженные, смотрели, как, обеспечив водоснабжением живых, городские власти принялись за усопших. Незаметно для других я сделал шаг к гробу и положил руку на полуистлевшее дерево крышки. Ощупал ее. Там, где крышка соединялась с гробом, оказалась небольшая щель. Запустив в нее пальцы, с усилием потянул крышку вверх.

Усилия не понадобилось: крышка легко поднималась. Я еще раз бросил взгляд на окружающих — все по-прежнему наблюдали за укладкой трубы. Одним движением приподнял крышку и сдвинул ее на край гроба. В бьющем сверху луче прожектора стали видны останки человека. Этим человеком был Терентий Осипович. Я узнал его сразу.

Прилипшие к черепу седые волосы. Торжественный мундир, почти не тронутый тлением. Таким, собственно, он был и при жизни. Отсутствовал,

правда, нос, и на месте глаз зияли две черные дыры, но в остальном Терентий Осипович был похож на себя. Какое-то мгновение я ждал, что он призовет меня идти бестрепетно, но потом заметил, что у него нет и рта.

[Гейгер]

Настя в больнице.

Иннокентия к ней сегодня не пустили, велели прийти завтра. Он позвонил мне, сказал об этом. А еще попросил меня найти описание аэроплана “Фарман-4”.

Спрашиваю:

— Зачем?

Он:

— А пусть будет, мы ведь восстанавливаем всеобщую картину прожитого. Прибавьте это к прочим нашим текстам.

Прибавляю, это не сложно. Раскрыл энциклопедию и пишешь.

Но. Чувствую себя неуютно. Не знаю, стоит ли поддерживать такие начинания.

Ладно... Будем считать, что всё нормально.

Итак, “Фарман-4”, биплан — с двумя парами крыльев. Двухместный. Выпускался в 1910–1916 годах. Двигатель — 65 лошадиных сил, винт диаметром 2,5 метра. Весил 400 кг, был способен поднимать 180 кг. Фюзеляж делали из сосны, крылья и рули были обтянуты кремово-желтым полотном. Sehr raffiniert*. На “Фармане” летал Фролов (звучит, как стишок). На нем, к сожалению, и разбился.

* Весьма рафинированно (нем.).

Зачем я всё это пишу, не знаю. Непросто это делать. И всё же проще, чем писать о результатах анализов Иннокентия.

[Иннокентий]

Писал вчера ночью, пока прямо за столом не заснул. Мне снился аэроплан Фролова. Во сне я даже название его вспомнил: “Фарман-4”. Вот ведь память — даже четверку сохранила, кто бы мог подумать! Снилось, как его самолет разбегается по аэродрому, а взлететь — не взлетает. Авиатор видит, как под его ботинками трава, цветы, листья какие-то — всё сливается в темно-зеленую массу. Может, и лучше было бы, если бы не взлетел-то... Ехал бы себе и ехал — чем плохо? Подпрыгивал бы на кочках, подрагивал бы крыльями.

Только ведь не таким мы его любили.

[]

Остался ночевать у Иннокентия. Часов до трех беседовали.

Он водку достал — сначала одну бутылку, затем другую. Я не стал возражать — уж какие тут возражения? Мы обе бутылки и выпили.

Вообще-то я боялся, что он начнет о своем здоровье расспрашивать. Не начал.

Его сейчас гораздо больше здоровье Насти волнует. Он очень боится, что ребенок погибнет.

Разговор как-то соскользнул на нынешнее устройство жизни. Иннокентий назвал его анархией. Я за-

метил, что за анархией обычно приходит авторитарное правление. Что, в сущности, очень грустно.

А Иннокентий — сиделец Иннокентий! — сказал, что авторитаризм, возможно, меньшее зло, чем анархия.

Сравнил население страны с глубоководными рыбами. Они, дескать, только и могут жить что под давлением.

Отношу это к количеству выпитого.

Неприятное открытие. За время нашего сидения Иннокентий несколько раз поперхнулся. Явные нарушения глотания, и дело здесь не в горле. Это проблема головного мозга.

[Иннокентий]

Был сегодня у Насти. Чувствует она себя неважно и выглядит так же — бледная, даже зеленая. Никогда ее такой не видел. Сидел у нее до позднего вечера, пока не выпроводили. Во время обеда съел почти всю ее порцию, потому что она есть не могла. По мнению лечащего врача, из-за интоксикации организма.

Еда, прямо скажем, не из “Метрополя”. Вот я думаю: здешние повара ведь не добиваются специально, чтобы обед был таким невкусным, верно? Просто не кладут в него чего-то предусмотренного, проще говоря — воруют. Наши люди. Ничего не могут с собой поделывать.

А Гейгер говорит: нельзя на таких давить, ни на каких нельзя. Спорили с ним вчера полночи о преимуществах демократии. Я эти преимущества и без него вижу. Где-то они, может быть, естественны

и уместны, а у нас вот никак не могут проявиться. На исторической родине Гейгера, например, могут, а у нас — нет.

Я думаю, всё дело в личной ответственности. Личной. Персональной. Когда ее нет, нужны какие-то внешние меры воздействия. Если у человека, например, проблемы с позвоночником, на него надевают корсет, вещь довольно жесткую. Но она держит тело тогда, когда его не держит позвоночник. Именно так Гейгеру и скажу. Приводил ему морской пример, а теперь приведу медицинский.

[Гейгер]

Осматривал на днях Иннокентия и обратил внимание на то, что руки и ноги у него немного похудели. Причина — уменьшение мышечной массы. Это свидетельствует о проблемах в спинном мозге.

Сегодня делали Иннокентию позитронно-эмиссионную томографию. Радости мало. А почему я, собственно, считал, что дело ограничится головным мозгом? Охлаждение ожидаемо повлияло на весь организм. В том числе и на спинной мозг. Но — как, как именно повлияло? Если бы это понять...

[]

Сегодня Настю выписали. В ходе лечения ей, оказывается, сделали УЗИ. А при выписке сообщили и главную новость: у нас будет девочка. Дочь. Весь день сегодня об этом думаю. Мне почему-то представлялось, что будет мальчик. Это не значит, что

девочка — хуже, просто есть вещи, которые кажутся само собой разумеющимися.

С одной стороны, мальчику я мог бы больше посоветовать, потому что прошел этот непростой путь. С другой стороны, мой путь начинался почти век назад. Имеет ли сейчас какую-то ценность этот опыт — большой вопрос. Так что в смысле опыта то, сын у меня или дочь, большого значения не имеет. Как мужчине мне приятнее, наверное, дочь. Да и всё лучшее в моей жизни, если разобраться, связано с женщинами.

Перечитал сейчас — какие глупости! Понятно ведь, что отвлеченные рассуждения здесь неприменимы. Любят ведь конкретного человека, а не мальчика или девочку. Вот родится этот человек, перестанет быть абстракцией — тогда... А будет ли у меня это *тогда*?

[]

Я опять дома. *Мы* — опять дома! Мы с нашей дочерью: только что узнала, что у нас девочка. Почему они сразу не сказали, что у меня дочь, — боялись сглазить? Не верили в благополучный исход? Или это просто-напросто неистребимая совковая недоброжелательность? Гадать бессмысленно, да, в общем, и неинтересно.

Мне кажется, наша дочь вытащит из этой ямы нас обоих — и его, и меня. Когда мы из больницы ехали в такси, я сказала:

— Платоша, милый, от тебя всецело зависят две дамы. Теперь ты просто не можешь раскисать.

И он даже улыбнулся в ответ, но до того измученно, что я чуть не расплакалась. Уж лучше бы,

честное слово, не улыбался. Я прижалась к нему, положила ему на плечо голову, а потом обхватила его руками. Шофер смотрел на нас в зеркало, а мы так и ехали всю дорогу — обнявшись.

[Иннокентий]

Звонил Яшин, сказал, что есть для меня кое-что интересное. Когда я приехал, он принес мне папку с материалами о моем кузене Сева. Пришла она по запросу архива в прокуратуру — глубоко же Яшин копал.. Профессионал, я им просто-таки любовался. Бумаги вынимал лист за листом, и как-то так очень ловко. В белых перчатках, сам рыжий. На первом же листе я нашел себя — в списке тех, кого распределили в 13-ю роту. За Севиной подписью. Против двух фамилий там стояла пометка, предписывавшая особую строгость содержания. Одной из этих фамилий была моя. Неужели Сева так хотелось от меня избавиться?

Сколько же мы с ним летали на змее-аэроплане, я на переднем сиденье, он на заднем! Сева ведь и на пересыльном пункте не пересел на переднее: не расстрелял меня, не лишил жизни своею волей. Предоставил мне умереть собственной смертью — если, конечно, смерть от истощения может считаться собственной. Мы бежали, и я сбавлял шаг, потому что видел, что Сева задыхается. Мы шлепали ногами по сырому песку, оскальзываясь, вздымая брызги, а змей величаво летел над морем — иной, недоступной для бега стихией, и вместе с ним летели, казалось, и мы. Когда мы спотыкались, наш аэроплан нырял, но это было почти незаметно, было похоже на то, что он поймал иной воздушный поток.

Как это Сева так оступился, что его аэроплан спи-кировал вниз? Из документов, принесенных Яши-ным, следовало, что в 1937 году мой кузен был рас-стрелян. О пытках в ходе следствия в бумагах прямо не говорилось, но по отдельным попавшим в прото-кол возгласам можно было понять, что они были. Возгласам, а главное — особенностям информации, исходившей от Севы неравномерными толчками. Бо-лее или менее предметный разговор состоялся только на первом допросе. Остальное — поскольку расска-зывать Севе было нечего — выглядело безуспешными попытками угадать желание следователей.

Протоколы, обычно скупые на слова, в этот раз не сэкономили на деталях. Подробно рассказывалось, что говорил Сева, вымаливая себе жизнь, как громко, по-бабьи рыдал и бросался целовать сапоги следова-телям. Подвинувшись, очевидно, умом, на последних допросах предлагал отпустить его для освоения пу-стынных районов Узбекистана. Требовал приехать к нему через десять лет и поесть фруктов в посажен-ном им саду. Сева описывал следователям, как все они пьют чай в вечерний час, когда уже нет зноя и дышит-ся легко. Судя по подробности записей, Севины речи производили на слушателей большое впечатление. Надо полагать, что следователи, устав от допросов, и сами давно мечтали о тихой садовой жизни. Стран-ным образом и мне от этого чтения становится легче.

[]

Сегодня впервые мы с Иннокентием поговорили о его здоровье серьезно. “Точнее — о нездоровье”, — поправил он. Хорошо, что шутит...

Мне вспомнился анекдот о том, как в больницу привезли человека с ножом между ребрами. “Что, очень больно?” — спрашивает у него врач. “Да нет, — отвечает тот, — только когда смеюсь”.

Рассказал этот анекдот Иннокентию. Он кивнул. Что-то пробормотал вроде того, что это о нем. А потом поднял лицо, а в глазах — слезы.

Не я завел эту тему — Иннокентий. Он начал рассказывать об изменениях, которые за собой замечает. Знаю твердо, что медицинских книг Иннокентий не читает, иначе подумал бы, что он цитирует описание симптомов при мозговых нарушениях.

Судя по всему, наиболее ощутимо у него пострадала оперативная память. Забывает о вещах, которые произошли только что. Не обо всех, по счастью.

При этом события начала века он вспоминает без особого труда.

Появилась истеричность — она заметна даже мне. Вдруг посреди нашего разговора Иннокентий заявил, что больше не видит смысла в ведении записей.

— Что значит “больше”? — спросил я. — Что изменилось в сравнении с предыдущими месяцами?

— Ну, вы же прекрасно понимаете, куда теперь лежит моя дорога.

— Я — не понимаю. К сожалению, никто пока не понимает.

Он посмотрел на меня в упор. Зло посмотрел.

— Писать только для того, чтобы вы защитили еще одну диссертацию?

Никогда Иннокентий со мной так не разговаривал. Я молчал, потому что не знал, что сказать. Вдруг он подошел и обнял меня:

— Простите, Гейгер. Я чудовищно несправедлив. И, кстати, все возможные диссертации я уже защитил.

[]

Опять приезжал в архив, чтобы продолжить знакомство с Севиным делом. Идиллические картинки сада в пустыне время от времени, когда Сева окончательно изнемогал, сменялись проклятиями как следователям, так и советской власти в целом. Интересно, что в одну из таких минут Сева вспомнил наш разговор о локомотивах истории. Он привел его своим мучителям и сказал:

— Не думал я, что этот локомотив привезет меня сюда. А ведь предупреждал меня Иннокентий: ходи пешком.

Новые допросы были связаны с выяснением судьбы Иннокентия. Тот факт, что меня, своего кузена, Сева лично направил в безнадежное место, было признано особо изощренной хитростью и частью преступного плана. Когда на Севу в очередной раз нажали, он представил не один план, а целых три, но ни один из них не соотносился с моим тогдашним положением, о котором Сева не знал.

Узнав о том, что меня заморозили, он выдвинул четвертую версию. Она состояла в том, что разьедавший меня вирус ревизионизма путем заморозки намеревались протащить в коммунистическое будущее. В том, что произносил Сева, уже не ощущался дух — одно лишь истерзанное тело. Оно не хотело больше ничего, кроме прекращения мучений. Не хотело даже жизни, потому что отраженный в мате-

риалах самооговор не сулил Севе ничего, кроме расстрела.

Раскрывая о себе и обо мне всё новые подробности, мой несчастный родственник требовал даже разморозить меня и допросить с пристрастием. Несколько вклеенных в дело страниц сообщали, что такая попытка предпринималась. Кончилась она для следователей плачевно. После выяснения того, по чьему распоряжению производились опыты по заморозке, попытка разморозить меня была признана ревизионистской, и я остался на своем месте. В отличие, между прочим, от следователей, преданных суду.

[]

Мы с Платошей решили узаконить наши отношения — перед Богом и людьми. Сначала перед людьми: для венчания требуется штамп в паспорте. Вообще-то, в ЗАГСсах довольно длинная очередь, но здесь помог Гейгер. Один из начальников паспортной службы оказался его бывшим пациентом.

— До паспортной службы он тоже был заморожен? — спросила я у Гейгера.

— Наоборот, — ответил Гейгер, — он заморозился, попав на службу. Но иногда оттаивает: вас распишут без очереди.

Вот ведь и у Гейгера есть чувство юмора. Наши с ним отношения хороши как никогда.

Ходила потом в Князь-Владимирский собор, договорилась о нашем венчании. Уточнили, с хором или без, — конечно, с хором. Как же без хора? Вечером рассказала обо всём Платоше, в том числе —

и о помощи Гейгера в ускорении процесса. А он говорит:

— Если Гейгер так спешит, значит, дела мои неважные. Из всех из нас он — человек самый информированный.

Я начала говорить, что Гейгер вовсе не спешит, но тут зазвонил телефон. Платошу просили об очередном интервью. Он отказал и повесил трубку. О предыдущем разговоре уже не вспомнил или попросту не захотел его продолжать. Ситуацию, что называется, проехали. Находиться рядом с ним иногда тяжело.

[Иннокентий]

Мне стыдно за себя. Я чувствую страх и потому мучаю окружающих, которых у меня, собственно, только двое. Зачем я это делаю? Мне ведь от этого даже не легче. Боюсь, что во мне появилось какое-то подспудное раздражение, что я уйду, а они останутся. Если это действительно так, то мое поведение вдвойне постыдно. Нужно внимательно за собой следить.

Сказал вот на днях Гейгеру, что не намерен больше писать. А теперь понимаю: намерен. Из-за дочери. Если ей не суждено увидеть меня живым, я предстану перед ней, так сказать, в письменном виде, и мои страницы будут сопровождать ее по жизни. Нет смысла писать о каких-то крупных событиях — о них она и так узнает. Описания должны касаться чего-то такого, что не занимает места в истории, но остается в сердце навсегда.

Например, заброшенный полустанок на узкоколейке. Он всеми забыт, и узкоколейка всеми забыта.

Не помню, где это было и куда узкоколейка вела, — да и вела ли? Тянулась, ржавая, среди трав, ее почти уже и видно не было. И мы с какими-то детьми играли под платформой, и сквозь щели ее досок пробивалось солнце. Шевелились травы, стрекотали кузнечики, жара стояла. А под дощатым настилом веял прохладный ветер. Платформа была высокой, так что все мы могли распрямиться там в полный рост. Мы же сидели — парами, прислонясь друг к другу спиной. Хорошо было сидеть, мягко: под платформой тоже росла трава, пусть и негустая, мхи какие-то росли. Одному мальчику не хватило пары. И вот он говорит:

— Гроза будет, конец нам.

Ничто, казалось, грозы не предвещало, но это именно что казалось: из-за рощи, на которую мы не смотрели, надвигалась просто-таки свинцовая туча. Мы, в отличие от предупредившего нас, были заняты собой и ничего не заметили. Я позже в жизни наблюдал, что одинокие люди чувствуют тоньше и приближение перемен замечают раньше других. Так вот, эта туча въехала в солнечное великолепие со всем своим набором — дождем, молниями, громом и даже градом. Градом, как принято говорить, с голубиное яйцо. Может, и с голубиное. Я этих яиц не видел, но град был действительно крупным. Он так барабанил по доскам, что они, думалось мне, долго не выдержат.

К этому добавлю, что сверкала молния и гремел гром. Даже не гремел — как-то адски громко трещал. Будто небо было твердью и разламывалось на две неравные (вдалеке всё еще светило солнце) части. Я, конечно же, переживал грозу и до этого, и не один раз, но во всех бывших до того грозах проходи-

ли мгновения между молнией и ударом грома. Мы с мамой, бывало, эти секунды считали. А сейчас удары грома раздавались вровень с молнией, и это было страшно. Мы по-прежнему сидели, прижавшись друг к дружке спинами, но теперь нас соединяло не дружеское чувство — это был страх. Сквозь щели в досках лилась вода — затекая за вороты наших рубаш, холодно струилась по телу. И мальчик, который остался без пары, крикнул в промежутке между молниями:

— Небесное электричество!

И мне стало его отчаянно жалко, и жалость перебила страх. Я отодвинулся от спины, к которой успел прирасти, и уступил свое место кричавшему. Но тот даже не пошевелился. Наслаждался ужасом своего одиночества. И полнотой знания.

[]

Смотрела месяцеслов на предмет имени для нашей дочери. По расчетам врачей, она должна родиться числа 13-го апреля. В этот день празднуется святая Анна. Я сообщила Платоше — он обрадовался. Сказал, что это имя напоминает ему мое и бабушкино. И я рада: Анна — красивое имя, нельзя же всех называть Анастасиями. Решила посмотреть, кто в этот день празднуется еще. Оказалось, святитель Иннокентий, просветитель Сибири и Америки. Удивительно.

Мы продолжаем готовиться к венчанию — в основном внутренне, потому что никаких отмечаний не хотим. Из гостей — только Гейгер. Платоша попросил его оставить о свадьбе заметки. Гейгер слегка

поколебался, но отказаться не посмел: Платоша вон для него больше полугода писал.

Да, важно: мы ведь расписались (какое советское словечко!). Пришли в ЗАГС Петроградского района и расписались — в свитерах и джинсах. Вышла какая-то старая кошелка, сложила губы бантиком, чтобы нас поприветствовать, но Платоша ее остановил. Спокойно сказал, что вот этого не нужно. Она всё поняла и даже не обиделась. Свое выступление ограничила словами: “Распишитесь здесь”. Мы расписались.

В ближайшем пабе выпили пива, я — безалкогольного, а Платоша — немецкого нефильтрованного. Вообще говоря, настроение Платошино в последние дни чуть улучшилось. Нет, не то слово — изменилось. Радостнее он не стал — стал спокойнее, и это уже сдвиг.

[]

Забыл сказать: гроза была короткой, и скоро выглянуло солнце. Струи из щелей становились все тоньше. Украдкой я взглянул на того, кто кричал о небесном электричестве. Он сидел, сложив руки в замок, с горестным видом пророка. Что-то в нем было потустороннее. Интересно, кто он был такой и что с ним случилось?

Еще какое-то время мы следили за сверканием стекающей воды. Теперь не было даже тонких струй. Сначала вода накрывала щели на манер пленки, но пленка эта тут же разрывалась и обращалась в равномерные крупные капли. Мы вышли на открытое пространство и увидели радугу. Наша ржавая узкоколейка уходила под нее, как под мост.

[]

Сегодня в Князь-Владимирском соборе Иннокентий и Анастасия венчались.

Накануне Иннокентий попросил меня описать венчание. Я предложил снять венчание на видео. Он взял меня за руку и сказал:

— Нет, опишите, пожалуйста, словами. В конечном счете остается ведь только слово.

Спорное заявление. Я промолчал. Но пишу — я же просил его писать.

Дело-то еще в том, что я в данном случае — не лучший описатель. Очень я далек от православной службы. Да и от лютеранской, если разобраться, тоже. Хотя крещен как лютеранин.

Так вот, венчание. Длилось оно минут сорок — это единственное, что я могу сказать с достоверностью.

Смысл его частей мне недоступен — за редкими исключениями. Например, когда священник спрашивает каждого, по свободной ли воле он венчается. Или когда оба пьют из одной чаши. Берет за душу.

Когда Настя пила, Иннокентий так удивительно на нее смотрел. Не могу подобрать слова. Одухотворенно, наверное. Да, одухотворенно.

Можно было бы сделать потрясающую фотографию. Резкий фокус на глазах Иннокентия, а Настино лицо чуть размыто. И мерцание бронзовой чаши. Может, и появится такое фото. Там кто-то снимал, журналисты какие-то.

А мне в голову всё какие-то глупости лезли. Вроде того, что вот Иннокентий 1900 года рождения, а Настя 1980-го. Разница, так сказать, в возрасте.

Понравится ли Иннокентию мое описание?

Пишу и думаю: может, венчание вытащит его из депрессии?

[]

В ночь после венчания мы не ложились. Сидели на кровати, прижавшись друг к другу. И ни слова не произнесли. Ни одного. Держались за руки и чувствовали одно и то же. Легли под утро. Сразу заснули.

А днем Платоша смотрел телевизор и вдруг говорит:

— Как можно тратить бесценные слова на телесериалы, на эти убогие шоу, на рекламу? Слова должны идти на описание жизни. На выражение того, что еще не выражено, понимаешь?

— Понимаю, — ответила я.

Я действительно понимаю.

[]

Какое счастье, что я ее встретил.

[]

За чаем беседовали с Иннокентием о роли личности в истории. Надо же о чем-то беседовать, помимо медицины.

Он повторил свою любимую мысль о вождях. Что народ-де находит ровно того, кто ему в этот момент нужен.

Я говорю осторожно:

— Как вы себе это представляете: всем в 1917 году было нужно одно и то же? Старым, молодым, умным, глупым, правым, виноватым — одно и то же?

— А где вы там видите умных? А главное — правых?

Жестко. Меня эта всеобщая виновность когда-то у Пушкина задела. Узнай, мол, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи.

Это умонастроение связано у него с общим состоянием. Которое ухудшается.

[]

Спорили с Гейгером. У него, по-моему, странное представление, что веревку на нас всякий раз кто-то сверху набрасывает. Что не сами мы ее сплетаем. Вот уж защитник русского народа... А ведь когда-то рассказывал мне о своих надеждах: вот, думалось, уйдет советская власть — и заживем! Ну, что — зажили сейчас? Советской власти уже сколько лет нет — зажили?

И приход ее не случаен был — я ведь его хорошо помню. Большевиков сейчас называют “кучкой заговорщиков”. А как же “кучка заговорщиков” смогла свалить тысячелетнюю империю? Значит, большевизм по отношению к нам — не что-то внешнее.

Вот Гейгер не верит в коллективное движение к гибели, не видит для него рациональных причин. А причины-то бывают и иррациональные. *Всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья...* Так оно, конечно, не всегда и не для всех людей (тут Гейгер прав), но — для большого их количества! Достаточного, чтобы пре-

вратить страну в ад. Мой кузен подается в опричники, сосед идет стучать на профессора Воронина. Коллега Воронина Аверьянов дает на него чудовищные показания. Почему?!

Ну, Бог с ним, с кузеном, он слабый человек, утвердиться хотел. У Аверьянова, допустим, зависть — естественное для коллеги чувство. Но зачем стучал Зарецкий — из принципиальных соображений? Так ведь не было у него принципов (и соображений, подозреваю, тоже). Деньги? Да никто их ему не давал. Он ведь и сам мне по пьяни сказал, что не знает, отчего стучал. А я знаю: от переизбытка дерьма в организме. Оно, это дерьмо, росло в нем и ждало общественных условий, чтобы выплеснуться. Вот и дождалось.

А с другой стороны — может, он тогда и не виноват, что на отца Анастасии настучал? Может быть, общественные условия виноваты? Гейгер-то, я думаю, так и считает. Но ведь не общественные условия на профессора стучали, а Зарецкий. Значит, он совершил преступление, и то, что его тюкнули по голове, оказалось наказанием. Справедливым, подчеркиваю, наказанием злодея, хотя об этом мало кто знал. Сложнее всё выглядит в отношении того, кто его тюкнул. Он — злодей или инструмент справедливости? Или — и то, и другое? Как всё это объяснить Анне?

Иннокентий, сидя за компьютером, спросил меня:

— Где находится содержимое интернета?

Я сначала не понял вопроса.

— Что значит — где? В интернете...

— Вы мне можете назвать конкретное место, где оно хранится? Или надо понимать, что оно равномерно разлито по сети?

— Есть компьютеры, которые хранят информацию, они расположены в компьютерных центрах...

Он не дал мне договорить.

— То есть не существует никакой мистики, и есть вполне определенные машины, которые это содержимое хранят, верно?

Верно. Я не понял, что его так удивило.

[]

Гейгер объяснил мне, как действует интернет: его содержимое размещено в ряде компьютеров. Если вдуматься, то иначе вроде бы и невозможно, но ведь я почти поверил в некую особую систему, стоящую над компьютерами. Чуть ли не в особую реальность, возникшую из самого факта связи между компьютерами.

Сейчас вдруг подумал, что это своего рода модель общественной жизни. Которая, если разобраться, не жизнь, а фантом. Погружение в нее небезопасно: очень даже может выясниться, что в этом бассейне не было воды. Жизнь, реальность — на уровне человеческой души, там корни всего плохого и хорошего. Всё решается прикосновением к душе. Этим занимается, наверное, только священник. Ну, может быть, еще художник — если получается. У меня вот не получилось.

[]

Платоша говорит, что всё время думает об Анне — так мы уже сейчас называем нашу девочку. Знаю, что рано, что не надо бы, но что делать, если она уже

вошла в нашу жизнь. Мы характер ее, например, чувствуем. Когда она стучит ножкой в мой живот, понимаем, что девушка растет боевая. Платоша во время таких ударов просит звать его. Однажды мы оба видели, как колебался мой живот под Анютиной ножкой!

Он хочет, чтобы Анюта всё о нем знала. Поэтому писать теперь собирается гораздо тщательнее. Я ему:

— Не выдумывай себе новых сложностей, вот подрастет она немного — ты ей всё расскажешь.

— Нет, — отвечает, — буду писать: на бумаге всё крепче, надежнее. Устные рассказы, знаешь ли, размываются в памяти, а то, что написано, — не меняется. И, что важно, это можно перечитывать.

Но я-то ведь знаю, почему он пишет! Господи, здесь нет никакого секрета. Он считает, что не доживет до ее рождения.

Однажды в Сиверской я видел, как с плохо выкошенного поля взлетал аэроплан. Набирая разбег, авиатор объезжал выбоины, подпрыгивал на кочках и внезапно — о, радость! — оказался в воздухе. Глядя, как судорожно перемещается по полю машина, никто полета, откровенно говоря, не ожидал. А авиатор — взлетел. И не было для него больше ни кочковатого поля, ни смеющихся зрителей — предстали небо в разметавшихся по нему облаках и пестрая, словно лоскутная, земля под крыльями.

С каких-то пор эта картинка видится мне символом надлежащего течения жизни. Мне кажется, что у людей состоявшихся есть особенность: они

мало зависят от окружающих. Независимость, конечно, не цель, но она — то, что помогает достигать цели. Вот бежишь ты по жизни со слабой надеждой взлететь, и все смотрят на тебя с жалостью, в лучшем случае — с непониманием. Но ты — взлетаешь, и все они с высоты кажутся точками. Не потому что в мгновение так уменьшились, а потому что план сверху (лекции по основам рисунка) делает их точками — сотней обращенных к тебе точек-лиц. С открытыми, как представляется, ртами. А ты летишь в избранном тобой направлении и чертишь в эфире дорогие тебе фигуры. Стоящие внизу ими восхищаются (немножко, может быть, завидуют), но не в силах что-либо изменить, поскольку в этих сферах всё зависит лишь от умения летящего. От прекрасного в своем одиночестве авиатора.

[]

Платоша рассказал мне о полете какого-то авиатора в Сиверской. По тону рассказа сразу поняла, что это не столько об авиаторе, сколько о Платоше: у него разная манера рассказывать о других и о себе. Говорил он, говорил — и вдруг задумался.

— О чем ты думаешь? — спрашиваю.

— На какой же все-таки кочке я споткнулся? Почему не взлетел? Что погубило мои способности к живописи?

Начала его убеждать, что так просто уйти его способности не могли, что они непременно вернуться. Это не просто утешение — я сама в это твердо верю. А сравнение с авиатором — оно красивое, ко-

нечно, но применительно к Платоше хромает. Он обнял меня и сказал, что тоже хромает. Потом мы долго сидели молча. Чуть покачиваясь.

Иннокентий решил писать для дочери. Описывать свою жизнь.

При этом обратился к нам с Настей с необычной просьбой: помочь ему писать.

— Как? — спрашиваю. — Как можно кому-то помочь описывать собственную жизнь?

— Не саму жизнь, а то, что на ее обочине. Просто я боюсь, что мне одному всего не успеть.

Итак, Иннокентий будет нам говорить, что описывать.

Речь пойдет не об индивидуальном — об общем. О том, что все воспринимают одинаково.

Например, о комарах в Сиверской.

О чем он еще упоминал? О посещении парикмахера, о велосипеде на мокрой дорожке...

Он, как я понимаю, пишет какое-то важное и большое полотно. При этом набирает помощников для прорисовки фона. Они же будут рисовать второстепенные фигуры по его контурам...

— Я не отказываюсь помогать, — говорю, — но я плохой помощник. Писать — не мое призвание.

— Наоборот, Гейгер, я ценю вас за то, что вы немногословны и пишете просто.

— А меня, — спросила Настя, — за что ты ценишь меня?

Иннокентий немного подумал.

— За прямо противоположные качества.

Я понимаю, что отказаться здесь невозможно. Но я не понимаю, как эту затею рассматривать. Как его

насушную необходимость? Как чудачество? Как прогрессирующую болезнь?

Проще всего было бы последнее, но я не тороплюсь.

Странное дело. Платоша попросил нас с Гейгером помочь ему в его описаниях. Да-да, отвечаем, конечно. Если же честно, то я не знаю, как к этому относиться. А спросишь — обидишь. Не выдержала, спросила через день. Платоша ничуть не обиделся.

— Относись, — сказал, — как к жизнеописанию.

— Твоему?

— Моему. Ну, и жизнеописанию вообще.

Как их обоих удивила просьба помочь мне в описаниях — неужели она и в самом деле такая странная? Они мне на всё кивали, но их лица, лица... Конечно, фон для моих поступков неблагоприятный — возможные мозговые нарушения и т.д. и т.п. Но неужели суть моей идеи не очевидна? Да, у каждого человека свои особенные воспоминания, но есть ведь вещи, которые переживаются и вспоминаются одинаково. Политика, история, литература — они воспринимаются, да, по-разному. Но шум дождя, ночной шелест листьев — и миллион других вещей — всё это нас объединяет. Мы ведь не будем спорить об этом до хрипоты и разбивать, чего доброго, друг другу головы. Это всему основа. Вот с этим-то и надо работать, об этом я и прошу дорогих мне людей. Пусть среди описанного мной появятся их голоса. Они не исказят моего голоса, напротив — обогатят его.

Я ведь только тем и занимаюсь, что ищущу дорогу к прошлому: то через свидетелей (их со смертью Анастасии больше нет), то через воспоминания, то через кладбище, куда переместились все мои спутники. Я пытаюсь приблизиться к прошлому разными путями, чтобы понять, что оно такое. Что-то отдельное от меня или проживаемое мной до сих пор? Прошлое у меня было и до ледяного моего сна, но никогда не обладало такой отдельностью, как сейчас. Всё то, что я вспомнил о моем прошлом, не приблизило его ко мне. Оно теперь напоминает отсеченную и вновь пришитую руку. Эта рука, может быть, кое-как и двигается, но моей больше не является.

В сущности, в отношении прошлого годы в азоте ничего не меняют. Они обостряют проблему, но не рождают ее: проблема существовала и раньше. Суть ее в том, что прошлое отрезано от настоящего и не имеет отношения к реальности. Что происходит с жизнью, когда она перестает быть настоящим? Она живет в одной лишь моей голове? Той самой голове, которая теперь теряет десятки тысяч клеток в день и вызывает подозрение даже у близких. Срочно впустить в мою голову живых людей с их-моими воспоминаниями... Оживив наши общие воспоминания, эти люди, быть может, оживят и принадлежащее только мне.

Сиверская 1900-х годов — дачная столица России. Комариная столица. Особенно в июне. Я думаю, комаров там хватает и сейчас — хоть в Комарово переименовывай, — но сейчас-то есть спреи, пластины, мази. А тогда? Ну, может быть, мази. В остальном же, я думаю, по преимуществу костер. Это был ко-

стер, в котором горели старые тряпки, листья и всякая мелочь, дающая много дыма. Только ведь Платошу техническая сторона дела не интересует.

Ему важны такие подробности, как осторожное, несколько даже вертолетное приземление насекомого на руку. Комар — не муха, он по руке не перемещается. Где приземлился, там и работает. Втыкает свой хоботок в незащищенную кожу и начинает сосать кровь. Прихлопнешь его на руке — и по коже размазывается кровь. В детстве я слышала, что, если комара прихлопнуть на месте преступления, кожа не будет чесаться. Думаю, это преувеличение, преследующее воспитательные цели: за преступлением должно следовать наказание. На том же месте и в тот же час. Так сказать, искупление кровью.

Самое мерзкое — ночное жужжание. Оно, пожалуй, хуже укуса. Сравнимо с бормашиной: еще не понятно, будет ли больно, но звук сверла уже пронизывает тебя насквозь. Сквозь сон вяло защищаешься или просто ныряешь с головой под одеяло. Через минуту выныриваешь — душно. И в комнате душно: окна — опять-таки из-за комаров — закрыты! Двойное страдание — от комаров и от духоты. Наконец, отбрасываешь одеяло и отдаешь свое тело комарам. По крайней мере, не жарко. Что интересно — комары не очень-то на голое тело и бросаются. Может, потрясены широтой жеста. А может, такая обнаженка их шокирует.

Понравится ли Платоше написанное мной?

Почувствовал желание рисовать — давно такого не было. Установил на обеденном столе Фемиду. На книжную полку, освободив ее от книг, перенес

с письменного стола лампу. Получилось неплохое — с тенью — освещение. Установил мольберт, взял лист бумаги, графитовый карандаш и начал рисовать. Еще мало что проявилось на листе, а я почувствовал, что рисунок получится. После всех моих многочисленных попыток рука сегодня вдруг вспомнила движения. С каждым штрихом она обретала уверенность, и я больше не думал о правилах рисования — рука сама всё знала.

Когда всё было готово, я включил все светильники и начал внимательно рассматривать рисунок. В нем было много недостатков, но это было неважно. Впервые за месяцы после разморозки мне удалось нарисовать что-то состоятельное. Главная моя претензия была, пожалуй, к тени. Я помнил, как меня учили не чернить ее, не забивать графитом поры бумаги. Даже сквозь штрих бумага должна слегка просвечивать. По определению светлой памяти Маркса, лучше недо-, чем пере-. Отнес бы это определение к искусству вообще.

Я снял лист с мольберта и положил на стол. Пошел на кухню, открыл хлебницу. Рядом со свежим хлебом лежали подсохшие кусочки, которые Настя не выбрасывала, храня их для голубей. Мне повезло: среди черных как смоль сухарей нашелся подсохший кусочек белого хлеба. Я мелко накрошил его на рисунок. Круговыми движениями, слегка нажимая, катал крошки по поверхности рисунка до тех пор, пока они не вобрали в себя лишней графит. Почерневшие крошки осторожно смахнул на пол широкой кистью. Самые мелкие — сдул.

Все линии остались, но стали намного бледнее. Я взял карандаш и еще раз прошелся по рисунку. Теперь он был несколько другим: акценты сместились.

И таким он мне нравился больше. Я почувствовал радость. А еще подумалось — нет, не подумалось, просто кольнуло: на фоне массового падежа моих бедных клеток какие-то, получается, восстановились?

Июль 1913 года.

Нежаркие вечерние лучи пересекают парикмахерскую. В лучах кружится пыль.

1-й парикмахер, немолодой лысый человек, стрижет немолодого, но не лысого. Холостое лязганье ножниц в воздухе. Переходит в рабочий режим: полноценный звук подстригаемых волос.

2-й парикмахер тоже немолод и лыс. Зажигает спиртовку и прокаливает над ней опасную бритву. Помазком проходится по щекам клиента.

Можно ли доверять свои волосы лысому парикмахеру, имея в виду возможные комплексы и зависть? Вопрос...

Оба клиента решают его в положительном ключе. 2-й клиент рискует меньше, потому что его только бреют. В этом случае нанести большой урон внешности невозможно. Разве только порезать щеки.

Парикмахеры разговаривают друг с другом.

У них долгая — на целый, может быть, день — беседа о ценах на провизию. Они не могут принимать в нее клиентов — исключая лишь высказывания по отдельным продуктам. А во всей полноте — не могут.

Повторяют друг за другом отдельные слова и даже фразы. Задумчиво, по нескольку раз.

Клиенты не могут так повторять. Для этого им нужно овладеть особым ритмом стрижки. Особым

ее спокойствием. А это доступно только профессионалам.

Сейчас, когда писал это, мне позвонил Яшин из архива. Сказал, что Воронин оказался жив.

Я даже не сразу понял, о ком идет речь. А понял — не поверил. Лагерный подонок Воронин — жив! Редкостный мерзавец — жив!

Яшин впервые звонил мне, а не Иннокентию. Сказал: случай особый, должен решать врач.

Да уж, особый. И не очень понятно, что тут решать.

В очередной раз осматривал меня Гейгер. Попросил закрыть глаза, вытянуть руки и каждой из них коснуться кончика носа. Не получилось. То есть получилось, но не сразу, а это, как я понимаю, не считается.

— Не считается ведь? — спрашиваю.

Он вяло улыбается. Ценит, иначе говоря, что я такой бодряк. Подозревает, правда, что эта бодрость — истерическая, и не так уж он не прав.

Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний? Читал Насте вслух Покаянный канон. Там есть удивительная фраза: *Бог идеже хоцет, побеждается естества чин.* Мы ее много раз повторяли.

Мы тут с Иннокентием говорили о высшей справедливости. Он любит это выражение.

Вот ему, скажем, пришили убийство Зарецкого и упекли на Соловки. В незаслуженном этом наказании, спрашиваю, где высшая справедливость? А он отвечает, что, с точки зрения высшей справедливости, незаслуженного наказания не бывает.

Красиво, хотя и не слишком убедительно. Что называется — *да обоих и накажи...*

Но вот то, о чем уже писал: на днях всплывает гэпэушник Воронин — подонок из подонков. Нет таких злодеяний, каких бы он не совершал.

Выясняется, что благополучно достиг ста лет. Что в свое время вышел в отставку в чине генерала и получает персональную пенсию. Живет в кировском доме на Каменноостровском проспекте.

Интересно, что скажет об этом Иннокентий, когда узнает? Что скажет о высшей справедливости? Иннокентий, который, наоборот, катастрофически теряет здоровье.

Всё, что я пока делаю, — констатирую изменения в его организме. А их, увы, много. Слишком много.

Если всё продолжит развиваться с такой же скоростью...

Да, я даю Иннокентию кое-какие средства. Да, они облегчают течение болезни. Но они не влияют на ее причины. Эти причины по-прежнему скрыты.

Почему гибнут клетки? Почему — только сейчас? Почему — лишь определенные их группы? Ответы неизвестны никому.

Одному Богу, как формулирует это Иннокентий. А поскольку отношения с небесной сферой у меня довольно сложные, мне информация не передается.

Бог идеже хоцет, побеждается естества чин. Платоша читал мне вслух Покаянный канон, и мы открыли для себя эти потрясающие слова. Нет, не потрясающие — это как-то слишком дешево для них. Слова, полные радости и надежды. Для меня их смысл уже давно очевиден, но так хорошо его выра-

зить я не могла. Я и на Гейгера, конечно, надеюсь — он в медицине не последний человек, — но гораздо больше на Того, в Чьих руках и медицина, и Гейгер, и мы с Платошей.

Мы можем получить Его помощь только силой веры в Него, а значит — и силой нашей просьбы. Здесь должны соединяться две вещи: желание выздороветь и вера. И то, и другое должен проявлять не только больной, но и его близкие. Близкие, я думаю, даже в большей степени, потому что у них больше сил (они ведь здоровы), а больной подвержен депрессиям.

Теперь о другом. О внезапно всплывшем Воронине, с которым Гейгер уже связывался. Прежде всего: мой однофамилец, вопреки ожиданиям, в здравом уме. Также вопреки ожиданиям, Воронин не против встречи с бывшим ээком — я была уверена, что он не согласится. Реагировал, по словам Гейгера, без особых сантиментов, просто сказал: “Пусть приходит”. Теперь Гейгер хочет подготовить Платошу. Осторожно так подвести — вот, мол, если бы Воронин был жив...

Не знаю, какие чувства вызовет в Платоше известие о Воронине. Вариантов много — вплоть до желания убить. Страшно произнести: естественного желания.

Все-таки я решил свой рисунок никому пока не показывать. Попрактикуюсь еще и нарисую что-то действительно стоящее, так, чтобы Настя и Гейгер оценили. Если бы ко мне в полной мере вернулось мое умение, я нарисовал бы Зарецкого. Портрет человека, скорбно склонившегося над колбасой. На-

рисовал бы не насмешливо — а сочувственно. Если не с любовью, то, по крайней мере, с жалостью. Его ведь некому было пожалеть, и ни одной слезы не пролилось на его похоронах. Ни одной.

Вообще говоря, мне кажется, что, когда человека описываешь по-настоящему, не можешь его не любить. Он, даже самый плохой, становится твоим произведением, ты принимаешь его в себя и начинаешь чувствовать ответственность за него и его грехи — да, в каком-то смысле и за грехи. Ты пытаешься их понять и по возможности оправдать. А с другой стороны: как понять поступок Зарецкого, если он сам его не понимает?

— Вы — атеист? — спросил меня Иннокентий.

— Нет, так я себя не определяю. Скорее, я человек, который доверяет научному знанию. Если наука докажет мне, что Бог есть, что ж...

— Не обольщайтесь. На самые важные вопросы наука ответить не смогла. И не сможет — ни на один.

— Например?

— Как *всё* возникло из *ничего*? Как появляется и куда уходит душа? Вопросов море — и все лежат за пределами науки.

— Возможно. И всё же мне трудно переступить через эти пределы.

Хотя иногда и переступаю.

Сейчас переступаю, когда дело касается Иннокентия.

Он мне прочел фразу из церковного песнопения. Смысл ее в том, что, когда Бог захочет, побеждается естественный порядок вещей.

Рамки науки в нашем с Иннокентием случае тесны как никогда. Просто впиваются в ребра. Вдавливают в меня религиозную мысль, что помочь здесь может только Он.

Разговаривали с Гейгером о Боге. Он Бога не отрицает как возможность, но прежде всего верит в факты, предоставляемые наукой. А в факты не надо верить, их достаточно знать. Этих фактов много, тьма тьмущая, только все они касаются неосновного. Мне даже иногда кажется, что эти факты от основного отвлекают. Из миллионов мелких объяснений не складывается одного всеобъемлющего. И не сложится — потому что то и другое находятся в разных измерениях. Так что напрасно Гейгер ждет здесь перехода количества в качество. А объясняет *Б*, *Б* объясняет *В*, и так до бесконечности, но где то, что объясняет всю эту бесконечность в целом?

Обилие открытий затуманило головы еще моим бывшим современникам, сделавшим атеизм модой. Уже тогда они напоминали божью коровку на шоссе. Она проползла десяток метров и очарована своим движением. Ей кажется, что она всё изучила и поняла. Но она никогда не узнает, где начинается шоссе и куда ведет. Я поделился сравнением с Гейгером. Он прищурился:

— А коровка-то, несмотря на ее самонадеянность, — Божья. Так что Богом разные взгляды допускаются.

Хитрый тевтонец, голыми руками не возьмешь.

— Коровка, конечно же, Божья, почему ей и даны крылья. Чтобы увидеть всю дорогу, насекомому

нужно лишь взлететь на небо, понимаете? Была такая детская песенка.

— Почему была? — смеется. — Есть.

Гейгер сообщил наконец Платоше о Воронине. Постепенно, с подготовкой, но сообщил. Платоша поднял на него глаза и долго смотрел. Я думала (боялась), что он тут же бросится к Воронину, но он не бросился. Спокойно спросил, когда мы к нему пойдем.

Поначалу могло сложиться впечатление, что на известие Платоша реагирует как-то неадекватно. По-моему, у Гейгера оно и сложилось. А мне кажется, что самые значимые вещи Платоша переживает молча. Хотя... Уходя, Гейгер подал ему руку. Он ожидал от Платоши какого-то, что ли, вывода о потрясшей нас новости. А Платоша вдруг и говорит:

— Если вас не затруднит, Гейгер, опишите орудия, стоящие на станции Сиверская. Они размещены на открытых подвижных платформах. Осень 1914-го. Туман, переходящий в дождь.

Осень 1914-го. Туман, переходящий в дождь.

Поднятые вверх стволы орудий. Темно-зеленые, постепенно возникают из серого. Задумчиво целятся в небо, блеск их матов.

По ним стекают и тяжело обрываются вниз капли. Капли текут по металлическим платформам, по колесам, блестящим в местах соприкосновения с рельсами.

Царство неподвижного металла — и не дай Бог ему сдвинуться. Оно гудит и мелко дрожит, откликаясь на проходящие эшелоны.

Рано или поздно из-под передней платформы вынут башмак, подгонят паровоз. Всё придет в движение. Печальное движение на запад.

Весь этот жесткий металл будет противопоставлен мягкости человеческого тела. Его, тела, единству. Оно разлетится на мелкие куски.

Орудия потеряют свою задумчивость, может быть, даже просохнут. Будут без устали стрелять по цели и мимо. Собственно, они могут стрелять и мокрыми.

Настя ушла в университет, а я читал. Потом смотрел телевизионные новости — быстро выключил. Снял с комода фотографию профессора Воронина, разглядывал. Профессор там сидит в кресле, положив ногу на ногу. Опираясь локтем о столик, на котором стопкой лежат книги. С тростью в руке (никогда не носил трости). Зачесанные назад волосы, симметричные островки седины на черной еще в целом бороде. Особый академический шик. Ищу в глазах профессора следы будущего страдания — бывает такое на старых карточках, задним числом обнаруживается, — так вот, кажется, нет этого... Неужели не предвидел? Или соответствовал ожиданиям фотографа, смотрел на себя его глазами?

Щемящая неподвижность дореволюционных снимков. Настя, подумалось, никогда не видела, как двигался ее прадед. А я видел. И вижу, кстати говоря. Свободно вхожу в серебряную рамку и наблюдаю, как профессор, оставив трость, медленно встает с кресла. Возможно, даже со вздохом или, допустим, хрустом в суставах — как человек, неподвижно сидящий на этой фотографии скоро уж век. Походка его

слегка косолапа, и я мог бы показать ее Насте, но это не то. Кого и что бы я ни показывал, это будет мой портрет.

С книжной полки снимаю альбом о Соловках. Открываю его на странице 77 (помню страницу-то!) и вижу фотографию человека с точно такой же фамилией — Воронин. С лицом не скажешь что свирепым, это подтверждала и Настя, когда я ей его показывал. Хотелось бы, чтобы он был со скошенным лбом, чтобы изо рта — клыки. Отражал чтобы внутреннее свое содержание. Так нет же: лоб высок, черты правильные, аккуратно причесан, гладко выбрит. Оказался к тому же живуч — как все вампиры. Со своей внешностью мог бы работать завучем или, скажем, директором клуба, и никто не узнал бы о склонности его к кровососанию. Завтра мне с ним встречаться. Поражаюсь своему спокойствию. Может быть, оно оттого, что известие о Воронине слишком невероятно.

Всегда удивлялся тому, что одно имя способно обозначать столь разные сущности. Получается, что Воронин может быть и таким, и таким. Как же он становится тем, кто он есть? Хороший вопрос.

Отправились вечером к Воронину — Платоша, Гейгер и я. Я просто провожать их пошла, потому что договор был только о Гейгере и Платоше. Да, плюс еще некто *Чистов из органов*. На присутствии этого Чистова (смахивает на агентурную кличку) настоял Воронин. Что ж, на его месте любой бы так поступил. Только вот любой ли оказался бы на его месте? А этот даже сейчас опасается за свою никчемную жизнь. Гнида. Что там бабушка про Зарецкого гово-

рила — что *заказала* его? В случае Зарецкого, я думаю, это бабушкин бред был. А вот я Воронина — заказала бы. Знаю, что нельзя так говорить, но заказала бы, если бы знала, где и как. Как представляю, что он над Платошей измывался...

И вот шли мы, значит, втроем к Воронину, и я думала: ну надо же — Воронина к Воронину летит! Забыла даже, что с недавнего времени я Платонова... Держалась чуть сзади, наблюдала, как они идут. Ветер был, почти ураган — в такую пору хорошо к разным мерзавцам входить: а вот, мол, и я! Спутники мои шли наклонясь вперед, сопротивляясь ветру, смешанному с листьями и крупными, пусть редкими еще, каплями дождя. И воротники плащей трепетали в их пальцах. Так, думалось мне, могло бы выглядеть приходящее возмездие, хотя о возмездии речи, конечно, не было.

У дверей парадного нас уже ждал Чистов. Когда мы вошли в парадное, он достал из папки бумагу и попросил Платошу ее подписать. Это была расписка в том, что Платоша против Воронина ничего не имеет и преследовать его не собирается. Чистов вытащил из кармана дорогую авторучку, положил ее и бумагу на папку и замер, держа всё это перед Платошей. Повисла пауза.

— Без этого, Иннокентий Петрович, — разъяснил Чистов, — мы с вами к гражданину Воронину не пойдем.

Иннокентий Петрович задумчиво взял авторучку.

— А в ручке что?

— Представьте себе, чернила.

В тоне Чистова не было ни малейшего неудовольствия.

Платоша подписал бумагу, и Чистов спрятал ее в папку. Авторучку снова засунул в карман.

— Я, знаете ли, понимаю ваши эмоции, — сказал он тем же ровным тоном, — но и вы меня поймите. Закон есть закон. Все должно пройти без эксцессов. Обещаете?

— Обещаю, — как-то очень серьезно ответил Платоша.

И повторил:

— Обещаю.

Они втроем поднялись в квартиру, а я осталась внизу у лифта. Может, думалось, при виде Платоши наш ээсовец отбросит копыта? Такого рода эксцесс мне казался допустимым.

Встреча с Ворониным. Странная.

Я предполагал разные сценарии, но не этот.

Думал, будут обоюдные проклятия. Или примирение. А здесь — ни того, ни другого.

Когда мы вошли, Воронин сидел в кресле. Обеими руками держал чашку. Теплая кофта, брюки, тапки. Обтянутый кожей череп с пухом по бокам.

С чашкой он это, подозреваю, придумал, чтобы занять руки. Чтобы иметь возможность не подавать первым руку — боялся, что не ответят. Я, например, не собирался подавать ему руку ни при каких обстоятельствах.

А может, и не боялся. Может, я приписываю ему излишнюю тонкость чувств.

С нами был еще кто-то в штатском — его пригласил Воронин. Войдя, он полуприсел на подоконник, и больше его как бы не было. Идеальный сопрово-

ждающий. Он, стало быть, у окна, а мы с Иннокентием на пороге.

— Знаю, что ты воскрес, — шелестит Воронин. — Захотел на тебя посмотреть.

Голос у него уже почти отсутствует, но воля остается. Она будет последним, что его покинет.

Захотел посмотреть на з/к Платонова — вот, доставлен. Под надзором, между прочим. Доставлен и молчит.

— Что, изменился я? — спрашивает Воронин у Иннокентия.

— Да.

— Зато ты — нет.

В комнату входит женщина и принимает из рук Воронина чашку. Остается стоять, покачиваясь с пятки на носок. Скрипя паркетом.

У оконного стекла жужжит муха.

— Да поймай же ее, Чистов, — шепотом предлагает Воронин.

Чистов медленно скользит ладонью по стеклу и коротким точным движением ловит муху в ладонь. Объясняет нам:

— Когда подводишь руку сзади, она не видит.

Выносит муху из комнаты. Женщина обращается к Воронину:

— Что-то нужно еще, Дмитрий Валентинович?

Не отвечая ей, Воронин в упор смотрит на Иннокентия:

— Покаяний не жди.

Женщина, вздохнув, заглядывает в чашку.

— Почему? — спрашивает Иннокентий.

Закрыв глаза, Воронин тихо, но внятно произносит:

— Я устал.

Устал. Вернувшийся Чистов показывает нам на часы.

Мы уходим.

Как удивительно устроена жизнь. Воронин оказался единственным, кто остался, чтобы свидетельствовать о моем времени. Я искал мертвых, чтобы они свидетельствовали — если не словами, так хотя бы своим присутствием, — а тут живой нашелся. Теперь он не столько преступник, сколько свидетель. И я это чувствую, и он чувствует. И нет между нами ненависти. Появляется — да-да! — что-то вроде солидарности. Так на необитаемом острове находишь общий язык даже с дикарем. В известном смысле мы теперь с Ворониным на острове вдвоем. Из нашего времени — только мы вдвоем. Другое дело, что свидетельства его не очень отличаются от свидетельств мертвых. И вид у Воронина какой-то посмертный.

Он сказал: покаяться не жди. В который раз спрашиваю себя: почему? Для чего-то же он был оставлен живым до ста лет — не для покаяния ли? Он великий преступник, и Всевышний, возможно, всё оттягивал его уход, давая ему возможность одуматься. Воронин сказал, что устал. Все решили, что это было сигналом к окончанию встречи. А я думаю, что он говорил о своем состоянии, когда нет уже ни злости, ни раскаяния. Душа погружается в сон.

Чай осенью на открытой веранде. Сапогом раздувают тлеющие угли. Сапог мягкий, как гармошка. И чистый — иначе как же таким будешь что-то раздувать на столе. Собственно, раздувать можно

и где-то в другом месте, но сидящим за столом хочется всё видеть с самого начала. Самовар большой, и вода в нем закипает медленно. Все ждут, когда появятся первые струйки пара, пар же пока вылетает только из ртов сидящих. Он хорошо заметен в лучах ослабевшего солнца, которое никого не согревает. Воздух — резкий, с запахами реки и сосен. За забором лает собака, слышно, как о будку бьется ее цепь. Сидя на цепи, можно вроде бы уже расслабиться и особенно не лаять — нет, не получается. Взволнована. Участвует в общественной жизни.

Все — кто бы они ни были — тепло одеты, на некоторых шарфы. К самовару тянутся руки: он уже способен греть. Беседа — нескончаемые *титаник* да *фердинанд* — движется волнами, то тише, то громче. Переходит в бормотанье (все немного выдохлись), предвещающее бурление самовара. Всё, закипел. Тут же появляется заварочный чайник, ловящий первую, булькающую еще самоварную струю. Тайм-аут, чтобы настояться. Пошли одна за другой чашки. Сидящие пьют чай — можно сказать, упиваются им.

Событие датируется 1914 годом. Или 1911-м, например. Все описания Платоша настоятельно просит датировать. Зачем? — спрашиваю. Затем, говорит, чтобы показать, что фундаментальные события (то же питье чая на веранде) способны определять совершенно разные времена, а значит — универсальны. По его словам, этот аргумент в пользу точных датировок в равной степени пригоден и против них. Получается, я подумала, что и аргумент универсален.

Допустим, 1907-й.

У ребенка простуда и сильный кашель.

Ему читают “Робинзона Крузо”.

Кашель так глубок, что одного чтения для поправки недостаточно. Врач порекомендовал ставить банки.

Это делают всей семьей. Бабушка читает, мать с отцом раскладывают банки на ночном столике и готовят фитиль.

Легкими круговыми движениями спину ребенка смазывают вазелином.

Ставить банки будет отец. Самые ответственные вещи он берет на себя.

Больному семь лет, и он боится. Банки ему ставят впервые.

По-настоящему страшно становится, когда зажигают смоченный в спирте фитиль. Могло бы навести на мысли об инквизиции, если бы пациент о ней знал.

Открытое пламя — это всегда страшно.

Мальчик ложится на живот и обхватывает руками подушку. Зарывается в нее лицом. Через мгновение ощущает на спине первую банку.

Это не так больно, как казалось. Может быть, даже совсем не больно.

Осторожно приподнимает голову. Следит за руками отца.

Отец проводит внутри банки фитилем и опускает ее на спину мальчика. Немного горячо, конечно.

Чувствуется, как банки втягивают в себя кожу. Отец ему подмигивает. Мать накрывает спину с банками одеялом.

Бабушка продолжает читать “Робинзона Крузо”. В сочетании с банками книга целебна.

Новый прилив страха — перед снятием банок. Мальчику кажется, что в спину они впились намерт-

во. Напоминают маленьких злых рыб. Может быть, пираний.

Отец осторожно подводит указательный палец правой руки под край банки, и она с громким чмоканьем отлипает. Пятнадцать первоклассных чмоканий.

Ухудшилось дело с ходьбой. Такое ощущение, что хожу по мху. Ногу ставлю осторожно, словно боюсь, что она провалится. Куда именно иду — загадки для меня уже не представляет: теряя тысячи клеток в день, невозможно не догадываться, чем кончится путь. Эти потери не могут быть бесконечными.

Я положил себе за правило не жаловаться — даже Гейгеру, не говоря уже о Насте. Поскольку причины происходящего неясны, ничего, кроме огорчения, никому это не принесет. Тем более что — м-да... — это не первый мой уход из жизни. Но. Смерть в лагере казалась выходом, а сейчас она кажется уходом. Уходом от тех, кого люблю. От того, что люблю. От моих воспоминаний, которые вот уже столько месяцев записываю.

Сегодня проснулся рано утром — было еще темно. Лежал неподвижно, чтобы не будить Настю. Наблюдал, как водится, блуждание автомобильных фар по потолку. Раньше по Большому проспекту ходили трамваи, сменившие конку. Я часами следил за ними, пытаюсь понять секрет трамвайного самоходного движения. Оно почему-то будоражило меня больше движения автомобиля. Может быть, из-за величины, громоздкости и громкости трамвая, вещи, на первый взгляд, не созданной для перемещения в пространстве и уж тем более — для перевозки горожан.

Если уж, думалось мне, такой конструкции дано было тронуться с места, она могла бы предназначаться для оборонных, а лучше — наступательных целей. Я представлял себе движение сотен трамваев на полях сражений, и зрелище было величественным.

Время от времени, испытывая сооружение на прочность, я клал на рельсы пятак. Эксперимент казался мне настолько важным, что я по детской своей беззаботности заранее мирился с возможными потерями — точнее, просто о них не думал. Чтобы отучить меня от сомнительной забавы, эти потери придумал отец. Он предположил, что трамвай может сойти с рельсов, и мягко мне заметил, что, прежде чем решаться на рискованный опыт, следует взвесить возможный урон.

Что тут сказать? К тому времени я уже знал, что пятаки трамваю не помеха: он их просто не замечал. Я всякий раз следил за тем, не дрогнет ли гигант, переезжая их, — ни разу не дрогнул. В чем отец был прав, так это в том, что готовность к потерям и в самом деле свойственна экспериментаторам, даже взрослым. Они, делаю вывод я, большие дети, и оторванная голова куклы, как это подтвердила история нашей несчастной Родины, для них не отличается от человеческой.

Возвращаясь же к тем благословенным годам, скажу, что у меня скопилась коллекция блестящих сплюснутых кусочков металла. Касаясь их кончиком указательного пальца, я всё еще ощущал остатки изображения, но приятного впечатления гладкости это не нарушало. Да, гладкость, даже полированность этих бывших монет — особое сохранившееся у меня воспоминание. В стране моего детства, где

ни сучка не было, ни задоринки, они стали достойной валютой. Их удивительная поверхность и мой указательный палец — они были созданы друг для друга. В более чем столетней истории подкладывания пятак под трамвай мой опыт — один из первых. Замечу при этом, что мои действия не были результатом слепого подражания: я придумал это сам.

Если всё это не будет записано, то, боюсь, канет в Лету. В истории человечества это будет заметная прореха, но самой большой потерей это будет для Анны, о которой всё время думаю. Для нее описано уже довольно много вещей, но всего охватить просто не могу. По счастью, сейчас мне помогают, и дело пошло быстрее.

1910-й. Начало марта. Двухэтажный деревянный дом недалеко от железной дороги. В солнечные дни начинается капель, слышная всем обитателям дома. Капли пробивают себе путь в заледеневшем снегу и звучат на разные лады — в зависимости от величины лунки. Ночью всё затягивается, замерзает, так что наутро каплям нужно проделывать свою работу почти сначала. С чистого почти листа — каковым снег в марте уже, конечно, не является. Он, как оспяное лицо, неровен и изрыт следами собак, котов, ворон — всех, кто ходит под двухэтажными домами. Этот снег покрыт налетом печной сажи, которая неизменно проступает даже сквозь свежий снег. А может быть, это свежая сажа. Всякий раз она намеренно прилетает за свежавыпавшим снегом и покрывает его — из чистого отвращения к белизне.

Вдоль железнодорожной насыпи огромные лужи — целые пруды. Эти лужи тоже замерзают но-

чью, но они так глубоки, что не успевают промерзнуть до дна — да и есть ли у них дно? В детстве боишься, что — нет. До полудня деревья стоят в ледяной корке, а потом она тает. Вода этих луж холодна и черна. Войти в такую нечего и думать.

Держи ум твой во аде и не отчаивайся. Листал книгу об Афоне, и глаз упал на эти слова. Я отложил книгу, занялся чем-то другим, а слова всплыли и обожгли. Они ведь про меня. *Держи ум твой во аде* — состояние, в которое я уже несколько недель как погрузился. *И не отчаивайся* — то, что мне дается всё с бóльшим трудом. Я бросился к книге и сразу не мог найти это место, но все-таки нашел. Об этих словах было сказано, что они явились откровением, данным Силуану Афонскому. Я не знаю, кто такой Силуан Афонский, я не уверен даже в том, что понимаю эти слова правильным образом, но они меня приподняли.

Мой теперешний ад в том, что смерть здесь гораздо страшнее, чем на острове. Конечно, я цеплялся там за жизнь, как мог, но ведь и смерти не боялся. Когда жизненное пространство начинало стремиться к нулю, смерть мне казалась чуть ли не выходом. Я чувствовал, как жаждет ее мое измученное тело, но дух с этим желанием боролся. Дух — бодрствовал.

Теперь же я страшусь смерти как никогда прежде. У меня есть всё — семья, деньги и эта моя странная известность, — но радоваться всему я смогу, судя по всему, недолго. Перед лицом смерти деньги и известность ничего не значат — это так очевидно. Пугает расставание с близким челове-

ком — смешной моей Настей, которую, как мне теперь кажется, знал всю жизнь. И с живущей в ней Анной, которая продолжение меня. Которую, возможно, даже не увижу. Понимать всё это и есть держать ум во аде. Здесь речь идет подчеркнуто об уме: понимать — умом. А чем-то другим — не приходиться в отчаяние.

1916-й. Велосипед на грунтовой дороге после дождя. Он едет с тихим шипением.

Колёса поднимают дорожную влагу и бросают ее на крылья велосипеда. С них она стекает на землю крупными грязными каплями.

Иногда колёса въезжают в широкие лужи. Звук рассекаемой воды. Две волны расходятся от центра лужи к ее краям.

Время от времени велосипед потряхивает на корнях деревьев. Звякает сумка с инструментами. Подбрасывает на пружинах сиденья велосипедиста.

Сгущаются сумерки.

Колесико динамо-машины велосипедист прижимает к колесу. Свет и жужжание. Перемещение светлого кружка по дороге.

Существовал ли велосипедный фонарик в 1916 году? Не знаю.

Думаю, что существовал.

Это неважно.

Я всё хуже помню то, что было минуту — час — день назад. Мне неловко перед Настей за очевидные провалы в памяти — очевидные, хотя пока, по счастью, и не частые. В таких случаях увожу разговор из со-

временности подальше — куда-нибудь в начало века. Так тугие на ухо, вместо того чтобы отвечать на вопросы, задают свои. Вчера, переключая тему, взялся рассказывать Насте о гимназической постановке “Ревизора”, в которой, между прочим, участвовал. Настя меня сразу раскусила, но виду не подала. Сказала, что это ляжет в основу одного из тех описаний, что она по моей просьбе предприняла. Да, конечно, замечательно, ответил я. Сам же подумал: а сможет ли она описывать мою жизнь без этой основы? По сходящему, что называется, на нее чувству. Если бы она научилась находить и описывать вещи, мне соответствующие, моя жизнь могла бы продолжаться и в мое отсутствие.

Гимназическая постановка “Ревизора”. Марья Антоновна и Анна Андреевна — из соседней женской гимназии, шуршат привезенными из театра платьями. Запах нафталина сопровождает платья от костюмерной до гимназии: он не выветривается, пока их несут, — наоборот, кажется, что на свежем воздухе только усиливается. Так букет вина при вытаскивании пробки начинает распускаться, благоухать всеми оттенками и радовать. Остается думать, что снятым с вешалок платьям дано подобное свойство — в той степени, конечно, в какой все оттенки нафталина способны радовать.

Декораций почти нет — мраморный столик из директорского кабинета, на нем горящая свеча. Этажерка с книгами (принесена из библиотеки), причем книги подобраны полувековой давности. Хлеstackов приближается к Анне Андреевне. Под его ногами скрипят доски сцены, в первых рядах это

хорошо слышно: искусство недаром требует дистанции. Анна Андреевна, говорит Хлестаков... Касается ее рукой. Рука дрожит, и голос дрожит. Герой, надо понимать, совсем не волнуется, но волнуется играющий его мальчик, ощущая руку девочки сквозь плотную материю платья. Он еще никому не объяснялся в любви и этим театральным объяснением пользуется или, вернее сказать, в этом тексте находит... Что, собственно, он в нем находит? На репетиции произносил текст очень даже чувственно. Не исключено, что влюбляется оттого, что произносит.

В зале гимназии, несмотря на открытые окна, душно, в этом году выдался жаркий июнь. За окнами, все в пуху, верхушки тополей, стоят без ветра, как нарисованные. У Анны Андреевны капельки пота на лбу, у Ивана Александровича тоже, а в зале все понимают, *что* между ними происходит, и, толкая друг друга локтями, ждут, чем кончится дело. Эта нежность пьесой не предусмотрена, но она так очевидна. Зрителям — им всё заметно, от них ничего не скроешь. Внимательны. По окончании сцены хлопают чернильными руками. Сквозь Ивана Александровича проступает мой Платоша, а вот Анна Андреевна образца 1914 года давно, подозреваю, истлела.

Ночью не спал, и вспомнился мне пушкинский “Выстрел”. Там Сильвио откладывает свой ответный выстрел на шесть лет. Он появляется тогда, когда герой женился и счастлив... Смерть не тронула меня на острове. Тогда она была мне почти безразлична. Она вернулась со своим выстрелом сейчас, когда в моей жизни появилась радость. Долго

же она ждала. Надо ли понимать так, что ее выстрел — ответный?

У Иннокентия еще заметнее ухудшилась оперативная память.

Мне об этом постоянно говорит Настя, описывает случаи. Да я это и сам вижу.

Забывает начатую мысль. Ловит себя на том, что не помнит, куда в квартире направлялся.

То, что касается всего автоматического, не помнит. Чистил ли зубы, принимал ли таблетки.

Таблеток я ему выписываю гору. Толку от них, правда, чуть. Не способны остановить главного — убьют клеток.

Десять раз всё передумал-перепроверил — без результата. Носом прорыл публикации за последнее десятилетие — ничего.

Никогда не испытывал такого бессилия, от этого тошно. Тошно, что Иннокентий угасает.

Может, послать его за границу? Например, в Мюнхен. Не думаю, что там знают что-то, чего не знают у нас, но все-таки... Другой взгляд — это тоже важно.

Мог бы сказать, что ответственность на мне будет меньше, но это меня как раз не волнует. Моя главная ответственность — перед ним, другой не боюсь.

Беда лишь в одном. Чувствую, что времени на все решения у нас не так уж много. *Zeit, Zeit**.

Он спросил меня:
— Что с тобой происходит?

* Время, время (*нем.*).

Я сказала:

— Боюсь твоей смерти.

До этого такие вещи не произносились. Хотя и мыслились. Я на минуту потеряла тормоза. Он единственный мой близкий человек, которому только и можно пожаловаться. И вот этот близкий человек уходит. И жаловаться остается только ему. Я поступила чудовищно.

Заплакала и прижалась к нему.

— Прости, что я сказала о смерти. Этот страх выел меня изнутри и вот — вышел наружу.

— Ну, во-первых, я еще не умер...

Боже мой, что же здесь еще может быть во-вторых?

Сидел бледный, похудевший. А меня голос не слушался.

Он сказал:

— Смерть не нужно рассматривать как прощание навсегда. Она — временное расставание. — Помолчал. — У ушедшего вообще нет времени.

У ушедшего. Звучит, как сквозняк в тоннеле.

— А у оставшегося? У него ведь есть время.

Улыбнулся.

— Ну, пусть займется чем-нибудь в ожидании.

Столько времени врозь. Страшно.

В результате больших усилий удалось связаться с Желтковым. Описал состояние Иннокентия и попросил о помощи.

Желтков начал мямлить что-то невнятное. Явно скучал. Видите ли, я, э-э-э, не курирую медицину...

Я, опешив, повторил, что требуются консультации за границей, дорогостоящие анализы. Иными

словами — нужно будет оплачивать счета. Много счетов.

Но Желтков наш ушел в полную несознанку. Неожиданно, замечу, для меня.

Неужели же дело в том, что Иннокентий не стал вникать в его политический проект?

Рассказал об этом одному знающему человеку — он не удивился. Сказал, что если Иннокентий Желткову стал неинтересен, то он о моем пациенте уже искренне забыл. Предположил, что даже дозвониться до Желткова больше не получится.

Выражаю осторожное сомнение:

— Ну, не может же человек быть таким дерьмом!

— Да что вы! — смеется мой собеседник. — Запросто.

Scheisse... *

Я сказал Насте, что разлука смертью временна. Я в это верю — а всё ведь, мне кажется, дается по вере. Хочешь встретиться с человеком — обязательно встретишься. Боюсь, правда, что для нее сейчас это слабое утешение.

Интересно, встретится ли *там* что-то помимо людей? То, что вроде бы не составляет основ жизни, но с чем, я чувствую, будет непросто расстаться. Например, с потрескиванием свечей на новогодней елке. С тем, как отщипываешь елочные иголки и осторожно подносишь их к огню. Сгорая, они издают хвойный аромат — яркий, как всё прощальное. Сверкание огней вечером и потухшая черная громада — ночью. Проснешься случайно за полночь —

* Черт... (буквально — дерьмо, нем.).

первая мысль о елке. Пробираешься к ней в ночной рубашке. Почти на ощупь идешь, то есть на звук скорее — чуть слышный стеклянный перезвон на сквозняке. Босые ноги на паркете стынут. Добравшись до елки, начинаешь их отогревать. Поочередно прижимаешь ступни к теплым икрам. Осыпается налипшее конфетти. Слышно, как кто-то встал в туалет. Вжимаешься в широкие елочные лапы и растворяешься в них. Пережидая возню на кухне, сползаешь в ватные сугробы, да там и исчезаешь. До утра... Мне кажется, я и посмертно встал бы посмотреть на елку одним глазком. Если бы он у меня, конечно, сохранился.

Ну, что еще? Пусть — тарелка с малиной на дачной веранде. В рассеянном солнечном луче набухает цветом. По краю тарелки ползет насекомое с неаккуратно сложенными крыльями. Не жук, не мошка, не муравей. И не то чтобы ты его никогда не видел, а назвать затрудняешься. Так бывает: встречаешь человека полжизни в одном и том же месте — у парадного, скажем, или в книжной лавке, и лицо его знакомо до мельчайших морщинок, а имя неведомо. Есть такие спутники жизни. По ним, расставшись, тоскуешь — по их неброской, робкой внешности, по сложенным крыльям, манере перемещаться.

Или, допустим, костер на закате. Растекся по Оредежи не хуже лунной дорожки. Беседа не беседа — так, отдельные слова, простые, умиротворяющие. Например: принесу еще дров. Или: вода закипела. Хруст полуистлевшей ветки под ногой. Бульканье воды в котелке, иногда — безвольное шипенье на полене. Хочется, чтобы время замерло, как река

у плотины. Светлее чтобы не становилось, но и не темнело бы. Чтобы оставались видны красные утесы — о них я ведь уже, кажется, писал? Девонская глина. Будет ли она *там*?

Иногда думаю: кто из нас пациент — Иннокентий или я?

Я выполняю его предписания, пишу, понимаешь ли, картинки из жизни... Никогда этим не занимался, да и не чувствую в себе таких способностей. Привык говорить словами диагнозов и рецептов.

Но.

Если честно, писать мне нравится всё больше и больше.

Наше совместное писание — это, если угодно, попытка передать опыт потомкам. То, чем человечество всю историю только и занималось. Просто опыт наш, скажем так, особенный. Меня это вначале раздражало, а сейчас — ничего.

Иннокентий, впрочем, передает не только опыт.

Настя рассказала, что он самостоятельно связался с рекламной фирмой и предложил свои услуги. Она об этом узнала случайно — те на нее попали, когда пришли заключать контракт. Спустила их с лестницы, потребовала у мужа объяснений.

А он сидит в кресле, вялый, тихий. На что, спрашивает, вы собираетесь жить, когда меня не будет?

Она молчит, слезы текут.

Иннокентий-то и сам чувствовал, что ей так нельзя было говорить. Думаю, у него просто сил не было выбирать выражения. Напрямую сказал то, что думал.

Он не верит в свое выздоровление. Что это значит для больного, говорить излишне.

Самое ужасное, что и я не могу его обнадежить.

В прессу просочились сведения о здоровье Платоши. Мне-то, собственно, наплевать, но он ведь выходит на улицу. Видит эту желтизну в витринах киосков — фотографии и заголовки, заголовки: “Эксперимент не удался”, “Платонов смертельно болен”. Одна из газет купила снимок МРТ и опубликовала на первой странице. “Мозг Иннокентия Платонова разрушается”. Да тут и покупать ничего не нужно: они же видят, как он ходит. Как ноги подламываются, как держится за мою руку. Палочку не хочет: это уже, говорит, как-то чересчур, признание самого плохого. Признание (не сказала я) очевидного. А с другой стороны — может быть, он и прав: пока очевидное не признано, оно — не очевидно.

Публикацию с МРТ Гейгеру показала я. Он покраснел как пожарная машина и бросился кому-то звонить. Три минуты отборного мата. Всё закончилось пожеланием подавиться собственными яйцами. Сложновыполнимо, конечно, — не знаю, что отвечали на том конце провода. Я хотя этого от Гейгера не ожидала, но мне — врать не буду — понравилось. Может быть, чего-то такого мне в немце и не хватало.

Только вот Платоше — ох, Платоше всё это никак не помогает. У него сейчас появилась идея-фикс — как можно больше заработать для меня с дочерью. Он сказал, что, поскольку у него самого нет будущего, он хочет обеспечить будущее близких. Сказал

спокойно, как само собой разумеющееся. Связался на днях с рекламой — то, что раньше за него я, дура, делала. Я этот процесс сразу же прекратила.

Ощущаю жгучую тоску по непрожитым мной годам. Своего рода фантомную боль. Пусть я был тогда заморожен, но я ведь — был! Значит, и это время — мое время, я несу и за него ответственность. Я чувствую двадцатый век как свой целиком, без исключений. Когда смотрю советскую кинохронику, на заднем плане порой вижу себя. Разве это случайно? Нет. Случайным можно считать мое отсутствие там и неучастие в отраженных событиях.

— Правильно ли я понимаю, — спросил меня Гейгер, — что допустимо описывать и те события вашей жизни, которых не было?

— Совершенно верно. Может быть, это только кажется, что их не было. Точно так же, как кажется, что небывшее — было.

Главное — не переоценивать событий как таковых. Я думаю, они не являются чем-то внутренне присущим человеку. Это ведь не душа, которая определяет личность и при жизни неотделима от тела. В событиях нет неотделимости. Они не составляют часть человека — наоборот, человек становится их частью. Он в них *попадает*, как попадают под поезд, а там уж смотри, что от тебя останется.

В очередной раз задаю себе вопрос: что вообще следует считать событием? Для одних событие — Ватерлоо, а для других — вечерняя беседа на кухне. В конце, предположим, апреля тихая такая беседа — под абажуром с тусклой мигающей лампочкой. Шум автомоторов за окном. Сама беседа — за исключени-

ем отдельных слов — может, и не остается в памяти. Но остаются интонации — умиротворяющие, как будто весь покой мира вошел в них этим вечером. Когда мне хотелось покоя, я вспоминал именно их и именно эту апрельскую беседу.

Нет-нет, вспоминал еще беседу на железнодорожной станции, зимой — какого только, вопрос, года? Предполагаю, что 1918-го или, например, 1922-го — в эти годы я еще мог быть ее свидетелем. В сущности, этой беседе ничто не помешало бы произойти и в мое отсутствие — году, допустим, в 1939-м. Я всё равно не принимал в ней участия — только слушал. Но если бы даже и не слушал, фундаментальное качество ее не изменилось бы: по степени умиротворенности эта беседа не уступала вышеописанной. И в метафизическом измерении явления значила только одно: стремление к покою.

Так вот о главном. Ведь это только на первый взгляд кажется, что Ватерлоо и умиротворенная беседа несравнимы, потому что Ватерлоо — это мировая история, а беседа вроде как нет. Но беседа — это событие личной истории, для которой мировая — всего лишь небольшая часть, прелюдия, что ли. Понятно, что при таких обстоятельствах Ватерлоо забудется, в то время как хорошая беседа — никогда.

Платоша странные вещи говорит. Взяла себе за правило с ним соглашаться.

1939-й, январь. Железнодорожная станция.
Считай, полярная станция: сугробы до окон, сосульки до земли.

Четыре часа пополудни, а уже сумерки.

Желтый свет в окне. Замерзшее, оно как бы превращается в большой фонарь. Маяк всем идущим к железной дороге. Их не много, идущих: поезда здесь проходят редко.

В зале ожидания (уж какой, прямо скажем, это зал?) горит слабая лампочка, она-то и наполняет окно своим светом. В углу печка-буржуйка. Не ахти какой интерьер, зато тепло. На дощатом полу следы растаявшего снега.

На скамейке сидят два человека, ведут неторопливую беседу.

К их разговору из своего окошка прислушивается кассирша. Иногда она что-то добавляет.

Раз примерно в час мимо станции проносятся товарняки или поезда дальнего следования. Ни те, ни другие здесь не останавливаются. Обдают паром окно, а затем начинают монотонно стучать вагонами или цистернами.

Под кассиршей в такие минуты трясется стул. Трясется и скамейка под беседующими. Они замолкают и пережидают поезд с подчеркнуто терпеливым видом.

На коленях у них шапки-ушанки, которые они теребят красными от мороза пальцами. У одного волосы взъерошены, у другого, наоборот, слежались.

Так по-разному действуют шапки-ушанки на людей.

Зачем Бог воскресил Лазаря? Может быть, Лазарь понял что-то такое, что понять можно было, только умерев? И это понимание повлекло его опять на землю. Точнее, ему была дана милость вернуться.

А может быть, на нем был тяжкий грех, исправить который можно, лишь будучи живым, — и для этого он был воскрешен? Только вряд ли у такого человека мог быть тяжкий грех.

Известно, что после воскрешения Лазарь никогда не улыбался. Значит, он увидел *там* то, в сравнении с чем никакие земные дела больше не вызывали эмоций.

Будучи изъятым из жизни, я не видел ничего. Но ведь я и не умирал.

1958-й. Летнее утро на Фонтанке. Солнце, ударившись об оконные стекла, под острым углом летит в реку. Дворник в белом фартуке поливает из шланга гранит набережной. Нажимая на наконечник шланга пальцем, он увеличивает давление, и вода с шипением шлифует розовую зерненую поверхность. Работа дворника не так проста, как может показаться, и не так безопасна. Дворник отпускает наконечник и отсутствующе смотрит на красный палец. Затем — на воду и ее безвольное течение. Качает головой. Вновь нажимает на наконечник и теперь уже поливает, не отвлекаясь. С тротуара переводит струю на гранитный парапет, дальше — на орнамент решетки. Металл преобразует струю в миллионы брызг, и на солнце они превращаются в радугу.

По свежеполитой мостовой едет “Победа” с открытым верхом. Колёса издают мягкий влажный звук, за ними образуются водяные гребешки. За рулем светловолосая женщина в очках, она улыбается. Рядом с ней на переднем сиденье — завязанная тесемками папка. Профессор. Очень вероятно, что женщина — профессор. Едет в Университет или, до-

пустим, в Публичную библиотеку. Утро встречает ее прохладой, которая струится, не торопясь, из дворов-колодцев. Во дворах сыро, лето там только на последних этажах домов, где в открытых окнах выставлены цветочные горшки. Внизу — холод и грязь. Хотелось бы добавить: “и снег”, но это было бы неправдой. Просто холод и грязь.

Думая над тем, как обеспечить будущее моей семьи, ловлю себя на том, что уже не буду свидетелем происходящего с ней. В этом будущем для меня уже нет места. Единственный выход — переместить мое *я* в них. Или самому войти в их *я*. Не исключаю, что в нашем взаимном движении мы встретимся посередине, и наше *я* станет общим. Мы с Настей должны вырабатывать общие взгляды и оценки — насколько позволит оставшееся мне время. По крайней мере, в самых серьезных вещах нужно достичь положения, когда отсутствие одного из нас было бы незаметно. Чтобы отсутствующий был спокоен в том отношении, что решение будет принято единственно верным образом.

Сегодня я был потрясен.

Когда заехал вечером к Платоновым, увидел рисунок Иннокентия. Портрет Зарецкого.

Я не знаю, как точно называется эта техника — допускаю, что рисунок углем. Тем, что мягче карандаша.

Контур — где-то рвется, где-то незаметно растворяется в листе.

Фигура, склонившаяся над столом. Растопыренные пальцы ерошат волосы.

На столе бутылка и стакан, в котором водка на самом дне. Кусок колбасы с отъеденным краем.

В изображенном нет и тени шаржа. Ни в лице сидящего, ни в том, как он подпирает голову, ни даже в бутылке и колбасе. Рисунок глубоко трагичен.

Сидящий оплакивает нечто (может быть, свою жизнь), и водка с колбасой — тому единственные свидетели. Черты лица тонки. Плечи сутулы.

Пока он молчит, облик его возвышен — таков, возможно, каким задумывался. А Зарецкий молчит. Не слышно его блеяния, гадких слов.

И думаешь: мысли, в которые он погружен, высоки. А колбаса — так, суровая необходимость. Потребность тела.

Он на нее и не смотрит. Фокус его взгляда где-то за пределами этой комнаты, может быть — за пределами видимого мира вообще.

Этот рисунок потряс бы меня, даже если бы я ничего не знал о Зарецком. Но я ведь знаю — и рисунок потрясает вдвойне. Он освобождает Зарецкого. Избавляет от его страшной роли — быть мокрицей.

Этот рисунок — та соломинка, за которую можно уцепиться Иннокентию и нам с Настей. Получается, что с Иннокентия снят этот таинственный запрет на творчество. Он снова может рисовать. И как рисовать!

В категориях, которые мне ближе: какая-то группа клеток у него восстановилась. Как и почему — сейчас это вопросы в пустоту. Я констатирую факт и не пытаюсь его объяснять.

Платоша — гений. Этот удивительный портрет, который мы с Гейгером увидели... Хотела сказать что-то о портрете, да вовремя спохватилась, поня-

ла, что это будет звучать жалко. Всё равно что пересказать “Войну и мир” или, допустим, напеть 40-ю симфонию. Скажу лишь одно: еще вчера я Зарецкого ненавидела — по рассказам бабушки. А после этого портрета — простила. Почти простила. Так Платоша его нарисовал. В том, что я говорю, есть одно слабое место: я — жена. Для какой жены муж не гений? Испытываю жгучее желание стать на минуту ему чужой и сказать на весь мир: Платонов — гений. Только ведь стать чужой у меня не получится. Мы с ним одна плоть и один дух.

У Платоши нет сил. Он всё реже куда-либо выходит, а дома обычно лежит. Смотрит телевизор. Или пишет. Иногда его охватывают приступы страха. Ему страшно, что он скоро умрет. Или страшно, что умрет во сне, ни с кем не попрощавшись. Теперь всё чаще у нас горит торшер — темнота ему кажется предвестием смерти. Когда ложимся, он просит меня дать ему руку, сжимает ее и только так засыпает. Но больше всего он боится, что мы с Анной останемся без помощи. Он уже сейчас видит нас сиротами. Я захожу в ванную, закрываюсь изнутри и включаю воду, горячую и холодную, на всю мощь. При большом напоре у нас воеет труба. Я тоже вою.

Читаю *Повесть временных лет*. Летописец перечисляет год за годом. Он говорит: в год от сотворения мира такой-то было то-то, в год следующий — то-то. А в год такой-то — “не бысть ничтоже”. Такие годы называются *пустыми*. Годы, в которые не было ничего. Я сначала ломал голову — зачем о таких го-

дах упоминать? Потом понял: эти люди боялись потерять даже небольшую частицу времени. Те, кто жили вечностью, особо ценили время. И даже не столько время, сколько его непрерывность, отсутствие дыр. Думали, может быть, что настоящая вечность только и наступает, что после внимательно прожитого времени. И ведь я это тоже чувствовал! Знал, что нельзя выпускать из жизни десятилетия заморозки. И не ошибся.

А вообще, жизнь разваливается на части, хоть я и пытаюсь связать их воедино. Разваливается и прекращается. *Держи ум твой во аде и не отчаивайся.* Всё, о чем я ни думаю, погружает мой ум во ад. Который и есть отчаяние.

Мне удалось устроить обследование Иннокентия в Мюнхене. Точнее, не мне — моим бывшим пациентам.

Речь идет не столько о необходимой сумме, сколько об импульсе. Собственно, я лишь сейчас признаюсь себе, что организационные проблемы были до некоторой степени предлогом.

Нужна ли такая поездка? У меня нет внутренней уверенности в этом до сих пор.

На основании присланных мной данных они не исключают оперативного вмешательства, а я не считаю его полезным.

Я производил регенерацию Иннокентия — шаг за шагом. Знает ли кто-то положение вещей лучше меня?

С другой стороны — может, сейчас это знание мне мешает? Может, именно в сложившейся ситуации нужен свежий взгляд?

Возможно, наконец, то, что называется “эмоциональной привязанностью к пациенту”, мешает мне принять сейчас правильное решение?

О Мюнхене скажу ему перед самой поездкой. Раньше не нужно. Они с Настей и так на нервах.

1969-й. Первомайская демонстрация. Утренний воздух прохладен. Дневной, впрочем, тоже: еще ведь не лето. На размышления о температуре наводит гигантских размеров медицинский градусник из пенопласта, его держат два человека. На нем 36,6 — явно не температура воздуха. Чью, спрашивается, температуру он показывает? Неизвестного великана? Демонстрации в целом? Судя по надписи “Страна Советов”, 36,6 имеют отношение к ней. Кто-то из демонстрантов говорит, что страна безнадежно больна, а ей ставят градусник с нарисованной температурой. Говорит вполголоса, как бы про себя. Нет, вообще про себя.

На ветру трепещут флаги — разных цветов, но преимущественно красные. Портреты руководителей партии и правительства (не трепещут). Пришедшие стоят в колонне своего учебного заведения — Первого, допустим, мединститута. Ждут команды к началу движения. Кто-то достает из кармана пиджака фляжку.

— Коньяк. Будете, Марлен Евгеньевич?

— А как же.

Обхватывает фляжку губами, делает несколько больших глотков. Громко выдыхает, вытирает рот и вновь присасывается. Угощающий грустнеет. Он не ожидал, что его фляжку будут использовать как соску. Опасается, что после губ Марлена Евгеньевича коньяк потеряет часть своих качеств.

— Полина, выпьешь?

После Полины он, вероятно, снова сможет касаться горлышка фляжки.

— Спасибо, — говорит Полина, — не буду.

А ведь обычно пьет. Стало быть, тоже видела, как неаппетитно пил Марлен Евгеньевич.

Колонна медленно трогается с места. Первым — градусник, затем — флаги, портреты. Течет, как разлившееся варенье, по улице Льва Толстого. На Кировском проспекте сливается с другими колоннами, входит в общий ритм и общую радость. Собственно, радость и возникает от ритма. От большого скопления народа. В целом же радоваться, конечно, нечему.

Нечему радоваться.

1975-й. Алушта. Песчаный пляж. Пишущий эти строки созерцает водную поверхность. Катера, траулеры, какие-то огромные продолговатые суда — назовем их на всякий случай танкерами. Они так далеко, что их уже не слышно, и их перемещение напоминает немое кино. Или качение фанерных судов вдоль театральной декорации. Они идут строго по линии горизонта, не отклоняясь от нее ни вверх, ни вниз.

Между мной и морем лежит подстилка. Она растелена с учетом местонахождения солнца, вполоборота к морю. Пока я слежу за горизонтом, на подстилку садится девушка. Девочка — лет 16-ти. Она только из моря. Море продолжает стекать с собранных в хвост волос. Влага на ее коже как дождь на свежеложенном асфальте — каждая капля отдельно. Непоэтическое, возможно, сравнение, но это именно то, что первым делом приходит в голову. Укладка асфальта в свое время произвела на меня большое впечатление.

Из пляжной сумки она достает бумажный кулек. В нем черешня. Купальщица устраивается по-турецки, ко мне спиной. Линия позвоночника, лопатки, колени — кузнечик. Настя, заглянув через плечо в текст, замечает, что кузнечик — беспозвоночное. Я говорю ей, что она просто ревнует. Настя соглашается и целует меня в макушку. Про кузнечика я оставляю.

Зрелище пробуждает жажду. Беру кошелек, иду к пляжному автомату. Вода с сиропом (3 коп.) в данном случае неприемлема. Простую газировку (1 коп.) в таких обстоятельствах только и можно пить. Она с фырканьем проливается в стакан, бурлит в нем. Пузырьки стремятся вверх и лопаются с микроскопическими брызгами — прозрачно (удачное определение) намекая, что вода в автомате холодная.

Намек, однако, ложный, вода не холодная. Но лучше такая, чем никакой, ведь в 1911 году, когда я был здесь в последний раз, автомата вообще не было — и не только автомата. Должен сказать, что всё здесь очень изменилось. Что осталось — великая радость, которую дарит пляж. Ее испытываешь от одной лишь мысли о пляже. И даже когда отчетливо понимаешь, что нет тебе уже на нем места, что ждут тебя гораздо менее приятные вещи, — всё равно эту радость испытываешь.

1981-й. Ленинград, Купчино. Жара.

День рождения в панельном доме.

Когда в Питере жара, в панельный дом лучше не входить. Лучше вообще не жить в нем, строго говоря.

Питерская жара влажная, липкая. В панельном доме полная духовка, и проветрить невозможно. И все слеплены на тесном пространстве.

На таких днях рождения не хочется пить. Ну, разве что — холодного пива. Начинаешь, действительно, с пива, а кончаешь известно чем. Schrecklich*.

— Берите оливье. Вот селедка под шубой.

— От одного слова *шуба* сейчас...

Смех в комнате. Звучит Окуджава.

— Я настаиваю, чтобы все закусывали.

Получается только запивать.

— Серый, я тебя запишу на карате. Не сегодня, естественно.

Один из гостей тянется за водкой, чтобы произнести тост. Видно, что бок его рубашки влажен.

Он встает, чтобы налить сидящим на противоположной стороне стола. Тут обнаруживается, что у него мокрая спина.

Когда выпрямляется, чтобы говорить, всем становится ясно, что влажен у него и живот. Сидел бы, не кукарекал — никто бы ничего не заметил.

— Держите голову Серого над ванной. Вообще, кто-то должен сидеть рядом и держать его голову, а то он захлебнется блевотиной.

— Называется *аспирацией рвотных масс*.

— Вот ты и держи, если такой умный.

— Я умный?

— Нет, не ты. Я пошутил.

Начинается вялая драка. Все бросаются дерущихся разнимать. Они не сопротивляются.

Платоша становится всё непонятнее. Попросил нас с Гейгером описать — ни больше ни меньше — смерть Зарецкого. Я начала возражать, мол, мы этой

* Ужасно (нем.).

смерти не видели, как мы можем ее описывать? Платоша в ответ: вы много чего не видели, но ведь как-то всё это описали. Махнул рукой — ладно, не надо, это я так просто предложил. Гейгер мне сделал незаметный знак, и я прикусила язык. Зарецкий — значимая для Платоши личность, с него всё и началось. Недаром он его нарисовал.

Я возразила Платоше, не подумав. Да, если быть честной, я не очень понимаю, зачем вообще нужны наши описания, но раз Платоше это кажется важным — вопрос снимается сам собой. Только бы он выздоровел — каждый день для него что-нибудь бы описывала — демонстрации, парки, свадьбы, убийства.

Сегодня я узнал, что через несколько дней должен лететь в Мюнхен. Узнал случайно, получив экспресс-почтой пакет из мюнхенской больницы. Тут же позвонил организовавшему это дело Гейгеру. Он объяснил, что молчал о моей поездке, потому что раньше времени не хотел волновать ни меня, ни Настю.

Разволновал. Получается, что я полечу один. Гейгер сейчас бьется за свою клинику с министерством здравоохранения и должен ежедневно в ней бывать. Он-то прилетит в Мюнхен, но только на один день, на решающий консилиум. Что касается Насти, то врачи настоятельно рекомендуют ей никуда не ездить. Говорят, может кончиться плохо. Она, вопреки рекомендациям, настроена решительно, но я этого не допущу.

Мне страшно ехать одному. Я не подаю виду, но мне действительно страшно. Однажды меня ребенком привезли в больницу с приступом аппендицита.

Меня пугали белые коридоры, пугал запах лекарств, но в настоящее отчаяние меня привело то, что в операционную со мной не пустили родителей. Меня увозили на каталке, а я, вывернувшись, смотрел назад на них — скорбную пару, махавшую мне откуда-то из глубин коридора. Я обливался слезами от своего внезапного одиночества, а еще от бесконечной жалости к ним, потому что их сиротство было, я знал, острее моего. Я не позволял себе реветь в голос, чтобы не усугублять их страдания, но слёзы мои текли так обильно, что озадачивали даже выдавших виды сестер.

Эта картинка мерцала в моей памяти размытым пятном, эдаким фонарем в тумане, а тут вдруг предстала во всей резкости. Тогда, в детстве, мой уход был еще не уходом, и мы снова встретились с дорогими людьми. Куда увлечет меня движение по коридору в этот раз — один Бог знает. Вечером, когда Гейгер к нам приехал, он упомянул скороговоркой, что мне, возможно, “вскроют черепушку”. “Черепушка” и небрежность тона говорили о том, что фразу он репетировал.

1923-й. Март.

Зарецкий, человек, отработавший смену на колбасной фабрике, собирается домой.

С колбасой в штанах благополучно минует проходную. Колбаса висит на веревке у самых гениталий и охране не видна.

Гениталии (это обнаружится в морге) у Зарецкого маленькие, колбасе ввиду этого просторно.

Старший современник Зарецкого Фрейд счел бы, что этот случай воровства связан не с желудком. Кто

знает, может быть, с колбасой в штанах потерпевший и вправду чувствовал себя увереннее. Повышалась, может, его самооценка.

Так или иначе, но с колбасой в штанах ходить неудобно. Колбаса стесняет движения. Может, наконец, просто оторваться. Выкатиться на виду у всех из штанов.

Носящий подобным образом колбасу рискует, и Зарецкий это понимал.

Отойдя от фабрики на порядочное расстояние, он обычно спускался к реке Ждановке. Расстегивал штаны, отвязывал колбасу. Вновь поднимался на набережную — с колбасой в руках.

Человек с колбасой в России всегда привлекает внимание, а в 1923 году особенно.

Дальше возможны варианты.

За сотрудником колбасной фабрики стали следить. В тот роковой день у реки его могли уже ждать. Стояли за деревом — за плакучей, скажем, ивой. Когда Зарецкий достал свою колбасу, ее немедленно выхватили.

Что было дальше? Здесь вступает в права случайность.

Зарецкого могли толкнуть, и он ударился темечком об острый камень. Так предполагал следователь Трешников, который не знал о колбасе. Конечно, те же лица могли Зарецкого этим камнем и ударить — небольшими, я думаю, они были филантропами.

Возникает, однако, вопрос: для чего им было его убивать? Ведь на утрату украденного предмета потерпевший не мог даже пожаловаться.

Вариант второй.

Реки притягивают к себе деклассированный элемент. Там по берегам шатается много всякой шпаны.

Кто-то из ждановских замечает Зарецкого. Калоши колбасника шлепают по мокрому снегу — это привлекает внимание. Берег Ждановки в марте не таков, чтобы здесь гулять. Человеку внимательному понятно, что шлепающий по снегу спустился сюда не просто так.

Готовый к любому развитию событий, наблюдатель бесшумно следует за Зарецким. Следит за ним из-за предполагаемой ивы. Еще не знает, *что* именно задумал Зарецкий, но уже видит в нем жертву.

У него чутье, инстинкт охотника. Выражаясь по-современному, он — отморозок. Убьет, не думая о целесообразности. Убьет потому, что можно убить. Посмотрит на манипуляции с колбасой (привык не удивляться), поднимет камень и опустит клиенту на затылок.

Следя за его агонией, съест колбасу. Растает в сумерках.

Гейгер написал об убийстве Зарецкого, а Платоша попросил его прочитать это вслух. Гейгер, который в отношении моего мужа отменил слово “нет”, начал читать. Я смотрела только на Платошу. Заказанное им странное описание он слушал спокойно, и я уже подумала, что оно его устроило, но оказалось — нет. Он так и сказал: не устроило. Не объяснял, почему. Гейгер, как мне показалось, был немного раздосадован, *что* в отношении странной просьбы Платоши выглядит как-то даже неожиданно. Может, то ему было досадно, что просьба странная, а он ее выполнил. И *на* тебе — не угодил.

Гейгер сказал мне:

— Ну, тогда опишите эту смерть вы. — Обернулся к Платоше. — Или вы?

Платоша ответил:

— Хорошо, попробую.

Я кивнула.

Мне кажется, все мы действительно близки к помешательству.

А еще — завтра Платоша улетает в Мюнхен. И меня с собой не берет.

Гейгер не справился с таким простым вроде бы делом, как описание убийства Зарецкого. Получается, не такое уж это дело и простое. Посмотрим, что напишет Настя. Вчера она сказала мне, что я не борюсь за свое выздоровление. Не знаю, может, здесь причина в усталости. Трудно долгое время ощущать остроту чувства — любого. Мне кажется, устаешь даже бояться смерти. В конце концов наступает то, что у одних принимает форму равнодушия, у других — успокоения.

Я теряю силы, память, но не испытываю боли — и в этом вижу явленную мне милость. Я ведь знаю, что такое страдание. Оно ужасно не мучением тела, а тем, что ты уже не мечтаешь избавиться от боли: ты готов избавиться от тела. Умереть. Ты просто не в состоянии думать о таких вещах, как смысл жизни, а единственный смысл смерти видишь в избавлении от страдания. Когда же болезнь тиха, она дает возможность всё обдумать и ко всему подготовиться. И тогда те месяцы или даже недели, что тебе отпущены, становятся маленькой вечностью, ты перестаешь считать их малым сроком. Прекращаешь их сравнивать со средней продолжительностью жизни и прочими глупостями. Начинаешь

понимать, что для каждого человека существует свой план. При чем здесь средняя продолжительность...

Завтра — в Мюнхен. Больших надежд я на эту поездку не возлагаю, но в каком-то смысле ей рад. Все мы действительно устали, и нам нужно немного отдохнуть друг от друга.

Сегодня провожали Иннокентия в аэропорту. Я вылечу в Мюнхен через неделю.

Второй день без Платоши. Пусто. Теперь могу плакать сколько угодно — никто не видит — а вот нет слез. Для слез, оказывается, нужно чье-то присутствие, даже если считается, что он ничего не замечает. Ходила на вечернюю службу — вот там и расплакалась. Хорошо, что полумрак, никому ничего не видно.

Сегодня утром Платоша прислал мне электронное письмо. Пишет, что встретили его хорошо, показали город. Во второй половине дня гуляли в Английском саду. Сад ему понравился больше всего, даже облетевший, потому что напомнил места в Сиверской. Дальше Платоша подробно описывает сиверский лес конца осени. Резкий, пахнущий прелью воздух, речка меж деревьев, вороны на ветвях. Эти птицы, написал, любят тонкие ветки — так, чтоб качаться. Не замечала, но допускаю, что это именно так — много ли, если вдуматься, радостей у ворон? И забавно, и трогательно: Мюнхен поместился в пяти строках, остальное — Сивер-

ская. В конце — вопрос, описала ли я убийство Зарецкого. Думала, забудет за всеми нынешними делами — не забыл. Надо бы взяться за это, обещала ведь. Не хочется.

Показали мне Мюнхен. Красивый город, но сердце бьется ровно. Никогда я в нем не был и ни за что здесь не отвечаю — ни за ароматы его магазинов, ни за зелень, ни за красивые машины. Всё это возникало и развивалось без моего участия — за исключением, может быть, Английского сада, напоминающего мне детство. Уже в день приезда мне подумалось, что этот самый приезд, видимо, напрасен. Это трудно объяснить, но впечатление складывалось именно такое.

А потом первая встреча с врачом, профессором Майером. Первая мысль: мой-то немец лучше. На вопрос “Wie geht es Ihnen?”* я ответил “Ich sterbe”**. В моем ответе отразились и присланные Гейгером материалы, и общее мое самоощущение, и, конечно же, Чехов — всё то, о чем доктор Майер имел самое смутное представление. Он пробормотал “Noch nicht”***, и в дальнейшем мы общались с помощью переводчицы: мой гимназический немецкий на этом иссяк.

Произведя мой первичный осмотр, профессор Майер надолго углубился в бумаги. Прошло полчаса, может быть, даже больше. Листая мою историю болезни (которую Гейгер героически перевел на немецкий!), доктор то и дело слюнил указательный па-

* Как дела? (нем.).

** Я умираю (нем.).

*** Еще нет (нем.).

лец и жевал губами. Иногда чесал нос. Потом поднял голову и сказал:

— Чудес от нашей клиники не ждите. Это — так, чтобы не было недоразумений. Мы же сделаем всё, что сможем.

Я почувствовал, что широко, показывая все зубы, улыбаюсь:

— Так ведь я приезжал за чудесами...

— Чудеса — это в России,— взгляд Майера стал грустным. — Вы там живете по законам чуда, а мы пытаемся жить сообразно с реальностью. Впрочем, еще неизвестно, что лучше.

— Бог идеже хочет, побеждается естества чин, — выразил я свою главную надежду, но переводчица не смогла это перевести.

Она попросила меня уточнить, что имеется в виду.

— Переведите профессору, что он совершенно прав. Здесь есть о чем подумать.

Я шел по коридору клиники и размышлял о том, что вещи, находящиеся в пределах медицины, лучше, конечно, доверять немцам. Но мой случай давно эти пределы покинул. Так зачем же я здесь?

Иннокентий только что сообщил мне, что возвращается в Питер.

Он звонил из гостиницы, куда заехал за вещами. Оттуда направляется в аэропорт.

О его возвращении просил не говорить Насте. Он не знает еще, удастся ли купить билет на ближайший рейс, и не хочет ее волновать. А главное — не хочет, чтобы она его отговаривала. Это, надо понимать, автоматически относится и ко мне.

Я не отговаривал. Сказал только, что встречу его в аэропорту.

Он никак не объяснял своего поступка — да и какие тут могут быть объяснения? Сказал только, что понимание дела пришло к нему только здесь.

Что ж, хорошо, что понимание пришло хоть к кому-то. Я вот ничего не понимаю. Даже не знаю, полезно ли было бы вмешательство мюнхенских врачей.

Знаю одно: эту возможность я ему предоставил. А он сделал свой выбор.

Впервые за несколько месяцев пишу рукой. Это довольно непросто: рука плохо двигается. Гейгер называет это проблемами с мелкой моторикой. Пишу, а не печатаю, потому что при посадке самолета пользоваться компьютером, оказывается, нельзя. В слове *посадка* есть свое преувеличение. Полчаса назад объявили, что у самолета не выходит шасси. Мы не можем сесть.

Я пишу, поскольку надо же чем-то заниматься. Некоторые смотрят в иллюминатор. Они бы, может, и не смотрели, но шторы велели открыть. В случае аварийного приземления глаза не должны тратить время на привыкание к естественному свету. Некоторые плачут, но лучше ведь писать. Бумага, я думаю, надежнее, чем компьютер. Ей, в отличие от компьютера, удар о землю не страшен. Правда, она может сгореть.

Чтобы этого не случилось, самолет вырабатывает горючее. Уже два раза звучала команда прижать голову к впереди стоящему креслу, и самолет делал заход на посадку. Пролетев над взлетной полосой, плавно

поднимался в небо: шасси в очередной раз не вышло.

Я сижу у окна в одном из последних рядов авиалайнера. Справа от меня пожилой немец с белой полоской на воротничке. Она, я знаю, обозначает его принадлежность к духовенству. Спрашивает с умеренным немецким акцентом:

— Сколько нас здесь летит — человек триста?

— Не меньше, — отвечаю.

Путь его мысли понятен, но я не хочу ему следовать. Отворачиваюсь к иллюминатору. Под крылом Петербург и ни малейшего признака шасси. Время от времени кто-то из команды подходит к иллюминатору, но видит то же, что и я, — линии Васильевского острова, купол Исаакия и Петропавловский шпиль. Редкий город может в последний момент одарить такой красотой.

Из кабины выходит капитан корабля и по микрофону обращается к пассажирам. Говорит, что поломка шасси в авиации — обычное дело, и никто еще от этого не умирал. Вид его излучает спокойствие. Из динамиков раздаются первые такты “Времен года”. В параллельных проходах одновременно появляются стюардессы. Они уже не улыбаются, как в начале полета, но и паники на их лицах не заметно. Капитан (мундир с иголки), не торопясь, идет по салону и скрывается за шторой в хвосте самолета. Мой сосед зачарованно смотрит на статных русских красавиц, разливающих под музыку Чайковского минеральную воду. Опасность обостряет восприятие красоты.

Сзади слышны сдавленные рыдания и короткие шлепки. Я оборачиваюсь. Сквозь щель в шторе видно, как, сидя на откидном стуле, рыдает одна из стю-

ардесс, а капитан хлещет ее ладонью по щекам. Его неторопливое движение сюда имело вполне конкретные задачи.

В параллельном ряду кого-то рвет.

Рука уже едва выводит буквы, они становятся всё меньше и кривее — нужно чуть передохнуть. Да, важно: я обещал описать убийство Зарецкого. До приземления, кажется, не так много времени.

У самолета из Мюнхена заклинило шасси. Это только что объявили в аэропорту.

Мне страшно.

Стараюсь ни о чем думать.

У меня с собой ежедневник — просто буду описывать то, что вижу. Иннокентий, думаю, поступил бы именно так.

Одно хорошо: о происходящем здесь не знает Настя. Не знает даже о том, что Иннокентий вылетел из Мюнхена.

Стоят заплаканные встречающие. Особая неподвижность тех, кто готовится к трагедии. Сквозняк шевелит целлофан букетов — мало-помалу цветы приобретают зловещий смысл.

В зале ожидания и снаружи разворачивают первые телекамеры.

Мелькает ужасная мысль, что для больного человека катастрофа в каком-то смысле... Мысль ужасна своей неправотой.

В зале появляются психологи. Сразу же определяют тех, кому нужна помощь, — собственно, тут и психологом быть не нужно.

Ко мне не подходят. Я пишу, а кто пишет, тот, они знают, в полной психической норме.

На огромном экране возникает телевизионная трансляция из аэропорта. Телевидение жестоко. Бесстрастно вроде бы фиксирует происходящее, но в этом бесстрастии и состоит жестокость.

Бытие раздвоилось. Люди с букетами здесь и точно такие же на экране. Вижу себя. На экране рядом со мной психолог обнимает подопечную, поглаживает ее по спине. Странно, я их не видел.

Оборачиваюсь: так и есть, стоят. Подопечная рассеянно плачет у психолога на плече. Еще не понятно, нужно ли плакать: может, всё еще обойдется.

Самолет: анфас. Огромная, на весь экран, конструкция. Оперный театр, ледовый дворец, аквапарк — только не летательный аппарат. Воплощение идеи грандиозного.

Не летит — висит. Позирует камере на границе летного поля, в переливах расплавленного воздуха.

Заходит на посадку. Снижается.

Несется над взлетной полосой.

Мы же видим, что шасси опять не вышло, — не садись! Не садись...

Общий крик.

Самолет набирает высоту и уходит на следующий круг.

А я давно поняла, что Зарецкого убил Платоша. Сейчас, когда он так далеко, мне легче об этом писать. Бабушка, конечно, сбила меня с толку этим своим *заказала* — но только на краткое время. Просто я почему-то не сообразила, кому она заказала. Точнее, сказала. Когда арестовали ее отца, моего прадедушку, она сказала Платоше, чтобы он ни в коем случае не убивал Зарецкого. Трудно было

этой просьбы не понять. Я думаю, ему и самому такие вещи на ум приходили, но уж после сказанного что ему оставалось?

Само убийство я не очень хорошо себе представляю. Фантазировать не буду — всё слишком серьезно. Много раз я хотела с Платошей о Зарецком поговорить, но всё никак не осмеливалась. Раз он сам об этом не говорит, думала, то и я не должна. А теперь, может, поговорю. Он ведь не зря к нам с Гейгером по поводу Зарецкого обратился — это была просьба о большем.

Да, кстати, Гейгер... Мне отчего-то кажется, что он тоже обо всем догадался. Может быть, еще раньше, чем я. Но — молчит, молчит.

Господи, помилуй. Я сказал священнику: вот я покался на исповеди, что когда-то убил человека, но легче мне не становится. Священник же ответил: ты просил прощения у Бога, Которого не убивал, — может быть, тебе попросить прощения у убитого? Боже мой, что же я могу сказать убитому, и услышит ли он меня оттуда? И я пришел домой, взял орудие убийства и направился на место преступления. Придя туда, сказал: прости меня, раб Божий Николай, что я убил тебя статуэткой Фемиды мартовским вечером 1923 года. С того самого года ты, может, ждешь этих слов, а я все никак их не произносил — просто не думал, что такое возможно.

Потом ходил на кладбище. Взяв с собой Фемиду, снова говорил с рабом Божиим Николаем. За Фемиду отдельно просил прощения — мне, когда убивал, казалось, что восстанавливаю справедливость, хотя о какой справедливости здесь можно говорить?

Сплошная несправедливость. И даже о справедливости я уже потом придумал, а первоначально остановил свой выбор на Фемиде совсем по другой причине.

На статуэтку идеально ложились пальцы. Казалось, что фигуру странным образом изваяли для обхвата ладонью — мешали только весы. Когда же они отломались, поднятая рука Фемиды стала для ладони естественным пределом. Так бронзовая богиня справедливости стала ручкой, а мраморный цоколь — молотком. Статуэтка, которая раньше использовалась исключительно в мирных целях (прежде всего орехи), вдруг превратилась в орудие возмездия. Пока шел вдоль Ждановки, ощупывал статуэтку за пазухой, и была она холодной, как топор.

Зарецкого я ждал за кустом. Не за плакучей ивой, как думалось Гейгеру, а за разросшимся кустом, который я и назвать-то не могу. Ждать мне пришлось дольше, чем я предполагал, изучив перемещения Зарецкого, — вероятно, что-то его задержало. Мне это было только на руку — сумерки сгущались всё больше. Что ему стоило тогда не прийти — сколько раз эта мысль разрывала мое сознание! Если бы дело отложилось, оно, может, и не состоялось бы: на первый раз можно собрать силы, а на второй — уже трудно.

Но дело не отложилось. Зарецкий появился — так неожиданно, что я едва успел за своим кустом пригнуться. Не знаю, что именно задержало Зарецкого, но лицо его было грустным. Таким грустным, каким я изобразил его недавно на рисунке. Это было лицо человека, а не рептилии. Если бы оно у него таким осталось, может, всё тем мартовским вечером пошло бы по-другому. Но человеческое лицо его

постепенно оплыло, съехало, как старая маска, и сквозь нее проступили прежние черты. Он начал расстегивать штаны. Я осмотрелся — никого вокруг не было.

Выходя из своего укрытия, я подумал, что с таким же лицом он доносил на отца Анастасии. Это придало мне сил. Идя сюда, боялся, что в решающий момент не смогу ударить. Что у меня в буквальном смысле не поднимется рука. Ничего подобного. Я сделал несколько шагов по направлению к Зарецкому и, ощущая, как ладно статуэтка лежит в ладони, ударил почти без замаха. Раздался сухой, почти древесный треск. Зарецкий упал не поворачиваясь. Не увидев меня.

Я склонился над ним. Он лежал на спине. Ноги его были согнуты в коленях и едва заметно подрагивали. Из расстегнутых штанов выпирала колбаса. Преодолевая отвращение, я оторвал ее и бросил в Ждановку. На всплеск подплыли две утки. С сожалением следили за расходящимися кругами. А я будто отключился. Выбрался неспешно наверх и побрел по набережной, оставив Зарецкого среди грязного снега и камней.

Я вернулся домой. Мы с Анастасией выпили чаю и сидели в креслах в ее комнате. Тикали часы, мы молчали. Под тиканье хорошо молчать. Мне начало казаться, что всё, что случилось на Ждановке, было сном. Но время шло, а Зарецкого всё не было. И тогда я понял, что это был не сон. Что это была самая настоящая реальность. Жизнь. А точнее — смерть.

— Что-то Зарецкого нет, — сказала Анастасия.

— Появится! — голос мой был бодр.

— А вдруг — нет?

Анастасия едва заметно улыбнулась.

Если бы она знала, как я надеялся на то, что появится. Страшный, окровавленный — лишь бы пришел.

Но он не пришел.

На поле начали выезжать пожарные машины.

Они выстраиваются вдоль одной из посадочных полос. На ней, значит, будут принимать несчастливый самолет.

Кадр с вертолета: в сторону аэропорта по шоссе движется колонна карет скорой помощи. В полукилометре за ней — другая.

Подумал вдруг: какое у них старинное название — кареты. Сохранилось среди всех потерь.

Решила заняться описаниями, да зачем-то включила телевизор. Там — прямой репортаж о самолете из Мюнхена. Стало не по себе: в нем легко мог оказаться и Платоша. По обе стороны посадочной полосы пожарные разворачивают брандспойты. Я подумала: как же рискуют эти люди! Им придется, возможно, заливать горящий самолет.

Вспомнила, что маленький Платоша тоже хотел стать пожарным. Его уже тогда зачаровывала опасность, он уже тогда плакал, думая о трагизме и величии этих людей. О борьбе жизни и смерти, где смерть принимает контуры пылающей балки или порохового склада. Или садящегося без шасси самолета.

На летное поле въезжают машины скорой помощи. Из них выходят врачи, под накинутыми пальто белые полоски халатов. От одного вида этих поло-

сок становится дурно, потому что они напоминают о страдании тела.

По ТВ выступает какой-то авиаэксперт. Говорит, что принято решение садиться “на брюхо”, и теперь, стало быть, готовят полосу. Заэкранный этот треп раздражает. Если ты такой умный, объясни, почему не вышло шасси, а лучше вообще сделай так, чтобы оно вышло. Если не можешь — замолчи.

Замолкает.

Показывают самолет. Он уже взял курс на снижение.

Крупный план пожарных. Не отрываясь смотрят туда, откуда должен появиться самолет. На их лицах отблески мигалок. По команде поднимаются жерла брандспойтов. Из них начинает бить пена.

Зачем всё это показывают?

Я живу с этим воспоминанием, и оно останется со мной до конца жизни. Ввиду того что конец может прийти скоро, предположу, что останется оно, видимо, и после смерти. Там встретятся все события и наши воспоминания о них. Если душа вечна, то сохранится, я думаю, и всё, к ней причастное, — поступки, события, ощущения. Пусть в каком-то другом, снятом, виде, в другой, может быть, последовательности, но сохранится, потому что я помню надпись на знаменитых воротах: *Бог сохраняет всё*.

Я касаюсь плеча моего соседа:

— Как вы полагаете, удар, который я наношу ближнему своему, он ведь должен следовать до того, как я прошу у него за это прощения? Такова последовательность этих событий?

В его глазах появляется слабое удивление.

— А каким образом они могут существовать иначе?

— Я сейчас подумал: могут. Ведь настоящее покаяние — это возвращение к состоянию до греха, своего рода преодоление времени. А грех не исчезает, он остается как бывший грех, как — не поверите — облегчение, потому что раскаян. Он есть и — уничтожен одновременно.

Мой собеседник кладет свою руку поверх моей, лежащей на подлокотнике, и сильно ее сжимает. В глазах слёзы.

— Из того, что вы сказали, я не понял ни слова. Но мне отчего-то кажется, что вы правы.

Самолет взял курс на посадку. Иннокентий, друг мой, держись.

— Что вы всё пишете?

— Описываю предметы, ощущения. Людей. Я теперь каждый день пишу, надеясь спасти их от забвения.

— Мир Божий слишком велик, чтобы рассчитывать здесь на успех.

— Знаете, если каждый опишет свою, пусть небольшую, частицу этого мира... Хотя почему, собственно, небольшую? Всегда ведь найдется тот, чей обзор достаточно широк.

— Например?

— Например, авиатор.

Какое счастье, что в этом самолете нет Платоши.

Взять статуэтку Фемиды. Трудно представить без нее мое детство, она сопровождала самые яркие его моменты. Отламывая от нее весы, я еще не знал, какого рода инструмент себе готовлю. Но детская моя шалость была, оказывается, частью той драмы, которая годы спустя развернулась на берегу Ждановки. Я хочу сказать, что нет событий основных и неосновных, и всё важно, и всё в дело идет — будь оно хорошим или плохим.

Это понимает художник, рисующий жизнь в мельчайших деталях. Да, чего-то отразить он не в состоянии. Рисуя клумбу в южном городе, он не может вроде бы передать аромат цветов июльским вечером. И влажную духоту после дождя передать не может, в которой этот аромат растворяется, так что его можно пить. Но бывает удивительный момент, когда картина начинает благоухать. Потому что настоящее искусство — это выражение невыразимого, того, без чего жизнь неполна. Стремление к полноте выражения — это стремление к полноте истины.

Есть что-то, что остается за пределами слов и красок. Ты знаешь, что оно есть, но всё не можешь к нему подступиться — там глубина. Стоишь у самого прибоя и понимаешь, что дальше придется идти как-то иначе — не исключено, что прямо по воде. Потому что, сказав, например, “мое детство”, я не объясню будущей дочери ровно ничего. Чтобы дать ей хоть какое-то представление об этом, я должен буду описать тысячу разных подробностей, иначе ей не понять, в чем состояло тогдашнее мое счастье.

Что в таком случае ждет описания? Ну, конечно же, обои над кроватью — я до сих пор помню их цветочный узор. По нему за минуту до сна вечерами

скользит мой палец. Звон крышки ночного горшка, пронзительный, как оркестровые тарелки. Из звуков памятен еще — при каждом моем движении — скрип кровати. Рука гладит ее блестящие холодные трубки, сплетается с ними, даря им свое тепло. Съезжает вниз, ощупывает складки простыни и упирается в колено сидящей у кровати бабушки. Я рассматриваю люстру и ее паучьи тени. В центре потолка светло, а по углам мрак. На шкафу, излучая справедливость, держит весы Фемида. Бабушка читает “Робинзона Крузо”.

Содержание

Часть первая	9
Часть вторая	219

Водолазкин Евгений Германович

АВИАТОР

Роман

16+

Главный редактор *Елена Шубина*
Литературный редактор *Галина Беляева*
Редактор *Алексей Портнов*
Художественный редактор *Елисей Жбанов*
Корректоры *Елена Рудницкая, Максим Кривов*
Компьютерная верстка *Елены Илюшиной*

Подписано в печать 02.03.18. Формат 84Х108/32.
Усл. печ. л. 21,84. Доп. тираж 5000 экз. Заказ № 2342.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

ООО «Издательство АСТ»
127006, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 1, комната 39
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085 г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 1 құрылым, 39 бөлме
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.

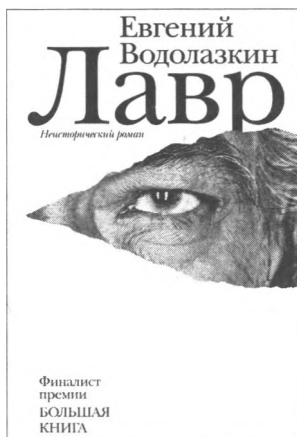
Тел.: +7 (727) 251 5989, 90, 91, 92, факс: +7 (727) 251 5812, доб. 107
E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Евгений Водолазкин

ЛАВР



Евгений Водолазкин – автор романа «Соловьев и Ларионов» (шорт-лист «Большой книги») и сборника эссе «Инструмент языка». Филолог, специалист по древнерусской литературе, он не любит исторических романов, «их навязчивого этнографизма – кокошников, повойников, портов, зипунов» и прочую унылую стилизацию. Используя интонации древнерусских текстов, Водолазкин причудливо смешивает разные эпохи и языковые стили, даря читателю не гербарий, но живой букет.

Герой нового романа «Лавр» – средневековый врач. Обладая даром исцеления, он тем не менее не может спасти свою возлюбленную и принимает решение пройти земной путь вместо нее. Так жизнь превращается в житие. Он выхаживает чумных и раненых, убогих и немощных, и чем больше жертвует собой, тем очевиднее крепнет его дар.

Есть то, о чем легче говорить в древнерусском контексте. Например, о Боге. Мне кажется, связи с Ним раньше были прямее. Важно уже то, что они просто были. Сейчас вопрос этих связей занимает немногих, что озадачивает. Неужели со времен Средневековья мы узнали что-то радикально новое, что позволяет расслабиться?

Евгений Водолазкин

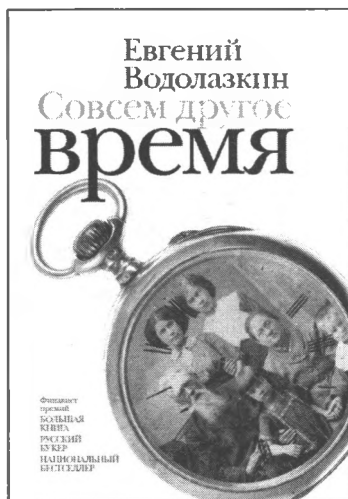
Евгений Водолазкин
ДОМ И ОСТРОВ,
или ИНСТРУМЕНТ ЯЗЫКА



Евгений Водолазкин (р. 1964) — филолог, автор работ по древнерусской литературе и... прозаик, автор романов "Лавр" (премии "Большая книга" и "Ясная Поляна", шорт-лист премий "Национальный бестселлер" и "Русский Букер") и "Соловьев и Ларионов" (шорт-лист премии "Большая книга" и Премии Андрея Белого).

Реакция филологов на собрата, занявшегося литературным творчеством, зачастую сродни реакции врачей на заболевшего коллегу: только что стоял у операционного стола и — пожалуйста — уже лежит. И все-таки "быть ихтиологом и рыбой одновременно" — не только допустимо, но и полезно, что и доказывает книга "Дом и остров, или Инструмент языка". Короткие остроумные зарисовки из жизни ученых, воспоминания о близких автору людях, эссе и этюды — что-то от пушкинских "table-talk" и записей Юрия Олеши — напоминают: граница между человеком и текстом не так прочна, как это может порой казаться.

Евгений Водолазкин
СОВСЕМ ДРУГОЕ ВРЕМЯ



Роман Евгения Водолазкина «Лавр» о жизни средневекового целителя стал литературным событием 2013 года (премии «Большая книга» и «Ясная Поляна», шорт-лист премий «Национальный бестселлер» и «Русский Букер»), что вновь подтвердило: «высокая литература» способна увлечь самых разных читателей.

«Совсем другое время» — новая книга Водолазкина. И в ней он, словно опровергая название, повторяет любимую мысль: «времени нет, всё едино и всё связано со всем». Молодой историк с головой окунается в другую эпоху, восстанавливая историю жизни белого генерала («Соловьев и Ларионов»), и это вдруг удивительным образом начинает влиять на его собственную жизнь; немецкий солдат, дошедший до Сталинграда («Близкие друзья»), спустя десятилетия возвращается в Россию, чтобы пройти тот путь еще раз...

РОМАН УДОСТОЕН ПРЕМИИ «БОЛЬШАЯ КНИГА»

Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера «Лавр» и изящного historical fiction «Соловьев и Ларионов». В России его называют «русским Умберто Эко», в Америке – после выхода «Лавра» на английском – «русским Маркесом». Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки.

Герой нового романа «Авиатор» – человек в состоянии *tabula rasa*: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни своего имени, ни кто он такой, ни где находится. В надежде восстановить историю своей жизни, он начинает записывать посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные: Петербург начала XX века, дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917-го, влюбленность в авиацию, Соловки... Но откуда он так точно помнит детали быта, фразы, запахи, звуки того времени, если на календаре – 1999 год?..

АВИАТОР – ЭТО ЧЕЛОВЕК, СПОСОБНЫЙ ОТОРВАТЬСЯ ОТ ЗЕМЛИ.

ISBN 978-5-17-096655-4



9 785170 966554

*На передней стороне переплета
рисунок Михаила Шемякина,
созданный специально для этого издания*